

КОНТИНЕНТ KONTINENS KONTYNENT CONTINENT KONTINENT
КАНТИНЕНТ KONTINENTAS KONTINENTS MANDER КОНТИНЕНТ

...Во всех обстоятельствах основным и исходным для меня является то, что наша общность, единство между тем направлением, к которому я сам ближе всего, и русским диссидентством стоит для меня впереди всего, в том числе и впереди моих симпатий к какому бы то ни было западному политическому или философскому течению.

Идеал нашей борьбы — не романтическая иллюзия о свободе степных коней, которая на практике всегда означает реальность паханов, князей, ханов или партсекретарей, но свободный человек среди людей и общество, по- Не социальная разруха, а развитые социальные структуры могут создать предпосылки для лучшего общественного устройства. ...Диссидентство может содействовать структурализации общества, создавая новые элементы гражданского общества, и выдвигать их как обычную норму.



Ян Тесарж

Ангел — под дождем, Цецилия — в больнице, а я в тепле. Полтора дня мы разделять лиц исторических отдыха с женой. За окнами шум на либералов и реакционеров. К улицы, дождь, темнеет. Мне хорошо. Константину Симонову ни тот, ни Закипает чайник, выключаю газ. другой ярлык не подходит. Я не Скоро придет Вера. ...Ветряные мельницы вырабатывают электричество, а Дон Кихот пишет детек- тивы. Но я соз- тепелей. Вполн-

дал этот мир не возможно таким несовер- даже, что в шенным, при- глубине души шел и уйду, но предпочитал он сегодня я соби- времена более раю свой шала- либеральные.

шик из тростни- ка и трав...
Семен Глузман



Марк Половский



Главный редактор: Владимир Максимов
Заместитель главного редактора: Виктор Некрасов
Ответственный секретарь: Наталья Горбаневская
Заведующая редакцией: Виолетта Иверни

Редакционная коллегия:

Раймон Арон · Ценко Барев · Джордж Бейли
Сол Беллоу · Николас Бетелл · Иосиф Бродский
Владимир Буковский · Ежи Гедройц
Александр Гинзбург · Пауль Гома
Густав Герлинг-Грудзинский · Корнелия Герстенмайер
Петр Григоренко · Милован Джилас · Эжен Ионеско
Артур Кестлер · Роберт Конквест · Наум Коржавин
Эдуард Кузнецов · Николаус Лобковиц
Михайло Михайлов · Эрнст Неизвестный · Амос Оз
Андрей Сахаров · Виктор Спарре · Странник
Юзеф Чапский · Александр Шмеман
Карл-Густав Штрём · Пьер Эмманюэль

Корреспонденты «Континента»

- Англия Владимир Тельников
 Wladimir Telnikov, 50 The Drive Mansions,
 Fulham Rd., London S.W. 6
- Израиль Михаил Агурский
 Michael Agoursky, P.O.B 7433,
 Jerusalem, Israel
- Италия Сергей Рапетти
 Sergio Rapetti, via Beruto 1/B
 20131 Milano, Italia
- США Юрий Ольховский
 Yuri Olkhovsky, 3319 Ardley Court
 Falls Church, Va. 22041, USA
- Япония Госuke Утимура
 Higashi-Yamato, Hikariga-oka 10-7
 189 Tokyo, Japan

Присланные рукописи не возвращаются, и в переписку по этому поводу
редакция не вступает.





КОНТИНЕНТ

**Литературный, общественно-политический
и религиозный журнал**

24

**Издательство «Континент»
1980**

© Kontinent Verlag GmbH, 1980

СОДЕРЖАНИЕ

Станислав Баранчик — Свой угол. Жилищные стихи.	
Пер. с польского Н. Горбаневской	7
КРУГ РАССКАЗЧИКОВ	
Семен Глузман — Ангел на карнизе	15
Александр Суконик — Встреча	28
Герман Плисецкий — Стихотворения	53
КРУГ РАССКАЗЧИКОВ	
Евгений Любин — «Арифметика»	61
Юрий Милославский — Любовь	74
СТИХИ	
Алексей Лосев, Алексей Цветков	89
КРУГ РАССКАЗЧИКОВ	
Вадим Нечеев — Летний отпуск художника	103
Милован Джилас — Первое причастие	114
СТИХИ	
Игорь Померанцев, Борис Календарев, Иван Елагин	129
РОССИЯ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ	
Эдуард Кузнецов — Две ксины	143
ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИЙ ДИАЛОГ	
Ян Тесарж — Как народились ГРАЖДАНЕ на Святой Руси	155
ЗАПАД — ВОСТОК	
Гейтер Стюарт — Иран: Маркс, муллы и Пехлеви	165
ФАКТЫ И СВИДЕТЕЛЬСТВА	
<i>Югославская трагедия:</i>	
Михайло Михайлов — Предисловие	195
Боро Карапанджић — Выдача и гибель словенцев	201
Райко Катунец — Рождество	222
Мирко Видович — Добровольно-принудительные	233

ИСТОРИЯ	
Александр Некрив — Сталин и нацистская Германия	239
ИСТОКИ	
Виктор Каган — В двух зонах	263
ЛИТЕРАТУРНЫЙ АРХИВ	
Даниил Хармс — Проза. Публикация и предисловие Ильи Левина	271
ЛИТЕРАТУРА И ВРЕМЯ	
Марк Поповский — Идеальный советский писатель. Константин Симонов — итоги жизни (1915—1979)	297
ИСКУССТВО	
Пьер Литец — Олег Гудков, или Схватка плоти с сердцем	331
НАША ПОЧТА	343
КОЛОНКА РЕДАКТОРА	349
КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ	
Ирина Иловайская — Жизнь и житие	351
Виолетта Иверни — «Когда двигаешься, старайтесь никого не толкнуть...»	358
Ирена Лясота-Заблудовская — «Малый Апокалипсис» Тадеуша Конвицкого	364
Кира Сапгир — История о преданном и переданном слуге	368
Василий Бетаки — В противоречии с предисловием	372
Михаил Агресский — ГУЛАГ или утопия	375
В. Волков — Очерк здравого смысла	378
КОРОТКО О КНИГАХ	386
ПО СТРАНИЦАМ ЖУРНАЛОВ	395
НАША АНКЕТА	
Петр Вайль и Александр Генис — Заговор против чувств. Беседы с Зиновьевым	401
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ	

Станислав Баранчак

СВОЙ УГОЛ

Жилищные стихи

Перевод с польского Н. Горбаневской

ЖИЛЬЕ

Живешь ты в своем углу (имеешь четыре угла ты, а пятый, шпион, потолок, заглядывает в мои сны), в своих четырех тонких стенках (каждый бок пустой, а пол, шестой, каждый мой шаг заклеймит волею низов), в своей пыли и паутине, до своей почтенной кончины (нажил яму в бетоне, так подумай, что семь — это смерть, о восьмое чудо света, человече).

ВСЮ ЖИЗНЬ НА ЧЕМОДАНАХ

Всю жизнь на чемоданах из собственной кожи (даже из картонки было бы дороже);

в угол сложив своих косточек горстку (почти что пластик, но худшего сорту);

вселяясь на время в извилины мозга (где сыплется, как в проходнушке, известка);

спотыкаясь впопыхах о пороги предсердий (на лестничной клетке и то просторней);

выглядывая из зеницы ока
(не столь освещенной, как кухня без окон), —

в немеблированной комнате этой
с временной пропиской живи и не сетуй,

что вовеки оно не станет твое —
жизнь твоя, сданное на время жилье.

ВМЕСТЕ С ПЫЛЬЮ

Вместе с пылью на книгах, с отпечатками
пальцев на стекле (осторожно,
не ронять), вместе
с карточкой на сахар и крестом на дорогу
(осторожно, не терять); переезжаю
вместе с блокнотом на коленях, с тысячей обещаний
на шее (осторожно, не отодвигать), с тысячей
на черный день (осторожно, не
предчувствовать), вместе с улыбкой наружу и раной
навылет, с надеждой на выпивку и надеждой
навырост (осторожно, не доверять), вместе
с можно наперекор и нужно наотмашь,
вместе с будет наверняка и позабыто насмерть
(осторожно,
не умирать), вместе с начнем наново
и сплюнуть на всякий случай и всё
напрасно, и вместе с этой любовью,
что одна мне остается навеки, вопреки
и взаправду, осторожно, грузчики,
это всё куда тяжелее, чем с виду.

ЕСЛИ УЖ ФАРФОР, ТО ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ТАКОЙ

Если уж фарфор, то исключительно такой,
которого не жаль под башмаками грузчика или
гусеницей танка;
если кресло, то не чересчур уютное, такое, чтоб
не обидно встать и уйти;
если шмотки — ровно столько, чтобы в чемодане
уместились,
если книги — те, что уместятся в памяти,
если планы — такие, что их можно и забыть,
когда наступит час очередного переезда
на другую улицу, в иное полушарие, на новый
исторический этап
или в мир иной;
кто тебе сказал, что ты можешь привыкать?
кто тебе сказал, что хоть что-то навсегда?
разве никто тебе не сказал, что никогда ты не будешь
в мире
как у себя дома?

ДИКТА, ФАНЕРА, КАРТОНКА, ПЛИТА ИЗ ОПИЛОК

Дикта, фанера, картонка, плита из опилок,
я еще выпрямлюсь, и позвоночник в затылок
крепко упрется, и круглые четки хребтины
всплятся впрямь, как убогие мебели спины
в их наготе дощатой, фанерной, картонной;
да, я еще воскресну, хоть и не знаю, который
я; перестану гнуться, хотя упрямая вера
не проживет в моем теле столько, сколько фанера,

что вертикальность шкафа делает неистомной;
словно луна ко мне своей половиной темной

вдруг обернулась — стою, прикладываю ухо,
мебели сердце пустое глухо стучит и сухо

о своем дешевом бессмертии; я же еще — я чаю —
выпрямлюсь и продвинусь, в себе спрятанном вмешая

весь этот мир, что прям и прост, о моя гробовая
плита, плита из опилок, фанерочка kleevaya.

ПОРА КОНЧАТЬ С ТАКИМИ

Пора кончать с такими
привычками — жалуется жилец
своего жития — что ни день жду,
а Он не изволит являться,
горе-мастер; всё
трещит по швам и гниет,
а Он не идет, хотя по Его вине
в свое время
возникли все неполадки;
сколько еще можно молиться и бить поклоны, я
спрашиваю,

речь идет, в конце концов о заурядной
доброподобности; в начале было слово,
честное слово, что придет и починит,
а теперь только вымоганье очередных авансов;

и Он еще хочет, чтоб я в Него верил,
этот легкомысленный ремесленник,
который только и знает кувыркаться в облаках;

пора кончать с таким отношением свысока
к человеку;

или Он себе воображает, что Он мне Господь-Бог?

ПУСКАЙ И ЗАМОК С СЕКРЕТОМ

Пускай и замок с секретом,
пускай и засовы дюжи,
но хаос владеет светом
внутри, не только снаружи,

Захлопни, запри и защелкни,
ключом патентованным звякай,
но кулачище мрака
крушит и сбивает щеколды.

Цепочку на дверь, словно шрам
боевой, но в невидные щели
протиснется твой же кошмар
и откровенно ошерит

ухмылку: замки для заклятья,
да вставленный в дверь глазок,
и ты к нему глазом прилег,
притянутый тьмою проклятой.

Но слушай: призыв на помошь,
 тот верный и вечный призыв,
 замки зашвырнувши в полночь,
 засовы тяжелые сбив,

ворвется в твой дом и крикнет,
 и это будет не сон:
 из-за миров и времен
 твой голос тебя настигнет.

УЖ ЕСЛИ НЕ МОЖЕШЬ НЕ КРИЧАТЬ, КРИЧИ ТИХО

Уж если не можешь не кричать, кричи тихо (стены
имеют
уши), уж если не можешь не любить,

погаси свет (сосед
имеет
бинокль), уж если не можешь

не жить в квартире, оставляй открытыми двери (власть
имеет
инструкции), уж если

не можешь не страдать, страдай у себя дома (жизнь
имеет
свои права), уж

если не можешь не жить, ограничь себя во всем (всё
имеет
свои границы).

У КАЖДОГО ИЗ НАС УБЕЖИЩЕ

У каждого из нас убежище в бетоне,
и каждое убежище об одном балконе,
а на балконе бегонии в вазоне;

то похороны глядь, то наступают роды,
то выступают предсказатели погоды,
и в жизни есть все время повороты;

будильники звенят одним согласным хором,
одни причины примирениям и ссорам,
во всех кастрюлях один и тот же корм;

под вечер из окна знакомые картины,
во всех окошках те же самые гардины,
и лампочки в сто ватт для всех едины;

а снизу грузовик, жилец въезжает новый,
и ташат грузчики буфет его дубовый,
за ним диван, конечно же, бордовый.

ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
ПО ПОДДЕРЖКЕ ЮГОСЛАВСКИХ
ДИССИДЕНТОВ

ЗАЯВЛЕНИЕ КОМИТЕТА

В Белграде 24-го и 25-го апреля присудили к семи годам тюремного заключения одного из редакторов первого югославского самиздатовского журнала «Часовник» («Часы»), появившегося в ноябре прошлого года при участии Милована Джиласа, тридцатичетырехлетнего писателя и архитектора Момчило Селича. О предстоящем суде не была оповещена общественность, и поэтому в западной прессе не было никаких откликов на эту драконовскую расправу с инакомыслящим.

Момчило Селич был судим за статью в 6 страниц, написанную им в декабре прошлого года и названную «Содержание», в которой он критиковал диктатуру Тито. Статья нигде не была напечатана, но получила широкое распространение в кругах белградской интеллигенции, и в середине февраля Селич был арестован, и судим по статье 133 («вражеская пропаганда») Югославского уголовного кодекса.

Комитет призывает общественность демократического мира встать на защиту осужденного писателя и протестовать против дикой расправы титовского (или уже послетитовского) режима со всяkim проявлением свободного слова и независимой мысли в нынешней Югославии.

От имени Комитета:

Михаил Михайлов

1-ое Мая 1980

Галерея «Москва — Петербург»

Художественный директор Александр
Глазер

Единственная в Европе галерея со-
временного неофициального рус-
ского искусства.

Картины, акварели, рисунки, офорты,
литографии известных русских ху-
дожников: Вячеслава Калинина, Ва-
лентины Кропивницкой, Олега Ляга-
чева, Эрнста Неизвестного, Оскара
Рабина, Бориса Свешникова, Вален-
тины Шапиро, Михаила Шемякина,
Владимира Янкилевского и др.

Галерея открыта со вторника по суб-
боту включительно с 14 ч. до 19.30 ч.

Адрес: 11, rue de l'Echaudé,
75006 Paris

Metro Saint-Germain de Près ou Mabillon
Tel: 326-09-51

Круг рассказчиков

Семен Глузман

АНГЕЛ НА КАРНИЗЕ

Хорошо верить хорошему и плохо верить плохому, хотя бы оно и было правдой, и всего хуже тому, что плохо солгano.

Из «Саги о Гурмунде Арасоне»

Ангел, восседающий на карнизе, был моим братом. Цементная кровь, цементный мозг... мокрый цемент; темный ангел, восседающий в кататоническом ступоре восемьдесят три года. Ангелу не нужны исповедники, он безгрешен, поэтому окаменел. Разуверился в Господе, познав вершину творения.

Слякоть, вязкий октябрьский дождь, грязное белье. Иду домой, подогреть ужин, ждать Веру. Добротельную жену и мать. Мою Веру, которую я тем не менее люблю. Придет уставшая, в мокром пальто, тухлые испарения сохнущей ткани на всю квартиру. Тяжело сидет на диван, массаж пальцев ног, полных ног, моих. Я — узаконенный обладатель. Наши ноги, наши дети... Троллейбусы переполнены, проталкиваясь, ото всех тухлые испарения. Знакомых нет, не надо здороваться, жаловаться на дождь. Уединяюсь, еще восемь минут на потоки. Улисс с высшим медицинским образованием. На пути к Пенелопе-Верочки. Надо взять хлеб. И чай, желательно «цейлонский», буду доволен «тридцать шестому». Дети у бабушки, двенадцать кварталов, девять остановок троллейбуса. Интересный профиль справа, через проход. Морщинистый Данте. Смотрит на меня, отвожу глаза. Толчок. Кто-то зазевался на мокром асфальте. Ругань,

изливают накопившиеся аффекты; не поможет, надо бы кулачками, до боли, и почаще. Не умеют, цивилизованные. И так каждый день, особенно в слякоть. Ненависть, изливающаяся на попутчиков, «пусть мой брат подставит вторую щеку», стихийная психотерапия, не хотят умирать от инфаркта. И я не хочу. И копаюсь в грязном белье. Чтобы дети выросли в полноценных троллейбусных пассажиров... Устал, сегодня тяжелый день. Скорее бы пришла Верочка. Отойти от всего этого, славная моя Верочка... Прачечная, небольшая очередь. Получают белье, сдают белье, пачкают белье, так всю жизнь. От пеленки до савана. Даже для тех, кто родился в рубашке (чем не литературная ассоциация!). Огромные кипы белья во все стеллажи.

Нести тяжело. В одной руке портфель, в другой тяжелый сверток. Намокает под дождиком бумага, надо спешить, донести сухим. Еще четыреста метров. Зонты и резиновые сапожки. На всех белье. У всех красная кровь, лимфа, спинномозговая жидкость, тяжелый запах тухлых испарений. Все спешат. К теплу, сытости, телевизорам. Кто-то придет ко мне, завтра, послезавтра, вывернет исподнее, попросит помощи. И я помогу. Фриgidной жене, невротику-инженеру, эпилептику. Выслушаю участливо, осторожно доверну последние складки потайных бед, прикину интеллект, дам советы, рецепт. На те медикаменты, что есть в аптеках. Суксилепа нет, а та вчерашняя девочка очень хорошо бы пошла на нем, типичные petit mal. Такой отец достать не сможет, я не сказал о суксилепе. Попробую традиционную терапию. Не моя вина.

Все спешат, по лужам, у меня забрызганы брюки. Машина въехала в лужу, весь мой сверток в грязных потоках, хоть бы не лопнула бумажная бечевка, надо спешить. К дому, к либидо. Ноет рука, бечевка врезалась в ладонь, еще сотня метров, передохну в лифте, портфель поставлю на полочку. Опять машина, грязь

даже на лице. Заехать бы ему по морде, отреагировать свое накопившееся, ему-то сухо в кабине. Он не виноват, дождь, неровный асфальт, в углублении вода, причем же здесь водитель. Ладно, не буду бить, да и как остановишь его. Это уже самоуспокоение, анализирую самого себя, пациента номер один. Как-никак, своя рубаха ближе к телу. К уставшему телу. К телу одномерного человека. Сегодня мне не до философии, очень устал. Дождаться Веры, поесть, включить телевизор, посидеть вдвоем, обнявшись. Она изменилась, нет той живости у моей Верочки. Дети, работа, звонки больных. Пытается одеваться по моде. Пытается, всегда озабоченное лицо, морщинки у глаз, переживает. Бросила курить. Как давно мы не были вдвоем. Придет — выключу телефон, только до этого позвоню детям, как они. Но вообще я спокоен, бабушка умеет посмотреть за ними, не простудит. «Щелк» — и весь мир уйдет, мы останемся в своей крепости, как во времена домостроя. Одни, в тепле, отгороженные от сырости, пациентов, горздрава. Кстати, не забыть о Ризедовой, письмо из горздрава. Жалобы соседей на антисоциальное поведение. Мой участок. Была на диспансерном. Вялотекущая, диагноз ВТЭКа. Водят хахалей, пьют. Может быть, малина. Но это уже дело милиции. Я должен освидетельствовать психику. Вызвал, она не приходит. Должен пойти сам. Явные оскорблении, мат — чего еще ожидать там интеллигенту в берете и югославском плаще. Надо идти. Не иметь никаких санкций прокурора, просто позвонить или постучать в дверь, задать несколько формальных вопросов, не увидеть ничего лишнего (не мое дело...), уйти. Заполнить карточку, сделать главврачу черновик ответа. Моя хата с краю, взаимоотношения Ризедовой с милицией меня не касаются. Показаний для принудительной госпитализации, по-видимому, нет и сейчас, как не было никогда. Тертая баба. Не больнее меня. Но — вялотекущая. В прошлый раз запустила в меня сапож-

ной щеткой. Я увернулся. Вере не рассказал. Ей хватает своих диабетиков. Смысл ее жизни — борьба с сахаром. Моя Вера, в сомбреро и с мачете в руках, рубит тростник. А я вправляю мозги. Хорошо, что никто не умеет читать наши мысли. Рука совсем онемела. Лифт свободен. Ставлю на полочку портфель, сверток прижимаю к стене, отыхаю. Достаю ключ. Я дома.

— А, черт. Забыл пойти в магазин. — Говорю это вслух, ругаю себя, погоду, главврача, Ризедову. Приходится одеваться, идти вниз. Грязные лестницы, сырь. На третьем этаже из-за двери доносится музыка. Песня Сольвейг. Кому-то тепло, кому-то не надо идти в очередь. На улице еще противнее, ветер резкими порывами гонит в лицо капли дождя, стягивает берет. Мокрые желтые листья прилипают к обуви. Все спешат, молчаливо, зябко, не останавливаясь для разговоров. Даже худенький старичок на костыле. И он спешит. И я спешу. В магазине пристраиваюсь к хвосту, продвигаюсь, беру два батона, сахар, в другом отделе две пачки «тридцать шестого». Расплачиваюсь, бегу к своему подъезду. Всё, я опять дома.

Звонит телефон. Сбив, извиняются, кладу трубку. Опять звонок, тот же голос, а с меня льется на пол, надо будет подтереть. Больше не звонят. Всё. Умыться, отыхать. Зажигаю горелки, ставлю чайник, кастрюлю. Тишина, чуть спадает напряжение. Я дома. Скоро придет Вера, встречу ее разогретым ужином, лаской. Отыхом от всего чужого, постылого. Ах, как хорошо...

Ангел на карнизе мне не брат. Он под дождем, а я в тепле, я дома. У ангела цементные мысли, цементные островки Лангерганса. А я из плоти, отыхаю, от усталости, от назойливых мыслей, от ангела. Обрывки воспоминаний, Цецилия Вайсберг...

Двое рослых сыновей, у старшего на пальце обручальное кольцо. Здоровенные парни, в глазах ужас,

горе. Диагноз ставлю быстро, ажитированная депрессия, утешить нечем, это только начало. Органика, впереди новые приступы. Квартира небедная, на стене Айвазовский, конечно, репродукция, в таких домах оригиналы не висят. Учительница, в школу она уже не вернется. Копия Айвазовского останется здесь, а Цецилия уедет в больницу. Под аминазин, под надзор. В море разливанное безумия. Айвазовский — не художник, Цецилия Вайсберг — уже не учитель. Почему я вспомнил? Комплексую, утверждаю свою личность на неприятии Айвазовского. Мой страт выше страта Цецилии Вайсберг. У меня поднимается настроение. Ангел — под дождем, Цецилия — в больнице, а я в тепле. Половина дня отдыха с женой. За окнами шум улицы, дождь, темнеет. Мне хорошо. Закипает чайник, выключаю газ. Скоро придет Вера.

Сегодня был Мальков, самый пунктуальный из моих шизофреников. Как и всегда, мудрствует. Опять объяснял мне свою концепцию с биотоками. Распад атомов как функция внутреннего диаметра философского камня, снисходительно упоминает Эйнштейна: «сидел бы лучше в своем патентном бюро...» Ничего не понимаю в физике, всяких там квarkах, полях, звездных дырах, а Мальков — шизофреник. Тихий, незаметный человек, живущий на сорок рублей в месяц, на пенсию. Не решаюсь спросить, как же умудряется выжить. Родственников как будто нет. Жаль его, выписываю рецепты, выслушиваю весь его бред, больше некому выслушать. Иногда читаю его рукописи. Строит новую социальную концепцию, смесь наукообразных слов и мистических связей. Классик-шизофреник. Сегодня принес рукопись, где прослеживает связь между собой и ангелом на карнизе здания горсовета. Вывод: «он мой брат». Официальный тезис «все люди братья» взят эпиграфом. Оба мы червячки, только Мальков этого не понимает. Вся эта романтика социального созидания выливается в бред. Болен, не может «живь

как все». А я считаю себя червяком, маленьkim, беззащитным, легко заменимым. Но самоценным. Мой мир — я сам, Вера, дети. Здесь родился, здесь умру. Главное — чуть лучшее место под солнцем. Для себя и семьи. Люблю Достоевского, но и сытость. Фрейд действительно гениален, все мы живем либидо и страхом смерти, остальное наслаждения. Как бы их ни называли. Есть мир, в котором я ничего не могу изменить, поэтому проникаюсь его ритуалами и живу в нем. А Мальков не может. И я выписываю ему рецепты. Не знаю, как же все-таки функционирует мой мозг, но места для Бога в нем нет. Только либидо и страх смерти. Ужин остывает, а Веры все нет. Вместо Господа Бога пустота, а Веры нет. А у Малькова своей Веры нет вообще. Звонок, слышу голос жены. Задерживается на собрании, просит зайти в овощной магазин за картофелем, взять молоко. Чтобы не заниматься этим завтра, в выходной. Голос усталый, глухой. Одеваюсь, выхожу под дождь. Брызги из-под шин, брызги из-под ног, брызги, брызги, сверху, снизу, отовсюду. Чертыхаюсь про себя, сырость и раздражение, опять очереди. Конца им нет. Взять бы да... к лешему всех вас. Ни тепла, ни жены, только дождь и тухлый запах испарений в магазинах. Желание кому-то заехать в физиономию, выдрать прутьями. Нашли время для собрания, все равно ничего серьезного не обсуждают. И эти, прохожие, тоже торчат на собраниях, привыкли. Я врач, мое дело лечить, выслушивать Ризедовых, Мальковых, своевременно госпитализировать. Ангел, восседающий на карнизе, мне не брат. Он цементный, а у меня живая, красная кровь. У меня семья. А сейчас у меня накопились негативные аффекты: сырость, задержка жены. Это пройдет, я ведь понимаю, это попросту аффекты. Куплю картофель, молоко, еще раз подогрею ужин. Ангел будет все так же мокнуть под дождем, а ко мне придет Вера. Нам будет тепло и спокойно вдвоем. За детьми присматривает

бабушка, следующие полтора дня наши. Целые полтора дня, без пациентов, очередей, без всего этого...

Звонит телефон. Откладываю газету, беру трубку. «Веру». Голос Марины, обоюдные фразы ни о чем, разговор о детях. «Надо бы встретиться...» Привет семье, Вера позовонит позднее, кладу трубку, Марина не в моем вкусе, Вера это знает, закипает чайник, который раз... Выключаю. Мысли ни о чем, порхая бабочкой по газетным листам, отыскиваю чашечку с нектаром. Легкое раздражение — оттого что жены все еще нет. Речь президента, воспоминания зловещего генерала, аресты в Чили, визит дружбы, трагедия беженцев... О чем так долго говорят на собраниях?.. Интересно (это нектар), у русской православной церкви есть отдел внешних сношений, ну да, почему бы ему и не быть, отцы-дипломаты, в рясах или фраках. Вечно совершенный Бог, направляющий мир, говорящий со мной из некоего Нечто. Как концепция конечной цели развития человечества. Это по Адлеру. Или кто-то другой, помню обрывки. Я не верующий. Моя Вера — мне жена. Циничный каламбур. Откладываю газету. Мягко, светло. Тепло. А когда-нибудь будет смерть. Взрежут, вскроют патологоанатомы. И закопают. Страшно, лучше не думать. А может, Он есть? Опять комплексую, чувство недовольства собой, червячком, цыпленком в скорлупе. Деревянная лошадка сына, оборвал поводья, отломал одно колесо, ремонтировать не буду, все равно сломает; зависший конь на картине Шагала, конек-горбунок, купанье красного коня, в домонгольской Руси образ коня защищал жилище от злых сил, до монгол, когда Параскова Пятница еще была Мокошью. А сегодня суббота. Шаги за дверью, щелкает замок, пришла Вера. Иду к ней, целую, несколько дольше обычного, помогаю снять пальто, говорю ласковые слова, целую опять, она устало смеется. Нарезаю хлеб, наполняю тарелки. Настороженно смотрит на мои излишне быстрые руки, ничто

не падает, не разливается, мои кельнерские задатки оценены по достоинству. Мы едим, вдвоем, в тишине сытого дома, среди сытых вещей. Убираю, «мыть будем завтра», обнявшись идем в комнату. Вера тяжело опускается на диван, я рядом. Тоска, смерть, тюрьма, дождь — всё это ирреальные понятия чуждого мира. Бог умер, ангел из цемента, мы сидим у приглушенного телевизора, утонув в волнах нежности и довольства. Закрываю глаза, вяло пробираюсь в поросли разрозненных мыслей. Что-то невнятно бархатное бормочет диктор, мягкие пальцы выводят медленные узоры на моей руке. «Мне вечер — книга, переплета сверкает пурпур дорогой...» Строки Рильке проясняют образ этого вечера, читаю вслух, пальцы останавливаются, застывают в моей ладони. Открываю глаза, Вера спит. Осторожно высвобождаюсь, встаю. Расстилаю постель. Сонное бормотание благодарности, извинение. И опять сон. В темноте догорает моя сигарета... Завтра воскресенье.

Ночью мне снилась Ризедова. Она кормила меня свежей малиной, и я чувствовал, как в моем теле до гигантских размеров растут ягодные червячки. Черви сомнения. Но я ничего этого не помню.

За окном сизое утро, шелестит дождь по стеклу. Тянусь за сигаретой на столике. Теплая рука Веры ложится на плечо, останавливает. Утро-день-месяц-годжизнь, зарождение и гибель древних царств. Цветастый Кама, восседающий на попугае. Нет повести прекраснее на свете, чем повесть о Ромео и Джульетте. И сказал им Господь: плодитесь и размножайтесь.

Из сизого утра в серый полдень. Мгновенные метаморфозы, бег времени, Хронос в винограднике. Нет вчера, нет завтра, нет ожидания, настороженности, спешки. Аштарот, узаконившая свою связь с рыцарем печального образа в серый полдень. Сытые игры мудрых небожителей. Миф о фиговых листьях; всё — виноград, весь мир в винограднике. Ангел под дождем,

безумие Цецилии Вайсберг, моя трусость — всё фикция. Хорошо верить хорошему и плохо верить плохому. Sic.

Длинный решительный звонок в дверь. Оттуда, из дождя, холода, фиговых листьев. Вера садится к трюмо, я открываю. Виноградник высыхает на глазах, уныло повисают мертвые грозди, отлов кентавров для целей науки. «Эдем работает по расписанию. Выходной день...» Гости. Боб и Наташа. С порога суют бутылку хванчкары (эрзац виноградника, удобно и просто, карманный набор джентльмена). Мягкие пощечины мокрых интеллигентных рук, ритуал снятия сапожек. Вера сейчас выйдет. Наши друзья, как будто искренние. Наскоро умываюсь, бегу за тортом. Минус одна пробежка в филармонию. Пражских нет, бисквитные несъедобны. Беру трюфельный, сыр, масло, майонез. Шлепаю по воде, в подъезде ветер плюет в лицо желтым листом, привычно утираюсь. Острые, длинные капли стекают с воротника на спину. В лифте бегло анализирую свое отношение к Бобу и Наташе. Они ведь не знали. И достали хванчкару. Десерт к нашему полудню, кентавр в зоологическом парке, спаси вымирающий вид, достижение отечественной науки. Приоритет в мамонтах и кентаврах. Согреваюсь, предвкушаю. Боб и Наташа — чудные ребята. Все чудесно, от физических наслаждений к интеллектуально-гастро-номическому десерту. Вера уже в комнате. В лучшем платье, подтянутая, в глазах постепенно расходящиеся ключья тумана. Полуденного. Предзастольная суeta, стук тарелок, урчание холодильника. Медовый аромат вирджинского табака, увлеченное воркованье двух молодых женщин. Мягкие шутки, мягкие тосты, игра хванчкары в хрустале, мягкий дурман глубоких затяжек (трубка Боба), блестящие глаза. Ветряные мельницы вырабатывают электричество, а Дон Кихот пишет детективы. Не я создал этот мир таким несовершенным, пришел и уйду, но сегодня я собираю свой

шалашик из тростника и трав, это мой дом, это моя охота, мое место из лучших, на пригорке у ручья. Мои овцы в укрытии, дети сыты, я доволен. Кто я перед Тигром, чтобы воевать с ним; белый ягненок — все искупающая жертва, гарантия. Цирюльничий таз не спасет от удара когтистой лапой по голове.

Милые банальности, легкое пикирование. Наталочка расцветает месяц от месяца. Угадываются округлые формы будущей матроны, и все так же наивна. Мир, разделенный на сектора: Поэзия, История, Быт, всё с большой буквы. Идеальная жена современного инженера. На меня смотрит восторженно: экзотическая профессия, Врубель-Кафка-Магомет. Как раз то, с чем никогда не сталкиваюсь. Экзотика горя и вывернутого исподнего, двадцать пять процентов надбавки за вредность. За Малькова, Ризедову, Вайсберг, за размышления о цементных ангелах. Боб отвалился на спинку, съято затягивается. Воловое лицо, очень живая мимика. Широкий кругозор. Знаем друг друга давно, абсолютное доверие. Такое, что Вера долго не могла привыкнуть, пугалась. Оба почтываем (а кто сейчас не почтывает). Достаю я. Не очень часто; но всегда информирую Боба. Не любит комментировать, это я заметил давно. Сложный комплекс внутренних неувязок, считает себя аморальным наблюдателем, так я думаю, догадываюсь. А наивная Наталочка своих чувств не скрывает. Возмущается, за глаза осуждает некоторых знакомых. И любит своего высокоинтеллектуального Боба. И ходит на работу, ежедневно. Рядовой гуманитарий; Овидий, Лаокоон, пунические войны. А если бы Пантагрюэля — да в мантию сорбоннского профессора, да на кафедру классической филологии Востока. Кофе готовит Боб, он спец. Непостижимая для меня наука, оккультизм. Предмет черной зависти моей жены. Наталья ставит диск Гершвина, никто толком не слушает. Мягкий, незатухающий разговор четырех близких людей, свободных от

настороженности, цели, скрытого смысла. Аромат благодушия разрушает Наталья, в моем присутствии она не может не говорить о психиатрии. Каждый погружается в свои мысли. Я должен отвечать, это уже не экзотика. В высохшем винограднике мы сидим в длинных платьях из фиgovых листьев. Мертвая, сухая земля, бесплодные лозы. Нобелевская премия Панта-грюэлю за концепцию гедонизма. Я недоволен, сегодня мой праздник. В теплой уютной комнате шевелится сквозняк. Да, это возможно, отвечаю я. Складываются длинные фразы. Термины, аргументы, сожаления... Зачем мне все это? Каждому из нас чуть-чуть противно, у Натальи красное лицо, дрожит голос. Лаокоон, пунические войны, Овидий. Эпоха Просвещения, ренессанс... Кстати, Овидий совсем не добровольно уехал к Черному морю (на север!). Все возвращается на круги своя. В ее словах искренняя горечь. Я молчу. Меня не обвиняют, не призывают, но я молчу. Для нее вся эта грязь — абстракции, Лаокоон. А будь на моем месте ее несравненный Боб... Мне все ясно, обдумывал это раньше, не один раз. Мой шалашник не объемлет Вселенную. Нельзя быть ангелом во плоти. Бесплотные ангелы существуют в цементе, в холоде и слякоти. Живая плоть и дух ангельский несовместимы. Внимательно, чересчур внимательно слушаем блюзы. В мягком кресле у балконной двери настороженная Вера, смотрит на меня. Все понимаю, парапсихология. Откуда-то выплывают строки: спокойно к людям подплывают, отбросив страхи, живущие на воле рыбы и черепахи. Эпоха Сун? Не могу вспомнить. Поэтические вольности, и рыбы и черепахи не так глупы. Человек — это звучит совсем не гордо. Знаю доподлинно — двадцать пять процентов за вредность.

И овладел нами дух греховный, дух противоречия.

Деликатный Боб меняет тему. В доме повешенного не говорят о веревке. Светский раут четырех ви-сельников. Прелести «Игры в бисер», концерт Обо-

рина. Кентавры на лужайке. Пощипываем траву. Виноградные лозы опять плодоносят. Бабье лето. Последнее тепло, последние погожие дни. Утепляю шапашик ловко пригнанными словами, клейкой пастой инстинкта замазываю щели. Наташа и Боб — чудные ребята. С ними не нужен этикет, умны, искренни. Но я комплексую, оставляю последнее слово за собой. Краткая история очевидца: восемнадцатилетний гемофилик перерезает себе вены в скверике у гематологической клиники, откуда он только что выписался. Моя месть Наталье, угадал. Не все проблемы решаются личным героизмом. Всесильна лишь Природа. Боб понял сразу же, смотрит с осуждением. Свежий кофе. Веселые разговоры о детях. Теплеет. Жаль расставаться. Расставляем вехи будущих встреч. Все еще бабье лето, пригревает солнышко, зреет новая хванчка. Тонет в пролете лифт, убираем посуду. Резвящиеся кентавры в ковыльной степи. Ласковые руки жены, осмыслиенные прикосновения пальцев. Засыпаем в темноте, под неизбыточное шуршание дождя по стеклу.

Ночью я ел яблоки и назывался Парисом. Ко мне приходят Мальков, ангел и Ризедова. Молча ожидают, к ним приближается маленькая девочка. Та, которой я не дал рецепт на суксилеп. Говорят Мальков, все ли я сделал, чтобы вылечить девочку. Нет, — отвечаю я честно, — ей нужен суксилеп, но его в аптеках мало, на всех нуждающихся не хватает... «Мой!» — радостно гогочет Ризедова и развязно предлагает себя, обещая невиданные улады. Ангел и Мальков отворачиваются от нас, берут за руку плачущую девочку. Уходят.

Но я не помню это. И не хотел бы помнить никогда.

Сентябрь 77 г.

ГЛУЗМАН Семен Фишлевич — родился в 1946 г., жил в Киеве, где окончил медицинский институт и работал психиатром. 11 мая 1972 г. арестован за распространение самиздата, найденного у него на обыске в марте того же года. Осужден за «антисоветскую агитацию и пропаганду» на 7 лет лагерей и три года ссылки. Подлинной причиной ареста и сорового приговора была анонимная контрэкспертиза П. Г. Григоренко, проведенная Глузманом на основании официальных экспертиз и собранных им дополнительных данных, — госбезопасность установила его авторство по оперативным данным, но не имела легальных доказательств. Отбывал срок в Пермских лагерях, где активно участвовал в лагерных протестах. Вместе с Буковским написал в лагере «Краткое руководство по психиатрии для инакомыслящих». Подвергался непрерывным преследованиям лагерной администрации и последние месяцы лагерного срока провел в ПКТ (внутрилагерная тюрьма), где держал длительную голодовку и голодавшим был отправлен на этап в ссылку. Сейчас находится в ссылке в пос. Нижняя Тавда Тюменской обл. (Западная Сибирь).

ЦЕНТР ПО ИЗУЧЕНИЮ СССР
созданный в г. Кёльне (Федеративная Республика Германия)
ПРИГЛАШАЕТ СПЕЦИАЛИСТОВ

во всех областях науки, промышленности, сельского хозяйства, организации производства, планирования, военного дела, юстиции, медицины, культуры и искусства, спорта, организаций партийного и государственного аппарата и т. д., заинтересованных в разработке различных аспектов вышеуказанных тем, сообщить в Центр следующие сведения о себе:

1. Имя, отчество, фамилия
2. Год рождения
3. Адрес и телефон
4. Профессия
5. Образование (с точным указанием учебного заведения, факультета и года окончания)
6. Ученые степени и звания
7. Бывшие места работы и должности в СССР
8. Узкая специализация (темы, проблемы)
9. Научные работы (опубликованные и неопубликованные)

Присланная Вами информация войдет в картотеку Центра, создаваемую с целью выполнения последующих заказов на исследовательские работы.

Адрес Центра: Zentrum für Sowjetforschung e.V.
Postfach 18 01 05
D-5000 Köln 1
Bundesrepublik Deutschland

ВСТРЕЧА

Когда Григорию Крамеру было восемь лет, война внезапно изменила жизнь еврейского мальчика из хорошей семьи (существенное определение в социальной иерархии южного города). Исчезла бонна, улетучилась домработница, кануло в небытие благополучное существование — обеды на накрахмаленной скатерти, любимый серебряный прибор, прогулки с мамочкой по центральной улице, когда все улыбались тебе на встречу, наклонялись, ласково щипали за щечку — целый мир, такой нежнокомфортабельный и привычный, развалился на части, унесся в небытие, и Григорий, преследуемый грозной безликой силой, именуемой «немец», очутился в уральской деревеньке, окруженный снегом и чужими людьми. Те четыре года, проведенные в глубине России, вошли болью странного воспоминания. Впоследствии, анализируя прошлое, он представлял, как его сюжет может быть описан в современных стереотипах-терминах: субъект, попавший в постороннюю доминирующую среду, чувствует свою слабость, и естественным образом, вместо сопротивления и вызова, приходит к привязанности и любви к своим угнетателям.

Угнетатели — не слишком ли сильное слово? Куда там. Мальчишки били Григория всем классом, дразнили «вакуированным» и явреем, отбирали завтраки, и он был настолько запуган и одинок, что однажды не смог заставить себя попроситься на уроке в уборную, предпочтя наложить в штаны, и так добрел домой (благо штаны были толстые, ватные).

Что было совсем плохо: он не нашел поддержки у Высшего авторитета — в лице учительницы. В первый день сгоряча и по наивности он пошел к ней жало-

ваться: было слишком непривычно и нечестно всем классом на одного (потом привык), но что же она сделала? Прилюдно стала опрашивать одного за другим мальчиков, действительно ли били новичка, а те с недоумением и торжествующими улыбками отказывались, а она кивала, мол, так я и думала. Вот здесь проявилась трещинка уникальности мира, который окружал Григория. Что за персона он был, чтобы все объединились против него? Во время спектакля, разыгрываемого в классе, ему сталостыдно за них, и это несмотря на безнадежный, мертвый перед ними страх. Он глянул в лицо учительнице, но она неожиданно встретилась глазами, что внезапно поставило их вровень врагами друг против друга. До сих пор у него было хоть отбавляй врагов, может быть, даже слишком много для его лет, однако с женщиной, со взрослой женщиной он сталкивался в поединке впервые, и это вдруг сделало его самого взрослым. Он, разумеется, ненавидел сейчас учительницу и боялся ее, одновременно удивлялся ее слабости, что привносило в их отношения элемент интимности. Детским чутьем он впервые понял, что на него нападают от неуверенности и страха — перед ним? Значит, не так уж он мал и незначителен? Тут же произошла одна вещь, которую он запомнил четко и навсегда. Он передвинул взгляд с наигранно-холодного лица учительницы на ее полные ноги, обутые в черные валенки-качалки, упруго подобравшиеся под столом и обнажившие часть икр, и его пронзило неведомое до сих пор сладостное чувство: вот в каких обстоятельствах Григорий испытал в первый раз в жизни эротическое влечение к женскому телу. Она была беззащитна, эта учительница, несмотря на свою хмырскую рожу, беззащитна, беззащитна, беззащитна, хотя он не знал, почему, да и вообще не знал еще, что, кроме тебя, еще кто-то может быть беззащитен. Но потом всю жизнь он испытывал слабость к чужой беззащитности — понятию

женского рода, не так ли? — он был влюблён в беззащитность, сочувствовал ей, открывал сердце, хотя знал, как она порой обманчива, и даже не порой, а по большей части, потому что чревата претензией и, следовательно, подстерегает, готовая отомстить, но он был готов на подобную игру, оказалось, что для него все лучше было иметь дело с женским началом · во внешнем мире, чем с мужским.

Под беззащитностью он понимал несомненно еще пассивность и лень — качества, котэрые и ему самому были свойственны, но которые подвергались постоянным осуждению и осмеянию в активном кипении семейной жизни, то есть качества, которым полагалось быть в загоне, а он тоже был в загоне, маленький Гриша, окруженный со всех сторон немцами, семьей, уральскими мальчишками — каждый грозил ему со своей стороны и по-своему. Вот почему впоследствии он указывал пальцем на семью как на изначальную силу, толкнувшую к отчуждению, осознанию одиночества существования и распределения отныне любви и ненависти по принципу рефлекторности и относительности (то, что в этот момент любишь, обернувшись в другую сторону, завтра возненавидишь, и уже нет ничего абсолютного, монолитного во всем мире для тебя). Вот почему он также предпочитал объяснять свою любовь к России не в терминах пары сила-слабость, но в терминах столкновения мужского и женского начал. Таким образом он мог свести счеты с матерью, обвинив ее в недостатке женского начала — о, еврейская мамочка, хорош комплиментик тебе в лицо?, но таким образом он мог найти наиболее полный способ выразить образ России, что жил в его душе.

Образ этот состоял из ряда моментальных фотографий-ощущений, как то: снега, укатанного до коричневой глянцевитости на улице, запаха морозного дыма, смешавшегося с запахом лошадиного помета, су-

гробов на задах в человеческий рост и прорубленного в них хода к черной бане, весенних талых ручьев, в которых мальчишки пускают кораблики из коры, ста-рухи — хозяйки дома, что ищет в голове у внука боль-шим кухонным ножом («О, грязь! о, ужас!» — брез-гливо шепчет мать), пруда на краю деревни, поросше-го тиной и водяными лилиями, звуков гармошки, растиравшихся вдруг в ночи за окном и так же вне-запно затихших, — природа тут играла несомненно более существенную роль, чем люди, но в том-то шут-ка и состояла, отсюда и навевалось ощущение тихо-сти, бесконечности и ненавязчивости. Образ манил иллюзией расслабленной благодати, что ждет в натоп-ленной избе за обледеневшим оконцем, где тебе участь то ли навечно ребенком, то ли впавшим в детство идиотиком, знай прикладывать нагретые дыханием пятаки ко льду, продавливать волшебный глазок во внешний мир... образ, однако, и другой стороной себя оборачивал — поземкой-вьюгой посреди чиста поля, а ты, покорившийся, даешь ей убаюкать себя, чтобы мирно забыться, утихомириться навсегда...

Что же касалось мальчишек, то: «...а как до-браться туда, там тепло, мягко!», — говорил, спле-вывая сквозь зубы, Генка Пашков, они стояли летним вечером у завалинки, и мальчишки слушали Генку с уважением, поскольку он был старше и уже ебался, но позже, когда Григорий сам «добрался», он с удив-лением вспоминал Генкино сравнение, Генкино описа-ние интенсивности сумасшествия любви и еще раз убеждался, что с мужской частью того мира у него было меньше всего общего, хотя, конечно, не без того. Только на уровне иносказания и мечты они совпадали по-видимому, хотя в том-то и дело, что не совпадали, поскольку, что было для Григория иносказанием и мечтой, для мальчишек было частью реального мира, а что было для Григория частью реального мира, для них вообще не существовало — или, напротив, входи-

ло в их мечту? — но в таком случае сугубо враждебную, обносящую самое себя колючей проволокой отделенности и конкретности и указывающую затем со стороны пальцем грозного обобщения: «явеи, явреички, Сарочка, накорми бульончиком, а никому ничего не дам, все скушает мой Абрам», что означало — на добровольных началах Сарочка им заказана, остается только насилие, и потому переносили дополнительную зависть-месть-ненависть на мужскую часть и кричали Григорию: «Эй, Абрам, Абрамчик, ну-ка иди сюда!», и он шел, цепенея от страха, но не позволяя себе повернуться и бежать (никогда, никогда!), а они непонимающие щурились, враждебно ухмыляясь такому добавочному доказательству инаковости и неестественности маленького созданья и добавляли тумаков (а побежал бы, поулююкали бы вслед, но не стали бы преследовать). Но во сне его посещали иные видения, и школьная учительница Анастасия Ивановна шла, пьяно качаясь, по улице, и падала вдруг, лукаво опираясь спиной в сугроб и расставив ноги, блестела глазами, подзывая Григория: «Ну-ка, пойди сюда, кудрявенький, поцелуй, да не так, а по-настоящему!» — и он шел, шел, пока не спотыкался в ее объятия, о, так бы им, сливвшись воедино, не расставаться, но тут она вдруг холодно отстранилась, будто что-то вспомнив, говорила учительским голосом: «Крамер, расскажи нам о причинах успеха крещения на Киевской Руси», и Григорий вставал, запинаясь, бормотал бессмысленно выズубренные строчки из учебника, что-то о невежестве темных масс и классовой выгоде князей, но, к своему удивлению и тревоге, не получал автоматических учительских кивков, но тот же враждебно-формальный взгляд мимо, о, этот взгляд, как последняя месть за собственную слабость! — и он потерянно замолкал, заманенный в ловушку, из которой слишком поздно выбираться... Но все равно знал теперь, что нужно выбираться, а пока он только замирал, застывал, ма-

ленький комок плоти, человеческой плоти, такой ничтожный, что надавить ногтем, щелкнуть шутя пальцем — и нет его, а вот поди ж ты...

* * *

Григорий Крамер, инженер, приехал в отпуск в Москву. С Киевского вокзала он направился на метро к школьному приятелю, у которого собирался остановиться. Уже с самого выхода на перрон, и затем на переходах в метро, и затем в набитом вагоне (был час пик), и затем, выйдя на улицу, увидев хмурые широкие улицы, высокие здания, он все время ощущал приподнятое настроение, впрочем, вполне ему знакомое: сердце всегда замирало, когда он приезжал в Москву.

— А-а-а, приехал-таки, котик! — сказал, открывая дверь, приятель и затряс животом в особенном, присущем только ему смехе. — Мамочка отпустила тебя, а?

Если рассудить здраво, смех приятеля был нелепо бессмысленен, поскольку — причем тут «мамочка». Григорий давно не жил с родителями. Быть может, приятель стереотипом детского вопроса устанавливал связь с воспоминаниями детских и юношеских лет? Или же имел в виду некий более широкий образ места, в котором оба выросли, но от которого он сумел оторваться, а вот Григорий все еще был частью? Но как же он оторвался, если ничуть не изменился, все так же, с южным акцентом распевал слова, реготал, неторопливо вальяжно двигался, употреблял те же словечки? Было бы интересно над этим подумать, но сейчас Григорий никак не хотел думать, он только видел маленький Димин рот в улыбке, его живот, колышущийся эпицентром, гоняющий волны «гы-гы-гы» напрямую к горлу и превративший тело в инструмент ржанья, и, поддавшись магии действия, опустил чемодан, сползая по стене в расслабляющем припадке смеха.

— Ну, как, завтра же начнешь бегать по концертам и музеям, ты ведь у нас высокой культуры личность, — многозначительно произнес Дима, когда смех ослаб, и этого оказалось достаточно, чтобы снова повергнуть двух взрослых людей в безмолвные смеховые корчи. Вот что было замечательно: Дима как бы не допускал ни на секунду мысль о том, что в здравом уме уважающий себя индивидуум действительно может заниматься подобными глупостями! Впрочем, ведь это всегда так между ними случалось: стоило встретиться, и уже достаточно было намека, жеста, и оба, столь непохожих казалось бы человека, заражались друг от друга слабоумием хихиканья — и либо раздражали, либо изумляли присутствующих.

— А жене своей что рассказывал? Как заморочил голову, что отпустила тебя?

И опять же, с женой: Григорий ужасно легко мог бы возмутиться, прикрыться тогой снобизма, вспыхнуть презрением на упрощенное пародирование тонких сложностей отношений с женой, вспомнить, как они оба играли в благородство, он — отказываясь уезжать один, она — уговаривая, упрашивая (а коль скоро играли, значит, и были хоть в какой-то степени благородны), да, да, мог бы вознегодовать, но вместо того только захлебнулся, затрясся, махнул рукой в упоении, мол, молоток, заделал меня, то есть, да, обвел я жену вокруг пальца. Прелесть заключалась в том, что оба приятеля участвовали в некоем спектакле, соревнуясь в умении говорить не то, что ты стал бы говорить всерьез, но то, что подходило по ритму и стилю, то бишь, что помогало поддержать ритм конвульсивного хохота.

— А твоя жена, как? Не имеет нахальства менять расписание приездов с дачи?

— А мне что? Ее дело!

— Главное, не находить чужие клипсы под своей кроватью...

— По вторникам и четвергам я честно убираю квартиру, неужели она ждет от меня большего?..

Нет, но конечно, в этой игре их роли разнились, то есть задавал тон Дима: Григорий признавал, насколько его приятель больше принадлежит атмосфере гротескного и низкого осмения вещей, насколько естественней себя в ней чувствует.

— Ну, а как записная книжка с адресами девочек? Не уменьшилась в объеме?

— Почему же... А ты, может быть, скажешь, что не запасся на сегодняшний вечер посещением какого-нибудь подпольного художника? Просто не узнаю тебя! Что ж, в таком случае мы сварганим вечерок!

Тут Дима угостил приятеля настоенным на лимонных корках разведенным спиртом.

— Ну как, котик, нравится лабораторный коньчик?

— Употребленный на промывку трупиков?

— Боже упаси, что ты. Гы, гы, кто же тратит подобные вещи так глупо и впустую?

— Обворовываешь советскую власть по-прежнему?

И бульканье смехом переметнулось в область политики.

— Нет, ты скажи, когда все это кончится, ведь ты там со всякими интеллектуалами общашься? — говорил Дима, округляя брови.

— Что именно? — переспрашивал, тая в тихом восторге, Григорий.

— Ну, бардак этот, — говорил Дима и неторопливо перечислял, загибая пальцы. — Уже ни один человек в здравом уме не верит в солнце коммунизма, так? И все норовят уворовать свой кусочек, так? И никто не желает работать, так? Так на чем же это все держится?

Нет, но разве это не было замечательно? То есть, точно так же, как с концертами и выставками, Григо-

рий был уверен, что Дима сейчас тоже почти серьезен, и вот эта гротескность его еврейского рационализма приходила в столкновение с иррациональностью жизни, да еще жизни в России, да еще жизни в советской России и... и что же? И при всем том они, то есть Дима и Россия, прекрасно сходились, уживались каким-то образом, то есть не Григорий, а Дима обитал в Москве, пил водку с начальством, знал миллион девочек, а среди них, кстати, ни одной еврейки! Ну да, Дима всегда заявлял, что его не тянет к еврейкам, и разве Григорий не завидовал ему втайне, то есть не в буквальном смысле, а тому, что под этим крылось...

— Ну что ж, дорогой, начнем по порядку? — сказал Дима, вытягивая пухлую записную книжку.

— Давай, давай, — заявил Григорий. Вот как, значит, начиналась его очередная встреча с Москвой. Хотя он ничего такого сознательно не замышлял, но почему постарался остановиться у Димы? Но, чёрт дери, вот этот лысый хер, совершеннейшее воплощение по сути дела примитивного эроса, не был ли выбран судьбой, чтобы на этот раз открыть заветную калитку в град сей, и Григорий не протестовал, не пытался улизнуть к иным (испытанным) входам, охраняемым, скажем, Сублимацией, Духовностью, Искусством, нет, нет, что-то удерживало его здесь...

Дима принял названивать, однако дело на удивление не налаживалось: один адресат объявлялся большим, другой — уехал в Сочи, третий — назначил на этот вечер свидание, четвертый пытался отказомвести с Димой какие-то счеты, пятый — еще что-то.

— А у меня тоже телефончик есть, — сказал вдруг Григорий на удивление самому себе.

— Стервец, чего ж молчишь. Давай, и ты звони.

— Да, наверное, не выйдет номер... То есть, девочка не слишком... То есть, фигура хорошая... то есть, я ее на пляже у нас подцепил...

— Вот это то, что нужно!

Листая записную книжку, Григорий ощущал некоторую тревогу. Слова «подцепил», «телефончик» вовсе не подходили для описания знакомства с Лидой. Мускулистые бронзовые ребята и фигуристые девушки (среди них Лида) играли в волейбол, жарило солнце, а он лежал в тени под скалой и созерцал, — как он всегда чувствовал себя на пляже и боялся обгореть, и знал, что не умеет играть в волейбол и не слишком получал удовольствие от плаванья, но что-то тянуло сюда, к атмосфере ленивой праздности, бездумной выставочности тел и удивительной при этом их способности обособиться (как будто только здесь осуществлялась истина «все мы под солнцем ходим», то бишь, все мы общаемся друг с другом не тесно — рефлекторно, но с отвлеченной беззаботностью и прохладцей и через солнце), и вот это-то и составляло для Григория главную привлекательность, поскольку он никогда не умел чувствовать себя ни бездумно, ни обособленно, мелкий огонь сомнений, который пожирал его изнутри, уничтожал всякую надежду на какие бы то ни было цельность, физическое благообразие, гармоничность. Да, да, и там-то на пляже он познакомился с Лидой (присоединившись играть в «дурачки») и, когда запинаясь, сказал, что вскоре собирается в Москву, то стал вдруг канючить, что мало кого знает в Москве (то есть, по-своему был прав, потому что из таких, как Лида и бронзовые мальчики, никого не знал в Москве), и Лида дала ему свой телефон, но почему: из душевной ли доброты или действительно оценивая его как потенциального кавалера?

Он набрал номер. На расстоянии Лидин московский распев звучал особенно четко, реальность вторглась на место предполагаемости. После двух-трех незначащих фраз Григорий сумел промямлить, что хорошо бы встретиться сегодня, на что Лида после короткой фразы согласилась. Деловитость ее тона несколько уязвила и встревожила Григория. По сути дела, он

не был готов на практике к быстрой обыденности схождения, которую единственно признавал Дима, и, может быть, не верил в ее существование так же, как Дима не верил во всякие сложности и тонкости. Поэтому он испугался, не желая оказаться на стороне наивности и неопытности.

— Слушай, а что ж ты о подруге не спросил? — заявил Дима, когда он повесил трубку.

— Ой, нет, знаешь... к слову как-то не пришлось...

— Мне она не к слову, а к другому месту нужна, гы, гы, гы, — затряс животом Дима. — Ну, ладно, ты тащи ее сюда, скажи никого дома нет, я лягу в столовой и закрою дверь.

— Мг, — сказал Григорий.

Они договорились встретиться у газетного киоска у остановки «Парк культуры». Стемнело, и Григорий боялся, что не узнает Лиду. Почти так и случилось, то есть он почти прошел мимо нее, хотя в последний момент узнал-таки.

— Привет, — сказал он.

Лицо Лиды было формально-серьезно и потому казалось распухшим, особенно нос (который и так не блистал строгостью формы). Она протянула руку лопаточкой, и Григорий невольно вспомнил, как много лет назад пытался соблазнить соседскую домработницу. По-видимому, ему полагалось столь же серьезно пожать руку товарищеским пожатием, но он не смог заставить себя это сделать. Он взял Лидину руку с таким видом, будто не зная, что с ней делать, эдакая преувеличенно-шутливая галантность. Теперь, он подумал, между ними возникает напряжение поединка, в котором ему отведена роль шутника, разбивающего иронией серьезность ситуации, отстаивать которую (серьезность) возьмет на себя Лида.

— Так что предпримем? — спросил он. Нет, нет, вот так сразу предложить поехать к Диме он ни за что не мог: Лидина чопорность окончательно выбила его из колеи, и он не мог понять, показуха ли это или действительно скромность. Он оглянулся. С той стороны Москва-реки виднелся огнями парк: аллеи, запруженные парочками, мороженое в вафельных стаканчиках, аттракционы и, как венец, уединенная скамейка? Бrr.

. — Поедем в центр, там сообразим, а?

Лида не ответила, молча кивнула и пошла вслед за Григорием, непонятно, хотя или нехотя. Действительно собирались в парк, что ли? В метро он пытался наладить разговор, но без особенного успеха. От неловкости он держался снобистски в квадрате, нелепо хихикал, отпуская шуточки по адресу пассажиров: «Нет, но погляди, за-абавный экземплярчик!», на что Лида, пожав плечами, сухо недоумевала: «Не понимаю, что смешного, человек, как человек, не хуже других». Поэтому, когда вышли у «Охотного ряда», не мог найти ничего, кроме:

— Что ж, попробуем в какой-нибудь ресторан? В «Москву» или «Националь», а не то поднимемся выше, в «Арагви»?

Это было крайне вынужденно и нежелательно. Во-первых, в кармане у него слишком не густо, а во-вторых, если уж идти в ресторан, то не с Лидой.

Тут его удивила Лидина реакция. Так же, как у «Парка культуры», она молча кивнула, пошла вслед, но ни намека на оживление: неужели шла против воли? Зачем тогда огород городить? (Он был уязвлен, неужели ей каждый вечер проводить в «Москве»?) Потому, когда оказалось, что ни в один ресторан попасть невозможно, он почти обрадовался, хотя не преминул словесно выразить раздражение, мол, не могут людям создать мало-мальски человеческие условия, чтобы не бегали по улицам как собаки с высунутыми языками.

— Что? — внезапно переспросил он.

— Говорю, нечего на зеркало пенять, коли рожа крива, — сказала Лиза, как бы констатируя факт. — И раньше можно было догадаться, что никуда не попасть: суббота как-никак.

Вот тебе на!.. Григорий испытал острую неловкость. Внезапно ему открылось, почему она не проявляла энтузиазма: должно быть, с самого начала полагала, что морочит ей голову, и не желала дурочкой выглядеть. Вот оно как просто все объясняется. Но, между тем, что же делать теперь, коль скоро поставлена точка над «и» и он уличен во лжи? Ничего не остается, как расстаться, не правда ли? (По сути дела ему было неловко взглянуть ей в лицо, и вовсе не потому, что действительно чувствовал себя обманщиком, а именно потому, что Лиза так бесцеремонно объявила вслух свое о нем мнение.)

Но через секунду все опять изменилось. Оказывается, Лиза ничуть не думала расставаться. Напротив, высказав предполагаемую правду-матку в глаза, она помягчела, сама завела о чем-то разговор, даже взяла Григория под руку.

— В ресторан лучше компанией ходить, — утешила она его. Может быть, утвердив на своем, показав, что тоже не лыком шита, нашла таким образом путь к душевному сближению? Как бы то ни было, Григорий в свою очередь ощущал уверенность для следующего маневра и, остановившись, произнес, как только пришло в голову:

— Слушай, а если купим того-сего и поедем домой, то есть, к приятелю, у которого остановился?

Они как раз проходили мимо Елисеевского, и, чтобы не дать времени возразить, он подхватил Лизу под локоть, стал прятываться сквозь толпу к входу. И уже потом, когда были внутри магазина, он понял, что опасаться возражения нечего — иначе бы не шла, — тогда отпустил Лизу, взглянув на нее, и опять не-

приятно поразился опухлой серьезности ее лица: ни дать, ни взять обдумала и приняла предложение к бракосочетанию, право. Не то что бы он был против серьезности вообще, но в данной ситуации это было безвкусно и непонятно, выбивало Григория из колеи, и он все время думал, как бы Дима на его месте поступил? Вероятно, вообще не стал бы обращать внимание на психологические детали? Или — вот вопрос — Лида была бы с ним иной? Ну да, если так, то не значит ли, что с самого начала он действовал неправильно?

— Ладно, — сказал он, — что покупать будем? Ветчины возьмем, сыра? Ты какой сыр любишь?

— Я не голодна, покупай, что хочешь для себя.

— При чем тут не голодна? Ну ладно, стань в эту очередь, а я пойду в кассу. Против апельсинов хоть не возражаешь?

— Против апельсинов — нет, — медленно, не то неохотно, не то взвешивая каждое слово: соответствует ли оно правде, сказала Лида. Григорий подметил ее напряженный взгляд, устремленный на груду оранжевых плодов. Очень ей хотелось апельсинов? Или же она смущалась и, как часто бывает в таких случаях, не могла оторвать взгляд именно от того предмета, который послужил предметом смущения?

— Пить что будем? — спросил Григорий.

— Я не пью, — коротко сообщила Лида, но Григорий опять, как с едой, не поверил буквальности ее слов. Ага, раз она не выразила определенного желания, то можно было прекрасно обойтись разведенным спиртом, которого у Димы было в избытке.

Они вышли из магазина, сели на площади Маяковского в метро. Григорий мимоходом заметил освещенный подъезд у зала Чайковского, афиши концертов, но все это было не для него. Он был поглощен нелегкой задачей, как завязать разговор со своей спутницей, и, право, задача оказывалась не из легких. Лида

по-прежнему выглядела хмуро-напряженной, от мгновения проявленной задушевности не осталось ни следа. Весьма возможно, она держалась так как бы в признание значительности шага, который делает, но весьма возможно также, что заранее принимала позу недоступности («Что-о-о? Я ни о чем таком не предполагала, что ты обо мне так думаешь!»). Григорий стал расспрашивать о том, как ей понравился его город, и выяснил, что имеет дело со строгим судьей. «Надо сказать, ваш авторитет раздут, все говорят: город Н., город Н., а я не нашла ничего особенного. Можно сказать, далеко вам до Сочей». Григорий, желая попасть в тон, пытался с такой же серьезностью защищать честь мундира, хотя знал, что далеко не уйдет. Так и получилось, в какой-то момент он неосторожно сыронизировал вместе с Лидой над чем-то, за что просто обязан был костьми лечь! И тогда она метнула косой подозрительный взгляд и вовсе замолчала, ограничиваясь остаток пути враждебно-насмешливыми репликами: «Знаем мы вас!»... «Уж лучше помолчали бы, смешно слушать»... и так далее в таком роде.

Но, чёрт побери, каково вести на полном серьезе длительную беседу о постановке культмассовой работы в домах отдыха!

Он еще попытался наладить разговор, но в конце тоже замолчал, покорившись усталости. Впервые за весь вечер он посмотрел на Лиду с холодным недоумением и спросил себя, к чему вся эта пытка? Зачем слалась ему эта девушка? Он, кажется, собирался провести эксперимент, погрузившись в ванну чувств через сведение отношений на уровень эроса (ах, Димин, вещающий бульканьем трясущегося живота смех, ах, этот прельстительный символ сферы, которой Григорию, видимо, так и не достичь), а вместо того он был напряжен, как никогда, до звона в ушах, был иссущен стратегией и тактикой поединка и уже ни на волосок не находил в себе желания Лидиного тела. Вот цена,

которую он платит — а за что? С другой стороны, а что удерживает Лиду рядом с Григорием, почему она проходит пытку неестественностью и напряженностью?

Тут случилось маленькое происшествие. Поезд, набирая скорость после очередной остановки, дернулся сильней, чем обычно. Лида качнулась на высоких каблуках, и Григорий схватил ее за руку повыше локтя. Внезапно ее тело прильнуло к нему и так оставалось несколько секунд, хотя ход поезда давно уже выпрямился. И в это же время Лида произносила фразу типа «Знаем мы вас», ничуть не запнувшись. Что за вульгарность! Григорию показалось, что Лида своим движением передоверила языку тела то, что не умела или не желала выразить словами. Тело как будто выражало идею близости и беззащитности, слова ощетинивались формальной воинственностью. Был ли здесь вызов Григорию, маневр, основанный на том, что язык слов был его главным оружием, его сферой самовыражения? Хотела ли Лида перевести диалог на рельсы своего языка? Но Григорий представил с детальной отчетливостью, что если так и если она победит, то и в постели сохранит такую же враждебно-укоряющую мину, мол, можешь воспользоваться тем, что досюда, а прическу не растрепи, то бишь, души не коснись. Он не мог допустить подобной грубой двойственности отношений, нет, ни за что!

— Погоди, ведь наша остановка! — спохватился он.

— Ну и человек! Даже остановку свою не знаешь!

— Так ведь только приехал, не каждый день же...
Ведь не моя остановка!

Они подходили к Диминому дому. Что-то такое трепался Григорий о приятеле, которого знает с детства, и жена которого в Клину, а сам он, может быть, не придет ночевать, ну да, нужно было заполнить вре-

мя, и одновременно нужно было еще и еще раз попытаться понять, чего же от Лиды ожидать, и одновременно нужно было заначить разговор на скользкие темы, поближе к тому самому, да, да, и опять же со смешком.

— Не понимаю. Если не любят, то зачем же живут, — вдруг сухо сказала Лида.

— Это какая любовь, из Райкина, что туда — о дружбе, обратно — о любви? — заторопился, заприщуривался Григорий, но на холостом ходу, на технике, в основном. Внутри же себя он завопил негодующе: «Да что она прикидывается? Не чувствует несообразности и неуместности того, что говорит? Идет с первого же вечера в пустую квартиру к мужику и держит себя, как секретарь комсомольской организации?» Он от того был так взъярен и растерян, что почти верил Лиде, то есть видел естественность для нее в двусмысленности оставаться целостной, и его странно влекло это качество в ней, несмотря что спервоначалу отталкивало. С другой стороны, сам он не умел овладеть такой раздвоенностью и беспомощно чувствовал, как съезжает на моральную позицию, нравственную, еще какую, вот, вот, соскальзывает в привычную интеллигентскую систему координат, какого чёрта, ну да, пусть и привычную, но истоптанную, как старые домашние туфли, — да ведь это полное поражение!

Они вошли в темную квартиру. Григорий зажег свет, ввел Лиду на кухню, стал раскладывать покупки. Он было собирался попросить ее помочь, чтобы хоть косвенно вовлечь в совместность действий, но она определила, зашла за стол, села в дальний угол у стены. Наступал последний акт тягучего фарса, и Григорию необходимо было приложить последнее усилие. Он предложил выпить, но Лида отказалась, и он понял, что настаивать глупо. Теперь ему не оставалось ничего, кроме как говорить. То есть теперь она не оставила ни одной возможности, кроме как говорить. (Хотя

он имел еще возможность решить дело прямой грубой атакой и даже позволил себе уязвляться мыслью, дескать, не того ли Лида ждет, но все равно знал, что вытеснен на те же позиции, которые занимал до встречи с Лидой, и что она каким-то образом знает это и приемлет и, значит, не ждет от него прямой атаки, а чего-то другого.)

Ну что ж, говорить, так говорить, раз ты, девочка, сама этого хочешь, сама напрашиваясь, мне ж только лучше, — и он стал говорить — о чем же? Да конечно о самом себе, о чем еще. Коль скоро он был вытеснен в сферу слов, он мог стать самим собой, только с одной оговоркой. Столь далекий собеседник в столь интимной обстановке ему еще никогда не попадался, и потому тут требовалась особая концентрация, утонченность артистизма. Вот почему Григорий ощущал себя — и это принесло своеобразную свободу — словно на подмостках некой сцены, освещенной со всех сторон ослепительно ярким светом театральных прожекторов. Временами он мысленно прикладывал палец к губам, оборачиваясь к невидимому в черном провале залу, улыбался, приглашая участвовать в действии зрителей, верней, частично переходил на их сторону, созерцая ситуацию со стороны. Временами наоборот вдруг оставался наедине с Лидой, всерьез, абсолютно всерьез, как будто нет никаких зрителей, — но и это была игра. Он прислушивался, не последует ли из зала реплика или невольное толкование последней его фразы, и сам предвосхищал это толкование. В сущности, он произносил монолог, и голос его звучал то насмешливо, то недоумевающе, то растерянно. То, что он говорил, не было неправдой, но временами, когда он прикасался к своим словам, как трогают пальцем затекшую ногу, он почти с недоумением и явственно ощущал — вроде моя нога и не моя. Он рассказывал свою жизнь, небрежно делился впечатлениями о новом фильме, вдруг застывал с мыслью

на кончике языка... и формулировал мысль так, как будто сидит со своими друзьями... вот в этом-то и была главная игра, чтобы выглядеть как можно убедительнее самим собой. О, теперь он получал утонченное наслаждение от своей игры, чёрт побери, ты пожелала сразиться со мной на моей территории? ха, ха, тут-то мы тебя заделаем, будь ты хоть какая расхитрая, и Григорий изгалялся в самоуничожении, запинаясь, бормотал что-то о сложных отношениях с женой, делал вид, будто достоинство не позволяет все раскрывать вот так сразу и вообще, мол, он не понимает, почему вот так сразу в первый вечер откровенен с ней, что бы это было, а? — а между тем четко следил за ее реакцией. Конечно же, он прекрасно знал, в чем состоит подтекст его речей: в том, чтобы мимоходом дать ей почувствовать, как, несмотря ни на что, да, да, вот именно, не только несмотря ни на что, но именно потому что он изгаляется — откровенничает и так искренне раскрывает темные секреты жизни, — этические критерии мира, в котором он обитает, несравненно выше критериев Лидиного мира, где о подобном и неслыхано. Она ведь хотела чего-то такого от него, с самого начала, не правда ли? Она сразу усекла в нем что-то такое, от чего он сам желал избавиться, и присосалась, как вампир, к этой части его, иначе чего бы держаться так сурьезно — не помнил он, что ли, как она хихикала с жеребцами на пляже? Лучше бы присосалась — и не фигулярно — к определенной части его тела, но, похоже, ей нужно было, чтобы Григорий оросил ее иным семенем. Ладно, моя милая, ты получишь свою порцию, но по крайней мере должна будешь заплатить цену... И он продолжал говорить и видел уже результаты, да, да, глядите, уже ее лицо потеряло опухлую враждебность, уже она прислушивается к Григорьевой травле и принимает в ней участие (на его стороне!), сначала морща лоб, поджимая губы, покачивая головой (мол, ай, ай,

ай), а затем и словесно — вставляя то там, то здесь сочувенную реплику. Ха, ха, вот уж чего ему не хватало — ее сочувственных реплик: какая карикатура. Но он был готов перетерпеть и это, только добиться бы своего. (Интересно, Дима спит или притворяется? Спит, как бы не так! Затаился, гад, в своей комнате, подслушивает, и, значит, у Григория действительно есть зритель, то бишь слушатель, что ж, тут еще один повод для доведения дела до конца.)

Что ж, он довел дело до конца (хотя, в известной степени, можно сказать, они повели дело до конца совместно, то есть можно сказать, что и Лида со своей стороны довела дело до конца). Прах ее возьми, но ведь теперь все должно было происходить как бы в порыве страсти, по наитию (согласно взятой роли, равно как и согласно навязанной роли), и тут подстегали опасности чисто технологического порядка — последняя стадия поединка. Одно фальшивое движение и — гляди, Григорий. Может быть, он преувеличивал, конечно, хотя с другой стороны, что происходит в жизни не преувеличено после всего? Как бы то ни было, он очень старался доказать себя с самой лучшей стороны, воображая, будто она ставит последние маленькие испытания сознательно. Вот, например, возник неловкий момент, когда Лида, присев на край постели, стала раздеваться. Он заранее предвосхищал этот момент с беспокойством, поскольку не мог же он быть в двух местах одновременно: обнимая, подталкивать к дивану и сдергивать с дивана покрывало? Но, как только он оставил Лиду одну, она повела себя возмутительно буднично, скинула туфли, сняла платье, аккуратно стала развешивать на спинке стула. Он не мог допустить этого, выхватил платье, бросил на пол, ловкий жулик, как будто не мог сдержать пыл желания. Лида выпрямилась в секундном гневе (платье-то на чьи нелегко доставшиеся деньги куплено? какое право он имеет швыряться ее вещами?), но тут же

сникла, как бы устыдившись собственной материалистичности. Вот как он победил ее: как пришелец из того самого иного мира тонкой духовности и высокой нравственности, который прельщал ее, то бишь, ха, ха, ха, пришельцем из которого она хотела быть побеждена.

* * *

Об этом он как раз думал, проснувшись как-то ранним утром. Только начало светать, уличный фонарь еще отбрасывал на окно неровно дрожащую сеть теней от ветвей дерева, Григорий лежал на спине, натянув простыню и ощущая рядом Лидино тело. Ха, ха, ха, ну и ловко дело обернулось: он полагал с самого начала залезть в чужую шкуру, чтобы испытать чужие чувства и произвести чужое впечатление, а его заставили изображать самого себя в собственной шкуре. Однако каждый из них что-то получил от противоположной стороны и, может быть, даже то, чего хотел в конце концов? То есть, смотрите, как Лида загнала его в угол и взвалила ответственность борьбы, хотя он был не против, ладно, в конце концов, может быть, в этом и заключалось его мужское дело, миссия мужского начала, но в свою очередь женская миссия состояла в том, чтобы дать прикоснуться к себе, своей земной достоверности, и — дала, дала. То есть Григорий взял, взял. То есть в том-то и штука была, что он теперь понимал, в чем тайна ее привлекательности (в противном случае выглядела заурядной фабричной девчонкой): в ней воплотилась достоверность — нашел-таки слово! — природности, по которой он так тосковал, за которой неутомимо охотился, и все в женщинах искал, да, да, женщинам отдавал пальму первенства. Ни капли кокетства, но при этом мягкость покорной страсти — разве тягаться тут мужчине?

Ровность духа и прохлада тела, точность движений и свой теплый запах волос. Вот это были качества, достоверность которых сквозила в Лиде, но чьи это были качества изначально? — и Григорий томился по ним, чувствуя недостаток в себе и своей жизни — и как в полусне различал образы детства, широту покойного пространства вокруг, где это было, где случилось? а-а-а, еще там, на Урале он заболел проклятой любовью к России как синониму женского, и с тех пор все стремился к ней издалека, протягивал руки, но знал, что на этом жесте, на этом стремлении (то есть движении) должно остановиться, поскольку не выйдет слюбиться-слиться, хотя погодите, кто сказал? То есть, почему не начать еще раз сначала, кто сказал, что ничего не выйдет, если попытаться еще раз? Вот только для начала измениться самому, чтобы верно начать, попасть в ногу (лукавая боковая мысль: постреволюционный еврейский интеллигент повторяет дворянский сюжет оправдания, и ради того, чтобы слюбиться-слиться с ней, готов пить водку с ее братом капитаном КГБ), но да, да, вот еще для чего следует притвориться, сыграть, надеть маску: чтобы исчезнуть, уверить ее, что тебя здесь нет (неутомимая погоня моралиста за объективной истиной): ну-ка сквозь щелку, какова она сама по себе, действительно ли та же, какой ты представляешь ее? Не жульничает ли, не притворяется ли в свою очередь только когда с тобой? Именно, именно здесь и кроется проблема, вот Григорий глядит на Лиду, когда она, аккуратно причесанная, в отутюженной белой поплиновой кофточке склонилась над торшером, пришивает пуговицу к его пиджаку, ее лицо мило нахмурено, сосредоточено, слышите? мило нахмурено — сосредоточено! — какая опасность довериться чувству, потому что разве такая она была на пляже, когда кричала громко: «пас!», шмякала фамильярно ладонью жеребцов по спине, заливалась-ржалась с ними? И опять

же с Димой (да, да, Григорий нашел-таки болезненный пункт в настоящем, не только в прошлом) как она держит себя? Вот пьют чай на кухне, растворяется дверь, Дима пришел с работы и сразу, тряся животом, к Лиде: «О, кого я вижу!», — а она не изменяется ли тут же, не ухмыляется ему навстречу, вплетаясь без труда в атмосферу сальных намеков и сального хихиканья, хотя следует признаться Григорию, что не так уж включается, хихикают в основном он и Дима (Дима, как всегда, естественно, но Григорий теперь вынужденно и насильно — плати, плати цену), но не улыбается ли Диме и держится естественно, и разве этого одного мало?

Однако же (напряженно думает Григорий, стараясь не упустить нить рассуждения), однако же природа не может играть саму себя, как я вот себя играю, иначе она не будет природой, то есть чего мне бояться Лидиной неискренности? То есть то, чего я боюсь, это неумения разгадать ее, и теперь, если бы я решился остаться с ней жить, то должен был бы непрерывно сомневаться, пугаться, анализировать, что придало бы определенную остроту, конечно, нашим отношениям, хотя, разумеется, я знаю, что не останусь с ней жить. Невозможно непрерывно существовать под страхом, что ты только все видишь во сне, и каждый момент ждать отрезвляющего пробуждения в знаменитом толстовском «уйди, постылый!», то есть это ерунда, может быть, и пройдет со временем, но что действительно останется, это напряжение поединка между нами по той простой причине, что мы слишком разны. Разумеется, это в конечном счете моя миссия — уйти — точно так же, как ее миссия попытаться заставить меня остаться, поскольку это я не должен допустить ее сказать «уйди, постылый!», то есть позволить ей разочароваться. И не во мне, не во мне, но в самой сути того, что она ищет через меня. Ладно, я уйду, исчезну, чтобы, перегруппировав силы, появиться

снова, и тогда, может быть, она не узнает меня, и я смогу проникнуть в ее суть, хоть ведь тогда мне это совсем не нужно будет? То есть, если бы мне стать тем самым мужчиной, с которым можно в парк пойти, то не переведется ли наш поединок в другую плоскость и не начну ли я ревновать ее к субъекту, с которым она почему-то перестает быть сама собой (по моему новому представлению)? По сути дела, это будет тот же страх отрезвляющего пробуждения, с той разницей, что уже не смогу оперировать на прежнем уровне сознания и просто стану злобно-потерянно терзаться — еще большая мука... нет, нет, такую цену не хочу платить, и потом бегу, конечно же! Бегу, потому что боюсь измениться, вот оно после всего, бегу, потому что знаю, что не смогу пить водку с братом, который хоть и не капитан КГБ, но все равно лейтант-пограничник, и если даже не обязательно пить с ним, то смогу ли всласть понести при случае советскую власть с моей возлюбленной в отвлеченной беседе? Ну да, будут ли у нас отвлеченные беседы, вот в чем корень, а не только пресловутый сердечный разговор из той банальной эстрадной песенки, которую моя возлюбленная, разумеется же, напевает часто, -а-а-, вот я и раздражаюсь, мне хочется, чтобы она напевала песенки Моцарта или хотя бы Шуберта? С другой стороны, я несправедлив, и не под «Серенаду» ли Шуберта, тихо звучащую по точке, мы однажды распались из одного тела на два и тихо лежали, и тут я увидел слезу, начинающую путь из уголка ее глаза, и спросил испуганно, почему она плачет, и получил точный в одном слове ответ, но настолько не пожелал отдаваться на веру этому слову, что и сейчас не произношу его, и не потому только, что остерегаюсь впасть в сентимент, но еще и потому, что вправду смертельно боюсь измениться, потерять способность сомневаться, превратиться в того самого, кто только и способен на сердечный разговор, и кому имя

с моей точки зрения (пока я это все еще я): полуудиотик. Вот оно, следовательно, как обстоит дело, и, моя дорогая, если мне суждено превратиться в полуудиотика, то знай: предпочту уползти в свою нору, вернуться в тесную каморку кровных связей, где ждут меня, тоскливо сморщившись и вытянув руки. Они скоро узнают то, что я знаю — что попался на крючок некей ве, а что, не проститутка ли ты после всего? Ну, прости, прости, я знаю, что несу бред, но нужно от тебя избавиться, а кроме того, может, и не такой уж это бред, потому что и я не могу смириться с тем, что тебе, по моему тайному убеждению, ничего не стоит отдаваться мужчине (что, не прав? прав, прав!) и не по чрезмерной страстности или легкомыслию, а именно, что как будто это ничего не значит для тебя, вот проклятье, ты как будто начинаешь с того, чем, по моему представлению, нужно закончить! И в этом-то тайна влечения к тебе, как к открывающейся вдруг новой бесконечности в жизни, необозримому новому пространству, но стоит углубиться в это пространство, как найду себя изменившимся, и тут-то мне конец, тут ты забудешь меня, равнодушно отвернешься, оставишь на последнюю милость поземке-пурге, что заметет снегом, убаюкает стынью, знаю, знаю, то есть боюсь, боюсь, то есть (то есть потому) ухожу, ухожу.

Но я вернусь. Жди меня, и я вернусь. Мы еще вернемся. Ха, ха, юмор, отстраненный розыгрыш — что еще может так облегчить и дать возможность легко вскочить, распрямиться, натянуть одежду, осмотреть себя в зеркале, открыть парадную дверь, сбежать по лестнице, касаясь иногда рукой перил, толкнуть входную дверь и очутиться на улице, и вот ты один, опять свободен и волен начать все сначала...

СТИХОТВОРЕНИЯ

* *

Разбудил меня грохот на крыше:
лист железа от ветра гремел.
Между шкафом и полками, в нише,
ужас прятался, белый, как мел.

Будто кто-то родной помирает
в темной комнате рядом с тобой.
Будто хрупкую жизнь попирает
великан многотонной стопой.

И мерещилось мне, что планета —
мертвый мир, позабытый людьми,
что не будет теперь ни рассвета,
ни зеленой листвы, ни любви.

Что сомкнуть пересохшие очи
мне не даст ни сегодня, ни впредь
металлический грохот средь ночи,
равномерный и твердый, как смерть.

* *

Фигурка вдалеке,
шагающая шатко:
лицо в воротнике,
надвинутая шапка.

И в восемнадцать лет,
и в двадцать восемь шел ты,
шел на зеленый свет,
на красный и на желтый...

Я каблуки собью,
подошвы доканаю —
я молодость свою
по кругу догоняю.

И замечаю вдруг,
к большой своей досаде,
что обогнал на круг
и — оказался сзади.

Деревья-города,
растущие веками!
Тут и мои года
намотаны витками.

Шагать мне без конца
по замкнутой орбите
Садового кольца —
и никуда не выйти...

ФИЛАРМОНИЯ

Одинокие женщины ходят в концерты,
как в соборы ходили — молиться.
Эти белые лица в партере — как в церкви,
как в минуту любви — обнаженные лица.

И еще туда ходят рыцари долга,
в гардеробе снимают доспехи,

и ничтожными кажутся ненадолго
деловые, дневные успехи.

Среди буйных голов, на ладони упавших,
среди душ, превратившихся в уши,
узнаю Прометеев, от службы уставших,
и Джульетт, обращенных в старушек.

Это музыка — опытный реставратор —
прожитое снимает пластами,
открывает героев, какими когда-то
стать могли и какими не стали.

Здесь не надо затверженного мажора,
здесь — высокой трагедии мера.
Поддержите, крылатые дирижеры,
этую взлетную тягу партера!

АЛЕН РЕНЕ

Кого мы ждем всю жизнь? Кого мы ждем
в безмолвном прошлом, под косым дождем?
Из стен родных бежим куда-нибудь,
из стран родных — припасть, упасть на грудь!

Туристские ночные города
влекут на дно, как в омыты вода.
В их свете предстают перед людьми
великие возможности любви.

Обуглены мы будем, сожжены
в чужих отелях, в призрачных ночах,
в объятьях суженой, а не жены,
коротким замыканьем на плечах.

И встанет заштрихованный дождем,
пронзительный, беззвучный пейзаж...
Мы, словно катастрофы, счастья ждем,
дневной покой оберегаем наш.

Бог атомный, спаси живущих врозвь,
всю жизнь свою придумавших не так,
детей Земли, летящей между звезд,
а вовсе не стоящей на китах!

ДРУГУ

1.

Мы обменялись городами
где мы любили, голодали,
нуждались в жизненных благáх,
где атмосфераю дышали,
единственной на этом шаре,
где мы витали в облаках.

Хватай такси в отчизне новой,
влезай в расшатанный трамвай,
на гáревом кольце Садовой
вспоминания вдыхай.

И я дарёными глазами
взгляну на город неродной,
На Невском подавлюсь слезами
при виде женщины одной.

Скачите, бронзовые кони,
в безостановочной погоне
за горьким птичьим молоком!
Ступив на дальний берег Леты,

возьмем обратные билеты
и — разминемся в Бологом.

2.

Все уже круг моих знакомых —
все шире горизонта круг.
И старый друг дороже новых,
дороже многих, а не двух.

Он, старый, не считет за позу,
не назовет моей виной
печальную метаморфозу,
происходящую со мной.

А назовет моей бедою,
когда в пиковый час в метро
жизнь, бывшая живой водою,
вдруг усмехается мертвое.

Мой взгляд рентгеном проникает
весь этот скоростной транзит:
в девчонке — женщина мерцает,
старуха — в женщине сквозит.

И нет нужды жевать мочало
от юности до седины.
Не стало времени. Начала
с концами соединены.

И в этом мирозданье новом,
остановившемся вокруг,
не будет переименован
лишь рядом шедший старый друг.

ВОКЗАЛ

Я — вокзал многолюдный. Я понял.
Я понял:
все вопросы на свете решаются просто.
Я просеиваю между бетонных ладоней
человеческих судеб сыпучее просо.

Сотни лиц в постоянном перемещенье
исчезают навеки, едва возникая.
Не ищите уюта жилых помещений
в дымных залах с транзитными сквозняками.

Я — потерянный мальчик, которого диктор
выкликает по радио долго, но тщетно.
Я — небритый пьячуга, взирающий дико
на спешащих людей из-за стойки буфетной.

Я — турист с ярлыками, деляга с портфелем,
неудачник, все чаще глядящий на рельсы...
Я заполнен людьми, я потерян, потерян!
Тянет в разные стороны, в разные рейсы.

Не ищите во мне одного человека,
не ищите порядка в давке и гаме.
Приходите ко мне, если нету ночлега —
забирайтесь на жесткие лавки с ногами!

В ЭЛЕКТРИЧКЕ

Как это может надоесть;
что надо пить, и надо есть,
ложиться спать, вставать с постели,
здоровый дух в здоровом теле
в восьмом часу на службу несть.

Но, слава Богу, есть вагон!
В барьере беге круглых суток
есть неподвижный промежуток,
когда состав берет разгон.

Я — человек. И он. И ты.
Мы — человечество! Не так ли?
Мы заняты в одном спектакле.
Мы только что из темноты.

И в стеклах целых полчаса
сверкают алебастром белым,
подобны надмогильным стелам,
кварталов новых корпуса...

* *

На перекрестке без людей
задолго до утра
уже не страшен мне злодей
с ножом из-за угла.

А страшно мне в твоей толпе,
народ глухонемой.
Китайским кажется тебе
язык российский мой.

А страшно мне, когда страна
своих не узнает:
как бы китайская стена
вокруг меня встает.

Тогда вползает в ребра страх
с арктических морей,

и я седею на глазах
у матери моей.

* * *

Уйти в разряд небритых лиц
от розовых передовиц,
от голубых перворазрядниц.

С утра. В одну из черных пятниц.
Уйти — не оправдать надежд,
и у пивных ларьков, промежд
на пену дующих сограждан,
лет двадцать или двадцать пять
величественно простоять,
неспешно утоляя жажду.

Ведь мы не юноши уже.
Пора подумать о душе —
не все же о насущном хлебе!
Не все же нам считать рубли.
Не лучше ль в небе журавли,
как парусные корабли,
в огромном, ледовитом небе?..

Круг рассказчиков

П р о д о л ж е н и е

Евгений Любин

«АРИФМЕТИКА»

(Советский триптих. Рассказ второй)

Он не то что бы удивился, но показалось ему странным, что после месяца предварительной отсидки в Аяне, так и не дождавшись ни следствия, ни суда, везут его на запад и неизвестно куда. Ссадили его в большом городе, где и не бывал раньше никогда. И стало спокойнее, хотя это слово к Виктору и не шло, так как не тревожило его ничто с того самого дня, как прокурор Рабинов все-таки забрал его. Забрал без особых доказательств, больше в зачет старого, хотя обвинить его было проще простого.

После Аянской сырой, загаженной предварилки — городская двухместная камера показалась нежданной наградой.

Все в этой тюрьме было необычным: и голубой жизнерадостный фасад, и чистота, и вежливость охранников. Не видывал он такого за те десять лет, что мотался по лагерям. Слышал, что времена пошли другие, а такого не представлял. Но проходило все это стороной, вне его, и если задевало, то самым краешком, потому что теперь он стал другим и жил внутри себя. Теперь уже было все равно — знал он это твердо, хотя и не задумывался, чем может кончиться.

В белой стерильной камере настороженно встретил его человек за пятьдесят, но не седой; с волосами светлыми, редкими, зачесанными назад. Под волосами

просвечивала розовая кожа. Весь он крупный, обрюзгший, не то обветренный, не то загорелый, но не загрублый, как Виктор.

Молчали они долго, с неделю, а может больше, Виктор не тяготился этим. Он жил той настоящей своей жизнью, которую задавил в себе на все эти двадцать с лишком лет. Пытался он проследить ее день за днем, но не получалось. Рвались мысли, и выявлялось что-то неожиданное, но вовсе не страшное ему, а даже радостное и сладкое. Помнилось, как тетка увещевала его пойти в полицаи, а он недолго сопротивлялся. Сопротивлялся вовсе не от идеи, что был комсомольцем старательным, а от нежелания своего служить где бы то ни было. Оттого и со своими не ушел, хотя звали его хлопцы, добровольно надевшие красноармейскую форму. Призывать же его не призывали, потому как стукнуло ему седьмого июля едва семнадцать.

На третий день, как немцы пришли, выгнала она его в комендатуру и как телка подгоняла до самой Прохоровской, хотя дальше не пошла — еще с гражданской сильно уважала она немецкий порядок и помнила, как служил при них в Раде старший брат Петр. И то ли прыть Виктора понравилась, то ли прямота в глазах — взяли его сразу в особую команду, где встретил он еще пару знакомых хлопцев. Умел он маленько с ружьишком обращаться — учил по военному делу в школе, — но и к автомату сразу приспособился. Технику всякую он очень уважал, и то, как это автомат без перезарядки очередью целой стреляет, никогда не переставало его удивлять. В тот же день, как выдали ему автомат, разрядил он две обоймы у себя на дровянике, перепугав тетку до обморока.

А через два дня топал он в новенькой форме через весь Подол, толкая впереди старух, да девок, да паянят чернявых. Стрелять их он робел поначалу с непривычки, но к вечеру на сердце выровнялось, больше

рука беспокоила отяжелевшая от стали, обожженная раскаленным стволовом. Правда, приспособился он вскоре держать автомат одной рукой за магазин, уперев приклад в живот.

Вспомнилось и другое — не понимал он, зачем это все делается, и, хоть вопросов не задавал, больно обидно было валить из автомата красивых девок. Не крики детей да стоны стариков тревожили его, а девки. Был Виктор больной до девок. Не то что бы похотлив, а тихий да блеклый вызывал он только их насмешки и прищурясь ждал своего часа. Однако больше всего на свете, даже больше самой смерти боялся он немцев. Верить он в Бога не верил, вернее мало думал о Нем, хотя в углу у них чистом и висели две иконы с лампадками: Богородица с дитем и Спаситель в сиянии. Теперь же поверил он, что боги есть и эти боги — немцы. Незнакомая, такая недоступная ему речь, хоть бился он над языком четыре года; эта уверенность в себе; всеобъемлющая, невысказанная. Безусловная безнаказанность, дозволенность всего; эта решительность и прямолинейность действий — разве могло быть что-то сильнее, выше, могучее этого.

Да, он не понимал — но так надо, так все равно будет.

Больше не было борьбы страха с желанием отыграть свое. Было только болотение и возможность скрыться от него.

И он скрывался, действовал наверняка, по привычке щурился, всматриваясь в них. Поминал Куценку из их отряда, которого нашли к ночи с раненой не сильно девкой, — немцы тут же его пристрелили, и обоих туда же в яму. К яру он ходил больше месяца, пока не огородили его проволокой, а потом забором. Вытаскивал полуживых, выбирал старательно, с разбором, и волочил так метров за сто к логу, в кустарник, где безопасно. Знал, где и как пройти, чтобы не наткнуться на патруль, время выбирал точное: от трех

до пяти утра. За логом, в стоге держал одну недели две — подкармливал. Были только ноги прострелены. Молодая совсем, можно сказать, девчонка. Стала даже очухиваться. Он забеспокоился — вот-вот уйдет, хоть и сомнительно было. К тому времени в яру лагерь начали строить. Вышки по углам росли — не дай Бог, немцы найдут ее. Стрелять не стал — не место — нож воткнул сзади, когда лица не видел, ушел не оглянувшись.

Потом с этим хуже стало, так, от случая к случаю. Больше городские попадались, что без пропусков со свиданий бегали. Да тех-то нет ни одной — это уж наверняка. А вот мальчишка... Мог уйти или нет? И чего он ему дался? Зря тогда еще раз не выстрелил. Паренек карабкался по телам и смотрел, смотрел страшными глазами в него, прямо в него. Нет, в лицо, во взгляд стрелять он так и не научился. Слаб, слаб он в чем-то оставался всегда. Это могут только боги — убивать, глядя в глаза. Немцы могли.

Ну, а если он и выполз? Виктор хмыкнул негромко, прищурился. «Значит, я спас еще одного».

Да, в смерше с ним не церемонились, пожалуй и до суда бы не дошло, но Тимченко спас. Если спросить, почему он дал Тимченко бежать, — не объяснил бы. Наверное потому, что ничем не рисковал. Да и боги его стали менее голосистыми и уверенными в себе. Шел сорок третий год, и к тому времени уж скольких он пострелял. А если по правде, так от лени своей.

Раз за разом перебирал он операции своей команды и считал. Арифметику он любил с детства, особенно первое действие, хотя вся она ему не давалась. Но считать просто так: до ста, до двухсот, до тысячи ему нравилось. Считал он шаги, считал птиц на деревьях, пока те не улетали, считал убитых мух и складывал их в спичечные коробки, считал прохожих, пока не начинала болеть голова... Будто автоматически

подсчитывал он и результаты свои при каждой операции. И сейчас эти цифры всплывали в памяти, но вразнобой, беспорядочно. Складывать же их было тяжелой работой, которая требовала напряжения всех его способностей и сосредоточенности. В уме он считал нешибко, но торопиться было некуда.

Не считая, он мог сложить только Тимченко да еще тех троих, что не застрелил в сарае возле села Запруды. Были они последними из отряда, который уничтожила их команда. Ссыпался он и на них в смерше, но знали бы те, что в автомате у него ни одного патрона — не жить бы ему сейчас. И не он их, а они выпустили его тогда.

Однако отделался он десяткой и сказать, чтобы здорово рад был, — неправда. Вырвался из смерша, вот разве что, а смерть свою он окупил сторицей.

* * *

Через неделю знал, что так же, как и Загорелый, взят он по делу Зондеркоманды 311 «с». Это его нимало не растревожило, скорее влило в правильное русло и как-то оправдало его воспоминания. Он не проявил интереса к своему делу. На допросах молчал и перестал даже кивать головой. От репортеров не таился и вспышки встречал не мигая.. В камере тоже больше молчал, хотя сосед попался неспокойный — особенно после допросов — не остановить. Говорил он крикливо, злобно, и слушать его Виктору было тяжело. Путались мысли, сбивался со счета, с правильного приятного лада. Он не знал их по отдельности, а ко всем сразу ненависти не испытывал и подавно. Хотел сочтать для порядка, может, по привычке старой, но никак не получалось. Прикидывал и так и эдак. Сначала по количеству операций — их закладывал на руке. Помнил, сколько их приходится на каждую опе-

рацию с точностью удивительной, но складывал тяжело. Просчитав десять операций, он сбивался, обнаружив какую-то пропущенную, начинал все сначала.

Вот и сейчас, лежа после допроса на упругой, удобной кровати, о какой мечтал еще в Аяне, отложил он восемьдесят третью сотню и еще сорок три, но сосед перебил его.

«Как взяли-то?» — спросил он. Виктор помедлил, ответил неохотно.

«Геолога по-нечаянности застрелил».

«Тыфу, дурак, — сплюнул Загорелый, — жид хоть?» Виктор не разобрал поначалу:

«А?.. Не знаю, вроде бы нет». Загорелый опять сплюнул и выматюгаясь:

«Чего стрелял-то, притомился с безделья или чего? За войну-то у тебя сколько? — и, не дождавшись ответа, продолжал: — Я их уж после войны и то несколько тысяч закопал. Каждый день — праздник. Не работа — мечта. С Украины, конечно, подался, да все не мог успокоиться. Документы справил отменные, подлинные, Исааком Абрамычем стал, да сдуру по Сибири мотался. Только с 53-го надоумило. Приехал в Ленинград. Вот раздолье. Работяг берут куда хошь, через год уже комнату имел. Сейчас квартира, да жинка, да трое ребят. Есть кого оставить, дело наше продолжить.

С завода, конечно, ушел. Копаю уж с слишком десять лет могилы. Работа прибыльная, «Волгу» имею, дачу в Павловске. А главное, поверишь ли, человеком себя чувствуешь. Дело свое делаю настоящее».

Виктора раздражал его азарт. Свои мысли сбивались, а Абрамыч говорил и говорил, дрожа и загораясь лицом, отчего становился совсем черным, только желтели белки, да ровные крепкие зубы.

— Не додушил я тех. Много еще осталось. Ох, много. Поверишь, до десятка в день зарывал. Но больно плодятся. Ничего, доберутся, доберутся еще до

тех. Есть кому, есть кому, — он затих довольный на момент, но Виктор повернулся уже к стене и в который раз начал свой счет.

Абрамыч был старше Виктора лет на десяток, не больше, но звался по отчеству уже давно. Он никогда не расслаблялся, как Виктор, все годы жил ненавистью и не только не подавлял, а все больше распалял себя. Первое время таился он на людях, мерил, с кем и как говорить, но с годами осторожность прошла, заменил он только иногда слова существенные местоимениями: «тех» или «этих». Сильно выпивши, любил говорить вместо «этих» — начальники, а вместо «тех» — интеллигенция. Любил привязаться к интеллигенту и известить словечками, высказываниями своими, а то и подтычинами до бледного состояния. Побоями на людях он не занимался, потому как четко усвоил, где подпадает под закон. За все годы были у него две-три осечки, когда сильно доставалось ему, но это только подогревало его решимость.

Особенно обидное случилось лет десять назад — был он еще крепким, не располневшим, и связываться с ним редко кто решался. Матерился он, по обыкновению, на перроне, клял и «тех» и «этих». Кредо свое высказал: «Каждый день убить одного еврея». Оглянулся на него старичок плюгавенький, кто сразу и не поймешь, но поморщился так брезгливо.

Взялся он за интеллигентного старичка сразу и даже с затыченками. Старичок от него — он за ним. Подошла электричка, он за старичком. Старичок через вагоны от него. Он за ним. То ли умаялся старичок, то ли вагон, где людей побольше, выбрал, однако сел. Рядом места нет, а за спинкой — свободное. Абрамыч туда, в бок ему пальцем, Освенцим вспомнил, кредо свое вслух. Старичок покрутился, покрутился, вокруг смотрит. Все, как обыкновенно — кто в окно уставился, кто ухмыляется, но молчат. Абрамыч старичку смазь сделал, за нос подержал. Тот платочком утерся,

почему-то не побледнел, а наоборот кровью налился. Поднялся и говорит: «Выйдем».

Абрамыч не расслышал, только увидел, как тот в тамбур заспешил. Ну, он за ним. Едва двери стеклянные захлопнулись, замелькали кулачки интеллигента да так быстро и точно, что Абрамыч осталбенел, а пока соображал, было уже поздно. Старичок вернулся в вагон, сел на свое место. А Абрамыча в вертикальном положении не видать. Поднялся тут капитан артиллерийский, прошел через вагон, в тамбур заглянул — сразу к старичку, назад. «Это вы за что же человека избили?» — спрашивает. Народ весь к интеллигенту лицом и зашумел. Видит старичок — дело плохо, отмолчался, пока поезд к платформе подошел, посидел немного и в последний момент юрк из вагона. Поезд тронулся, а народ так и не успокоился до Ленинграда. Девица с папашей культурным — в белой рубашке при галстуке — в тамбур вышли — смотрят, лежит Абрамыч. Морда — кусок кровавого мяса, только матерится тихо. Девица платочек ароматный вытащила, присела над ним. Душу тогда они отвели, однако интеллигентных старичков долго он еще остерегался.

Было за что ему ненавидеть и «тех» и «этих». От войны полного удовлетворения не осталось.

Молчал Виктор, но хотел знать про него Абрамыч много, потому как не встречались они во время войны и в команде 311 «с» не служили. Боялся, что не сравняться ему с Виктором в счете: работал он не автоматом, а инструментом тонким и не шумным. Свои заслуги ставил высоко, однако количества не доставало. Всего 77 «тех» и «этих», стыдно признаться, хотя работал он на совесть.

— Так сколько у тебя? — приставал он к Виктору.

— Считаю, — ответил тот, наконец, — а ты мешаешь.

Абрамыч сплюнул:

— Пальцев на руке не достает, что ли? — фыркнул презрительно. Виктор промолчал. Надоел ему Загорелый со своим «сколько» да «сколько». Счет, а особенно сложение, подвигалось плохо. К концу третьего месяца, на очередной вопрос:

— Ну, плюгавый, сосчитал? — он процедил неуверенно:

— Девяносто две сотни отложил и еще двенадцать, но видно не все, путаюсь больно.

Абрамыч недоверчиво нагнулся к лежавшему Виктору.

— Брешешь, парень?

— А ну тебя, — отвернулся тот к стене, — только сбиваешь каждый раз.

Надолго замолчал Абрамыч, подавленный, униженный своим плюгавым, хромым соседом. Потом загорелся весь, приблизился к нему, пошевелил осторожно плечо:

— Послушай-ка, — сказал уважительно и назвал впервые по имени, — ну, а глаза сколько выдавливали или там еще чего такое?

Виктор молчал, но Загорелый не отставал, тряс его.

— Это я не мог, — сказал тот виновато, — это только немцы умели.

— Ха-ха-ха, — загрохотал на всю камеру, на всю тюрьму Абрамыч. — Немцы! Ха-ха-ха!! Плюгавка ты все-таки, Виктор, плюгавка. — Старый надзиратель подозрительно посмотрел в глазок, шикнул на них. Загорелый продолжал тихо, но Виктор положил руку на ухо, будто задремал.

Скривился Абрамыч, отошел к себе в угол, ближе к окну. Потянулся, скрестив пальцы, довольный. Нет, не зря кичится он перед Виктором и перед следствием выкореживается. Ругается и кредо свое не скрывает. Свидетеля-то ни одного. Говорил с ухмылкой: «Доказательства, граждане, доказательства. Ненавижу я их

и вас всех ненавижу, а за ненависть одну не казнят!!» Однако, какие-то бумаги, видно, все же отыскались: подвели его немцы со своей страстью к документам.

Сдаваться он не хотел, но к весне исход стал ему ясен. Придя с очередного допроса, где ругался и матерился по-прежнему, сказал он Виктору: «Надо рвать когти». Виктор промолчал. «Ты, как хочешь, плюгавый, а я план уже имею».

Свидетелей Виктор видел уже на следствии, но почему-то все ждал черноглазого мальчишку. Мальчишки быть не могло — это он понимал, но не было и мужчин подходящего возраста. Набралось с десяток старух да несколько старииков. Были они те самые или не были — не интересовало его. Речь прокурора выслушал он спокойно и равнодушно, как должное принял меру наказания. Даже слушал последние, самые главные слова прокурора рассеянно, потому что все еще считал, а надо бы успеть сосчитать.

Еще шесть человек сидели рядом с ним так, будто речь шла не о них, и Виктор подумал, что и они, наверное, считают и потому им не до прокурора. Только Абрамыч ругался и кричал, что судят его незаконно и требовал свидетелей и доказательств. «Бумажкам фашистским верите, а советскому человеку — нет!»

Назавтра, в шесть утра, как и в первый день суда, пришел в белом халате парикмахер из заключенных. Выбрал их чисто, сказал: «Для прессы стараюсь, душегубы». Абрамыч сплюнул ему вслед, спросил зло:

— Ну, как твой счет, какая сотня? — Виктор ответил нехотя, не сразу:

— Вроде девяносто девятую кончаю. — Загорелый подошел ближе, сказал в самое ухо:

— Да, плюгавый, по количеству я от тебя отстал. Но ведь для тебя это была нелюбимая работа, верно? Ты ведь трус, ты боялся смотреть им в глаза, верно? Ты стрелял издали или всаживал нож в спину. Чего смотришь, я отгадал, точно? А пробовал ты часами

обрабатывать одного человека. Ломать его, жечь, рвать на куски. Медленно убивать и не давать умереть ему. Приходилось ли видеть тебе их глаза, полные ненависти, отчаяния или смирившиеся и покорные, со зрачками больше глазниц, расширенными от боли и страха.

Отвернулся, плюгавый — тебе противно или тебе страшно? А мне нет. Ты не можешь даже сосчитать своих, чего же ты стоишь?

А я сохранил в памяти всех до одного. Я помню глаза каждого, помню его стоны и крики. Я помню, кто сколько часов выдержал, помню инструменты, которыми обрабатывал каждого из них. Помню их волосы в холодном поту, кожу, цвет и запах крови. Ну что, страшно? — он наклонился к самому лицу Виктора. Тот посмотрел устало:

— А ну тебя, надоел. Сильно болтлив ты, Абрамыч.

Загорелый матюгнулся.

— Тебя мать твою... к стенке, а я еще выберусь. Ты только смотри, как уговорились. Я держу, а ты берешь карабин. А Косой заткнет ему глотку. Главное — не промахнись, если что. Тебе все равно, даже счету прибавишь, а у меня шанс, — и добавил, сжав ему плечо: — Уважаю я тебя.

Виктор только кивнул в ответ и высвободил плечо.

Провели их туда через большой вестибюль, выполненный цветной плиткой, в коридорчик, из которого одна дверь вела в зал к местам для обвиняемых, а другая в небольшую комнату, где держали их перед началом заседания, комнату с зарешеченным окном безо всякой мебели. Окно выходило в проулок, где их высадили и где стояла машина, в которой их привезли. Проулок тихий, сразу за ним старые деревянные дома с покосившимися заборами, за заборами огороды и жидкие сады.

Столпились все у двери, будто торопились в зал, в котором ждали их вежливые судьи, почтительные адвокаты, вспышки блицев и стрекот кинокамер. Судя по шуму в зале, до начала оставалось немного. Абрамыч раздвинул тех, кто стоял ближе к двери, застучал в нее ногами. Стучал долго и истошно, пока не приоткрылась дверь. Молоденький белобрысый сержант просунул голову, не успел спросить, Абрамыч втащил его за ворот, сжал горло. Косой навалился на солдата, зажал рот. «Ну!» — зарычал Загорелый, метнув дикий взгляд на Виктора, и бросился в дверь. Виктор схватил карабин, выстрелил в другого солдата, мелькнувшего в дверях, и, хромая, выскочил из комнаты. Боковая дверь на улицу была открыта — в ней стоял еще один солдат и на него летел Загорелый. Виктор выстрелил в солдата, тот упал и осветился проемом двери, потом в проеме появился корреспондент, обвешанный аппаратами. Виктор опять выстрелил. Проем освободился, и в нем вырос Абрамыч. Сзади на Виктора навалились, но он успел выстрелить. Абрамыч остановился, будто обдумывая куда бежать, схватился за косяки. Виктор выстрелил последний раз. Проем осветился.

Виктора скрутили, заломив руки до боли в суставах, а он щурился довольный и повторял громким шепотом: «Ровно сто сотен. Точно сто сотен. Сто сотен», — и вздохнул умиротворенно, словно после трудной, но успешно завершенной работы.

Назавтра семерых приговорили к расстрелу, а Абрамыча к пятнадцати годам, так как не доказано было его личное участие в убийствах.

Косой толкнул Виктора в бок: «Ты его по нечайности, что ли?» Виктор ничего не ответил. Он не слышал ни приговора суда, ни вопроса Косого. Он опять считал. Утром, во время бритья, вспомнил он, что упустил небольшую операцию из весны сорок второго,

которая прибавляла к счету еще восемнадцать, и вчерашняя пальба была ни к чему.

ЛЮБИН Евгений Михайлович — писатель из Ленинграда. Автор стихов, рассказов, повестей. С 1978 года живет в США, печатается в «Новом журнале», «Эхо», «Новом Русском Слове», «Русской Мысли» и других свободных изданиях на Западе. Президент Клуба Русских писателей в Нью-Йорке.

ВЛАДИМИР ИСААКОВИЧ ЛЕВИН

Смерть настигла его, когда ему еще не исполнилось пятидесяти. В литературе, а в особенности в ее науке — литературоведении, области, в которой он работал, это возраст расцвета и открытий. От него еще многое можно было ожидать, хотя для своих лет он успел сделать уже немало. Ему принадлежит множество рецензий, статей и обзоров, посвященных авторам и проблемам современной и классической русской словесности. В поле его зрения, его литературных пристрастий и интересов включался самый широкий круг имен от Михаила Рощина и Валентина Распутина до Михаила Чехова и Федора Достоевского. Многие из нас — представителей послесталинского поколения писателей — в известном смысле обязаны ему своим профессиональным и духовным становлением. Его врожденная доброжелательность, его критическое чутье, его этический и эстетический вкус помогали нам не только поверить в себя, но и выбрать тот путь, по которому в конце концов (и теперь уже большинство из нас) пошло — путь Сопротивления официальной лжи и тотальному насилию.

Его жизнь навсегда останется примером скромного, но подлинного служения русской литературе и ее христианским идеалам.

«Континент»

ЛЮБОВЬ

Томка Мищенко с Плиточного завода познакомилась с артистом Областного театра Юного Зрителя Леней Поляковым. Познакомились днем: к Томке приехали две прежние подружки из поселка Золочево. Глупые подружки — в пестром, в полуботинках. Покалечилось все воскресенье — и повела Томка подружек в парк культуры и отдыха имени Горького. Леня же Поляков обязан был присутствовать на дневном спектакле, что давался на парковой открытой сцене-площадке со скамейками и помостом.

Участвовать не должен, а присутствовать — должен; главный режиссер театра заслуженный артист Белорусской ССР Виталий Сергеевич Столяров распорядился, чтобы молодые актеры обязательно были заняты в дневных спектаклях — постареют-погуляют, а пока надо работать. Как бы там ни было, выходной день на предприятиях системы обслуживания и Управления культуры не воскресенье, а понедельник.

Леню ввели в спектакли «Мальчик из Уржума» (о молодом Кирове), «Улица младшего сына» (о Володе Дубинине). Но в нынешнее воскресенье ставили современную пьесу в письмах по молодежной повести Марины Михайловой «Большая Медведица — Южный Крест». В ней заняты всего два актера, что по очереди читают друг другу письма. Леня писем еще не читал, но просидел полспектакля за сценой — за временными кулисами. Поглядывая на площадку, он заприметил трех бабчат: две — атомная война, а третья с ногами и мордой, которую можно газеткой не прикрывать. От спектакля был свободен и Витька Пономарев. Вдвоем троих кадрить паршиво, но деваться было некуда.

Есть правило: во время спектакля из-за кулис в зрительный зал выходить нельзя. На дневных представлениях в пионерских лагерях, клубах, заводах и фабриках выходить все же приходится, но делать это следует незаметно. При кадреже бабчат в зрительном зале на дневных спектаклях вылезать из-за кулис надо как бы нечаянно, но чтобы нужные бабы заметили — откуда ты лезешь. Так объяснял и учил Рудик Подольский — артист, от которого ушла жена, узнав, что он ее голой в ванной фотографировал сквозь специальную дырку. Рудик чуть не умер от горя, месяц лежал в психбольнице. Фотографии жены он отдал знакомому фотографу. Фотограф слепил фотомонтаж: тело рудиковской жены, а головки из разных кинооткрыток — стал изготавливать порнографические карточки. Рудик и дальше умудрялся снимать своих редких баб — при помощи автоспуска, так, чтобы и он принимал участие в фотографии, раздаривал полученные фотки кому надо и кому не надо... И у меня долгое время хранилась карточка: стоит голый Рудик — грустный, с длинным рыльником, лысовстрепанный, а возле него голая баба на коленях держит Рудика за срам. Бабе лет сорок, смотрит прямо в объектив.

Лене и Витьке надо было спешить — бабчатки сидели как-то непрочно, одна даже почти уходила, других тянула за собою, да и всего-то на площадке имелось человек десять: пожилые люди, не боящиеся июльской жары, потому что были в соломенных шляпах, парусинных картузах, белых косынках. Бабчата находились у самого выхода. Конечно — заметили они, как выбрались тихо и осторожно Леня и Витька из-за временных кулис; конечно, — заметили, как сели они рядом с бабчатами на скамейку. Само собой — услышали, как сказал Леня Витьке: «Дай сигаретину, чувак: мои там остались».



Поручил прозектор своему помощнику поскрести-
помыть для меня каменно-металлический стол, а я до
сих пор не могу свободно с женщиной заговорить: ни
на улице, ни в кафе, ни в общественном транспорте.
Сплошное еканье сердца, речевой ступор, смех кривой,
рученьки ледяные. Вот и Лена такой, и Витька такой.
Все понятно: не пойдет человек от теплой и соразмерно
внутренней жизни в молодые актеры вспомогатель-
ного состава Областного театра Юного Зрителя —
исполнять Володю Дубинина за семьдесят пять рублей
в месяц.

Откуда они берутся?! Все юноши и девушки в выс-
ших учебных заведениях, кто не в заведениях — тот
на производстве, в мастерских по ремонту бытового
оборудования, в магазинах готового платья, в мяс-
ных отделах «Гастрономов», в армии, наконец! Один
мой знакомый кончил годичное парикмахерское учи-
лище — «меньше трехсот и получать не прихожу», —
говорит. Напоминаю: не Москва это, не «Современ-
ник» на Таганке, не коллективные богемные развле-
чения в женском общежитии Большого театра, где
поют мою любимую: «Бьется в тесной печурке Лазо,
на поленьях глаза, как слеза», но Областной театр
Юного Зрителя с временным помещением в Красно-
граде.

А потому я артист, что люблю я странную служ-
бу: вроде ничего не делаешь, а весь день занят, люблю
вставать в полдень и ложиться в три, видеть по ут-
рам (!) и по вечерам (!), как красит губы и пудрится
сосед Стасик Притула — лауреат конкурса артистов
эстрады. А осенью! Эх-да по грязюке в театральном
автобусике: за спиной декорации трясутся, а рядом,
щечкою подпертой к окошечку, Инночка Абрамова в
прозрачном платочек, моя прекрасная матрешка. Ах,
да прислонись же ты ко мне хотя на секунду, качаясь

в дремоте, еще нескоро приедем в Дом Культуры...
Что плакал я по тебе, что горевал! Не знаешь? Так
знай.

— Девочки приехали поступать в театральный?
Да, девочки? — спросил смелый и полово-наглый
Витька.

— Никуда мы не приехали, — ответила сердитая
от синего пятна на лбу девочка-атомная война.

И вмешалась тогда Томка Мищенко — с глазами
почти круглыми, но превращенными «Стеклографом»
в длинные, не верящие в русые и потому спаленные
освещляющим шампунем:

— Ну, Танька, чего ты брешешь, притыренная?
То она стесняется: я два года на плиточном работаю,
а они ко мне в гости приехали.

— А издалека? — Леню перетянуло по животу, и
голос его, поставленный на театре, стал желудочный
тенор.

— То вы спрашиваете, откуда мы приехали? —
перевела Томка. — Из Золочева.

— А что вы в Золочеве делаете, девочки? — спро-
сил циничный Витька, давая понять, что на самом-то
деле его интересует.

Вторая атомная война была веселее:

— Лампочки матом краем.

Стало актерам неуютно от непонятного ответа —
даже как-то пожалели, что приступили к кадрежу наг-
лых чертих.

И снова Томка их пожалела — засмеялась во все
свои светлые зубы, вытолкнула кончик языка, где та-
ился леденчик «Дюшес»:

— Они там на «Электросвете» работают, лам-
почки красят таким белым, получаются матовые. А
вы что думали? — и смеется, смеется.

* * *

Кафе «Родничок» было и в самом деле оборудовано ледяной струйкой в цветной поддельной гальке. Туда повел Леня Поляков Томку Мищенко: атомные войны к вечеру уехали домой, а Витька Пономарев для Томки не годился — длинный, бурый и курносый. Одет, правда, хорошо.

Леня Поляков так давно и долго рассказывал, что первый раз поимел бабу в одиннадцать лет, что и сам перестал в это верить. С пятого класса он стал красивый, а все равно успел соединиться всего с тремя женщинами. Но Томку он твердо решил трахнуть — она в первый вечер целовалась и зажималась по-всякому. Только до Нового Года — пять с половиной месяцев! — никакой возможности найти хату не представлялось. В подъезде или на вылазке — без кровати, музыки, подготовки — Леня не мог. Разве два в жизни попробовал — и, кроме неугасимого стыда, с фиксацией ничего не получилось. С тех пор Леня стал осторожен, не доводил дело до крайностей, после которых никакие дальнейшие встречи были для него немыслимы...

Томка жила в общежитии, куда Леня заходить боялся: вокруг здания почти круглосуточно стояли, — а некоторые заходили, — жуткие люди, прямо на улице пьющие из бутылок, ругающие всеми возможными словами охранника: люди, ищащие и нашедшие подруг. Леня только по чужим приключениям знал, что происходит возле и внутри заводских общежитий, где поселяется рабочая молодежь, и вполне ему было достаточно. Поэтому, когда Томка его позвала в гости: «Девчонки наши не верят, что ты артист», запридумал что-то судорожное. А Томка все понимала. За три дня до приглашения обошла всех самых опасных из стоящих и заходящих, предупредила, что к ней в гости придет человек, и если его тронут, то она пой-

дет в милицию — скажет, кто ее и Наташку Храпову на октябрьские праздники изнасиловал. И был страшный скандал, и поругалась Томка со всеми участниками прошедших октябрьских праздников — даже с Наташкой Храповой: «Ты, Томка, говно, ты ж сама всем подставляла, и еще реготала!» — а все впустую. «Я понимаю, Ленечка, тебе там неинтересно будет... Правильно, и не надо тебе ходить. Это я, дурная, придумала».

А к Лене домой? Мама скажет: «Проститутка уличная», — разумеется, не в лицо, и папа — хронически больной. В любом случае — куда они денутся вечером: мама до работы едва доходит, папа только днем у подъезда на скамейке сидит. Мебели практически никакой нет, все старое, даже холодильника — нет.

— Ленечка, Леньчик, я тебе одну книжку хочу подарить, — и сияет снизу вверх маленькая Томка.

— Спасибо, малышка, — так Леня Томку называет.

Книжку написал поэт Эдуард Асадов, называется «Галина» (поэма), украдена из библиотеки «ДК Строителей».

— У нас все девки прямо усыкались, когда читали. Ой, она у тебя, наверно, своя такая есть? А я надписала...

«Моему самому дорогому Ленечке от твоей Томки Мищенко. Число, год, город».

— Нет, у меня таковой не имеется.

— А чего ты смеешься? Она плохая, да? Она очень плохо написанная?

— Главное, чтоб тебе нравилась.

И объяснил Леня Поляков, что хорошие стихи пишут Евтушенко, Вознесенский, Рождественский, Ахмадулина, приводил примеры. Томка после таких примеров ругалась с комнатой своей, быстро-быстро доставала из сумки ссуженную Леней брошюру и начинала читать лениво всегдашнее:

Рок-н-ролл — об стену сандалии!
Ром в рот! Лица как неон...

- В рот. Очень хорошо...
- От оно и все, что вы понимаете! Каждый понимает в меру своей испорченности! У кого что болит, тот о том и говорит!
- В общем — в рот и об стенку, да, Тамарка!?
- Тю на тебя, Наташка! Ты такая дурная, аж противно!

Но не вечно же ругаться из-за стихотворений. Не вечно. Все полегли по кроватям, за окном воют пацаны, а Танька Ус немного умеет играть на гитаре — три аккорда — под любую песню годится.

Один лишь мальчик в углу стоит —
Его девчонка с другим кружит.
Она кокетлива,
Ко всем приветлива,
А он ревнует, ревнует и молчит.

- Томка, а он тебя... уже?
- Тю на тебя, дурная такая!

Не плачь, мальчишка,
Бросай грустить,
Таких ведь подлых
Нельзя любить.
Сегодня с этим,
А завтра с третьим,
И так проходит младая жизнь.

- Вместе, девки! Что я одна, как дура пою, концерт по заявкам устраиваю!

Он взял у негра бокал вина
И залпом выпил его до дна.

Пиджак накинул
И зал покинул
И поглотила его ночная мгла.

— Томка, а чего у тебя трусы такие на жопе грязные, аж противно.

— А чего ты, Наташка, такая вредная как собака!? То я еще утром в заводе на ящик села, а он в цементе.

— Артист увидит — разлюбит.

— Не, Ната, ему же все равно — он же рокенрот...

— Кто б ото говорил — только не ты, Светка!

Сама вонючая, как туалет. Как в том анекдоте: твои чулки в угол поставить можно, не упадут!

— Девуленьки вы мои роднюсенькие, не ругайтесь, ладно? Головка болит...

Пиджак наки-и-и-ину-ул
И за-а-ал поки-и-ину-у-у-ул...

— Давайте спать. Томка, свет туши!

Рокенрот, рокенрот —
Никто замуж не берет.

* * *

Скажи, Господи, где еще на свете можно с девочкой гулять полгода и не трогать? Только в России и в сопредельных ей союзных республиках. Не во всех республиках, не во всех городах — но можно.

Что есть любовь? Такой вопрос задает интересующимся покойный профессор Зигмунд Фрейд. И отвечает: половое влечение, заторможенное в смысле цели. С точки зрения психологии — замена «Я-Идеала» объектом влюбленности. Чем сильнее заменишь —

тем сильнее влюбишься. Спроцируй, Леня, Томку на пышное красное место, где вытянется во весь рост твой-твое «Я-Идеал» — маленький карлик с таким вот... носом: известный артист-режиссер-писатель-композитор-художник-скульптор — смуглый, твердый, выше среднего роста, с глазами синими, как у Ихтиандра в кинофильме «Человек-амфибия», нежный, но мускулистый, с белыми, никогда не болящими и не пахнущими зубами; джинсата обтягивают, югославский плащ переливается из темно-зеленого в черный. Страшная сила! Ударил-убил, ударил-убил. С легкой презрительной усмешкой, ребром ладони, не снимая тугой перчатки, рассек всех! Начиная от Вовки Зеликова из 2-го «Б» класса и кончая этой прыщавой гадиной: перед самым носом (носом) влез мордою в кассовое окошечко и взял два билета. И откуда он знает, что я ему ничего не скажу и не сделаю?! Стоял-стоял, никого не трогал, не пер, минут пятнадцать ждал меня. Когда я с Томкой подошел — влез. Откуда знает??

— Молодой человек, что вы без очереди лезете?

— Кто без очереди? Я стоял. Вот он (Леню пальцем впритык к животу) скажет. Я ж стоял? Чего ты менжуешься, с м а н д о й ч е л ' в е х х (улыбочка, улыбочка!), скажи товарищу в папахе — я стоял. Ну, всё в порядке, все по делу Бабкина... Те-нь-к'а, два билетика, будьте любезны... Беленькая, а что ты такая сердитая? Извините, де-шш-к'а, вы одна? Извините, вы с-с-с-мандым человеком. А может, дава-айте познакомимся? Ты ж мой друг, точно? Ну, познакомь меня со своей девушкой, ч'е ты, пацан...

— Товарищи, не стойте, билеты кончились, я отдала последние!

Скорее, скорее, он взял два, будет тянуть ее с собой, а меня у д а р и т п о л и ц у. Слава Богу, что кончились билеты, а то он бы сел с нами рядом, навалился бы на нее плечом, спрашивал бы: «Девушка,

вам не тесно?» Спаси меня, Господи, дай убить всех, кто сильнее меня!

— Томка, всё. Пошли в другое кино.

— Де-ш-к'а, куда ж вы идете, сука, пидарас-с-стина!..

Прочитаны все доступные Томки стихи, рассказаны все доступные Томке анекдоты и случаи из Лениной и мировой театральной жизни — нечего больше сказать, а до Нового Года остался месяц. Подлый мир, что не дает вполне подготовленную бабу поиметь! Как устали мы друг от друга, как противно все, что одно и то же: от встречи возле афиш кинотеатра «1-й Комсомольский» до прощания — без провожания — у остановки трамвая «Плиточная»! От многих поцелуев как бы сменился вкус слюны.

— Ленечка, как тебе сегодня меня целовать — не противно?

— О чём ты говоришь?

— А я сегодня, перед тем, как на свиданку идти, селедку ела.

* * *

Столько было разговоров об этом Новом Годе, что Томке даже надоело:

— От он, бедненький, всю дорогу говорит, как мы с ним будем встречать. Аж у него все дрожит!

— Ты ему, правда, еще не давала? — сомневается в подруге Наташка.

— Та где ж я ему дам, в канаве?!

— А чего ты его сюда не привела?

— Та... Не надо.

Очень сложно одеваться девушке на зимний праздник. Красивое зимнее платье — такого не бывает. Теплая юбка и мохеровая кофта — кофты нет. Но самое трудное — одеваться под низ: трикотажная комбина-

ция, теплые рейтзузы, туфли приличные взять с собой — и на месте снять лишнее, обнажить безразмерные чулки, втолкать в запасенный кулек противную серую шерсть, спасавшую ножки от покраснения, спрятать в затемненный угол дурацкие буцы-боты. Если нет другого выхода и есть где, надо по приходе зайти неизвестно куда и снять трикотаж, засунуть его еще в один кулек. Бывает и другое положение: надевается под пальто плохая теплая кофта — и вместе с пальто снимается, — так, чтобы не было заметно ее присутствие. Но пальто слазит отдельно, а плохую теплую кофту сдираешь потом, пиhaешь в рукав, а она не лезет, ее много. Надобно на лестнице подготовиться, стянуть концы рукавов, постараться снять все вместе, иначе испортишь себе настроение на весь праздник — от десяти вечера до семи-восьми утра, когда все снятое придется надевать.

А Томке повезло: заехал на завод магазин-фургон, а в нем — фланелевые платья с длинным рукавом, по двадцать пять рублей, многих цветов, в горошек. Крупный белый горошек на синем выбрала Томка: «У кого волос белый, тому надо синее», — сказала незлая продавщица.

Друг у друга позанимали деньги — и все купили! Покрай одинаковый — с пояском, в талию, широкая юбка, круглый отложной воротничок, на пуговицах, горошек, но фон — разный: красный, зеленый, синий, коричневый. «100% хлопок. Изготовлено в Болгарии».

Не нужно никаких трикотажек, никаких кофт, только рейтзузы неизбежны.

* * *

А Театр Юного Зрителя должен был скоро получить новое помещение — в центре города. Здание ремонтировали, вернее — перестраивали, приспособли-

вали под театральную жизнь, делали сцену. Стулья заказали современной формы, занавес — из синтетического материала. Взяли в состав двух новых артисток, трех артистов и концертмейстера Лиду Мостовую в серой шубке и красном берете. У нее через вечер собирались, ее мама пекла коржики, участвовала в беседе и смехе. Чуть пили, а Лида специально для Лени играла «Песню Сольвейг».

Нельзя ехать в Томкино общежитие, нельзя провожать — побьют, здоровья нет гулять по пять часов по холоду, зажиматься в ледяном скверике, — нет, нет сил ждать, когда будет хорошо, ибо если так долго плохо, то хорошо уже не будет. Все сделано, кроме главного, и если делать так долго в с е, никому это не нужно, притормозило меня в смысле цели. Кроме того, на новогодней хате могут возникнуть сложности: четыре месяца назад хозяину и будущим гостям сказано: приду с товаром. А там будет Витька Пономарев с какой-нибудь балериной. А Витьке пять месяцев тому назад поведано, что беленькая чертиха в первый же вечер сделана у нее в общаге. И если вместо нового товара привалить с Томкой, Витька Пономарев начнет о с т р и т ь — там и на работе. Возможно, что Томка начнет ломаться, а на Новом Году в с е э т о должно проходить легко и беспроблемно. Облажаюсь, как последний. А у Лидки на Новом Году Пономарев не будет — они поруганные с недавней репетиции. С Лидкой вполне пройдет — Томка никуда не денется. Надо будет просто договориться с Подольским — он живет в комнате один; интересно, почему я, идиот, раньше не вспомнил.

— Ой, Ленечка, я себе такую шмотку достала! Увидишь — упадешь.

— А это что, расскажи.

— Не! Секрет. Пойдем на Новый Год — увидишь.

— Я не знаю... Может так получиться, что я дома останусь. Днем — спектакль на выезде, а вечером...

Мама просила, чтоб я побыл дома. Новый Год — семейный праздник, малышка!

— Ой, Ленечка, а я так хотела, чтоб тебе хорошо было на праздник!.. Такая жаль, да?

— Так получается.

— Ты только не переживай, ладно? Кому оно нужно — сидеть всю ночь. И я посплю — никого не будет, девчонки разбегутся... А то я всю дорогу зеваю. Тебе неприятно, что я зеваю?

— Смотри, я попробую еще, возможно получится...

— Побудь с мамкой дома! Ей тоже надо внимание — раз в году с сыном...

— Малышка, перестань, а то я расстраиваюсь.

— Извини, да? Во, хочешь, я тебе позвоню в двенадцать часов тридцать первого: у нас возле общаги поставили автомат; как будто мы вместе встречаем.

— Зачем?! Все спокойно ляжем спатки... Как ты каждый день встаешь в шесть, я не понимаю.

— Ну, ладно, Ленечка, ты только не нервничай... Давай я тебя сегодня поздравлю. Ну... Я тебе желаю, чтоб ты был всегда такой красивый, такой умный, такой хороший, такой-такой способный, такой-такой-такой!...

* * *

До Лидки Мостовой — десять минут ходу. В десять часов вечера тридцать первого декабря, когда Леня обрабатывал галстучный узел, забил в дверь почтальон — старый человек неизвестной и непонятной жизни. Принес он Лене телеграмму с общими цветочками и общим «Поздравляю!» — расхватали загодя и разослали загодя всех Дедов-Морозов, всех Снегурочек, тройки, елки, снежные бабы.

«Дорогой Леня поздравляю тебя с наступающим Новым Годом желаю всего наилучшего твоя Томка малышка».

МИЛОСЛАВСКИЙ Юрий Георгиевич родился в 1946 г. в Харькове. Окончил филологический ф-т Харьковского университета. Работал грузчиком, актером кукольного театра, трамвайным контролером, корреспондентом радио. С 1973 г. живет в Иерусалиме. В последнее время работает ночным сторожем. В СССР не печатался. После выезда опубликовал множество публицистических статей (некоторое время работал главным редактором еженедельника на русском языке), несколько стихотворений в журнале «Континент»; его повесть «Собирайтесь и идите!», помещенная в журнале «22» (№ 3, 1978), вызвала оживленные споры и дискуссии.

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ ПРЕССЫ

24 мая в Париж приехала Руфь Григорьевна Боннэр, теща академика Сахарова. Перед отъездом из Советского Союза она провела неделю в Горьком с Андреем Дмитриевичем. Изоляция, которой его незаконно подвергают, становится все более полной. У дверей его квартиры 24 часа в сутки дежурит милиционер. Он никого не пропускает в квартиру, кроме непосредственных членов семьи, которых власти, по-видимому, считают только жену Сахарова Елену Боннэр и его тещу Руфь Боннэр.

Кроме того, чтобы успокоить западную научную общественность, власти разрешили два визита к Сахарову его московских коллег. Между тем, с письменного стола Сахарова уже несколько раз исчезали его собственные записи по физике. Так, например, вернувшись с вокзала, где он встречал Руфь Боннэр, Андрей Дмитриевич обнаружил, что исчезла тетрадь — автореферат его научных работ.

Состояние здоровья Сахарова внушает серьезные опасения. За последний месяц участились сердечные приступы, у него постоянные боли в сердце, он не расстается с лекарствами и ежедневно вынужден принимать нитроглицерин. В Горьком он практически лишен квалифицированной медицинской помощи.

Состояние здоровья его жены Елены Боннэр также значительно ухудшилось. В правом, «рабочем» глазу у нее началсяuveit с приципитатами — впервые за 6 лет. Это — острый воспалительный процесс, стремительно ведущий к полной слепоте. Ее лечащий врач в поликлинике Академии Наук предлагает ей немедленно лечь в больницу, но Елена Боннэр отказывается, т. к. не может оставить мужа одного.

Сейчас ситуация еще более осложняется положением Лизы Алексеевой, невесты сына Елены Боннэр. Сахаров считает ее членом своей семьи и неоднократно просил власти позволить ей покинуть страну.

Неделю тому назад Лиза Алексеева с применением грубой физической силы была задержана на вокзале. В милиции заявили, что ей запрещается ездить в Горький, а также запрещается жить в московской квартире Руфь Боннэр, где Лиза живет уже два года с семьей Сахарова. Агенты КГБ, всюду сопровождающие ее, постоянно угрожают ей. В такой ситуации ее нельзя оставить одну, и это вынуждает Елену Боннэр разрываться между Москвой и Горьким. Во время ее отсутствия с Сахаровым может случиться что угодно, и мы даже не узнаем об этом.

До сих пор Елена Боннэр была практически единственным источником информации о том, что происходит в Горьком. В теперешней ситуации Сахаров может предпринять новые попытки восстановить контакт с окружающим миром, и в связи с этим приходится опасаться новых жестоких репрессий со стороны властей.

СТИХИ

Алексей Лосев

1974

Знаешь ты, из чего состоит
отсырелый пейзаж Писарро,
так бери же скорее перо,
опиши нам, каков этот вид
штукатурки в потеках дождя,
в электричестве тусклом окно,
расплывающееся пятно
на холстинном портрете вождя,
этот мокрый снежок, что сечет
слово СЛАВА о левом плече
и соседнее слово ПОЧЕТ
с завалившейся буквой Ч.
Эта морось еще не метель,
но стучится с утра дотемна
в золотую фольгу, в канитель,
в сероватую вату окна.
Так бери же скорее перо,
сам не зная, куда ты пойдешь,
отступая от пасти метро
к мельтешению шин и подошв.

Ошалев от трамвайных звонков,
воробей поучает птенца:
«Десять лет до скончанья веков.
Ты родился в начале конца».

В кабинете Большого Хамла
поднимаются волны тепла,
и закрыто окно от дождя
трехметровой прической вождя.

Над чайком восходит парок.
Он читает в газете урок.
И гугнивый вождя говорок
телеапается между строк.
Но владельцу роскошных палат
невдомек, что уж сутки подряд
дожидался Инфаркт в проходной.
«Нет приема, тебе говорят».
«Ничего, я зайду в выходной».

Коль до трещинки грязной знаком
штукатурный пейзаж Утрилло,
так бери же скорей помело,
облети этот город кругом.
Под тобою на мокрых путях
поезда, и блестит диабаз,
и старухи в очередях
выжидают последний припас,
перед тем как удариться ниц
в сероватую вату больниц.
Воробей где-то рядом поет,
слету какает птенчик на Ч,
и следит твой прощальный полет
слово СЛАВА о левом плече.

* * *

Умер проклятый грузинский тиран.
То-то вздохнули свободно грузины.
Сколько угля, чугуна и резины
он им вставлял в производственный план.

План перевыполнен. Умер зараза.
Тихо скончался во сне.
Плавают крупные звезды Кавказа
в красном густом кахетинском вине.

1937—1947—1977

На даче спят. В саду, до пят
закутанный в лихую бурку,
старик-грузин, присев на чурку,
палит грузинский самосад.
Он недоволен. Он объят
тоской. Вот он растил дочурку,
а с ней теперь евреи спят.

*

Плакат с улыбкой Мамлакат.

И Бессарабии ломоть,
и жидкой Балтики супешник
его прокуренный зубешник
всё, всё сумел перемолоть.
Не досчитаться дядь и тёть.
В могиле враг. Дрожит приспешник.
Есть пьеса — «Таня». Книга — «Соть».

*

Господь, Ты создал эту плоть.

Жить стало лучше. Веселей.
Ура. СССР на стройке.
Уже отзаседали тройки.
И ничего, что ты еврей.
Суворовцев, что снегирей.
Есть масло, хлеб, икра, настойки.
«Возьми с собою сто рублей».

*

И по такой грущу по ней.

«Под одеяло рук не прячь,
И вырастешь таким, как Хомич.

Не пизди у папаши мелочь.
Не плачь от мелких неудач».
«Ты все концы в войну не прячь».
«Да и была ли, Ерофеич?»
«Небось приснилась, Спотыкач».)

*

Мой дедушка — военный врач.

Воспоминаньем озарюсь.
Забудусь так, что не опомнюсь.
Мне хочется домой — в огромность.
квартиры, наводящей грусть.

* * *

Памяти В. С.

«Понимаю — ярмо, голодуха,
тыщу лет демократии нет,
но худого российского духа
не терплю», — говорил мне поэт.
«Эти дождички, эти березы,
эти охи по части могил», —
и поэт с выраженьем угрозы
свои тонкие губы кривил.
И еще он сказал, распаляясь:
«Не люблю этих пьяных ночей,
покаянную искренность пьяниц,
достоевский надрыв стукачей,
эту водочку, эти грибочки,
этих девочек, эти грешки
и под утро заместо примочки
водянистые Блока стишки;
наших бардов картонные копья
и актерскую их хрипоту,

наших ямбов пустых плоскостопье
и хореев худых хромоту;
оскорбительны наши святыни,
все рассчитаны на дурака,
и живительной чистой латыни
мимо нас протекала река.
Вот уж правда — страна негодяев:
и клозета приличного нет», —
сумасшедший, почти как Чаадаев,
так внезапно закончил поэт.
Но гибчайшею русскою речью
что-то главное он огибал
и глядел словно прямо в заречье,
где архангел с трубой погибал.

НОЧЬ

Хамоватая самка Прохора
мне садилась задом на грудь,
и внутри что-то ухало, охало,
копошилось, скулило чуть-чуть.
Словно все мои Жучки и Шарики
разбежались, поджав хвосты,
и зудели в крови кошмарики,
над устами тряслись кусты.
Трепетала моя околица,
зарастала моя колея,
что ведет туда, где колотится
опустелая церковь моя.

ПАМЯТИ ПСКОВА

Когда они ввели налог на воздух
и начались в стране процессы иогов,
умеющих задерживать дыхание

с намерением расстроить госбюджет,
я, в должности инспектора налогов
натрясшийся на газиках совхозных
(в ведомостях блокноты со стихами),
торчал в райцентре, где меня уж нет.

Была суббота. Город был в крестьянах.
Прошелся дождик и куда-то вышел.
Давали пиво в первом гастрономе,
и я сказал адье ведомостям.
Я отстоял свое и тоже выпил,
не то чтобы особо экономя,
но вообще немного было пьяных:
росли грибы с глазами там и сям.

Вооружившись бубликом и Фетом,
я сел на скате у Гремячей башни.
Река между Успеньем и Зачатьем
несла свои дрожащие огни.
Иной ко мне подсаживался бражник,
но, зная отвращение к поэтам
в моем народе, что я мог сказать им.
И я им говорил: «А ну дыхни».

* * *

Прошла суббота, даже не напился;
вот воскресенье, сырое, то да сё;
в окошке дрозд к отростку прилепился;
то дождь, то свет; но я им не Басё.
Провал, провал. Играют вяло капли,
фальшивит дрозд, пережимает свет,
как будто бы в России на спектакле
в провинции, где даже пива нет.
Приплелся друг, потом пришли другие.
И про себя бормочешь: Боже мой,

так тянутся уроки ностальгии,
что даже и не хочется домой,
туда, где дождь надсадный и наждачный,
в ту даль, где до скончания веков
запачканный, продрогший поезд дачный
куда-то тащит спящих грибников.

* * *

И жизнь положивши за други своя,
наш князь воротился на круги своя,
и се продолжает, как бе и досель,
крутиться его карусель.

Он мученическу кончину приях.
Дружинники скачут на синих конях.
И красные жены хохочут в санях.
И дети на желтых слонах.

Стреляют стрельцы. Их пищали пищат.
И скрипки скрипят. И трещотки трещат.
Князь длинные крылья скрещает оплечь.
Внемлите же княжеску речь.

Аз бех на земли и на небе я бе,
где ангел трубу прижимает к губе,
и всё о твоей там известно судьбе,
что неинтересно тебе.

И понял аз грешный, что право живет
лишь тот, кто за други положит живот,
живот же глаголемый брюхо сиречь,
чего же нам брюхо стеречь.

А жизнь это, братие, узкая зга,
и се ты глядишь на улыбку врага,

меж тем как уж кровью червонишь снега,
в снега оседая, в снега.

Внимайте же князю, сый рекл: это — зга.
И кто-то трубит. И визжит мелюзга.
Алеет морозными розами шаль.
И-эх, ничего-то не жаль.

ПАМЯТИ МОСКВЫ

Длиннорукая самка, судейский примат.
По бокам заседают диамат и истмат.
Суд закрыт и заплечен.

В гальванической ванне кремлевский кадавр
потребляет на завтрак дефицитный кавъяр,
растворимую печень.

В исторический данный текущий момент
весь на пломбы охране истрачен цемент,
прикупить нету денег.

Потому и застыл этот башенный кран.
Надстройка. Плакат
«Пролетарий всех стран, не вставай
с четверенек!»

* * *

Что день — то повышается накал
смущения, смятения, тревоги.
Вот нынче утром зайчик прискакал
и, серенький, уселся на пороге.

Он всматривался в глубину жилья
не косо, а скорее косоглазо,
и наползала, сердце тяжеля,
какая-то неясная зараза.

Куда другой его уставлен глаз?
Какие там опасности и беды?
Какие козни поджидают нас —
враги? врачи? литературоведы?

Какие мне замаливать грехи?
Кому писать? Откуда ждать ответа?
Я что-то расписался, а стихи —
вот самая недобрая примета.

ВАЛЬС «ФАКТОРИЯ»

У моря чего не находишь,
чего оно не несет.
Вот так вот, походишь, походишь,
глядишь, Крузенштерн приплывет.
С приказом от адмиралтейства
факторию нашу закрыть,
простить нам все наши злодейства
и нас в Петербург воротить.

С Аринами спят на перинах
матросы. Не свистан аврал.
Пока еще в гардемаринах
спасительный тот адмирал.
Он так непростительно молод,
вальсирует, глушит клико.
Как бабочка, шпилем проколот
тот клиппер. И так далеко.

* * *

Покуда Мельпомена и Эвтерпа
настраивали дудочки свои,
и дирижер выныривал, как нерпа,
из гулкой оркестровой полыни,
и дрейфовал на сцене, как нальдине,
пингвином принаряженный солист,
и бегала старушка-капельдинер
с листовками, как старый нигилист,
улавливая ухом труляля,
я в то же время устремился взглядом
в мерцающую груду хрусталия,
свисавшую застывшим водопадом.

Там умирал последний огонек,
и я его спасти уже не мог.

1976—1979 гг.

* * *

как в застолье стаканы вина
я вещам раздавал имена
в мастерской миростроя московский студент
кругозора наследный царек
я примерил к руке штыковой инструмент
и лопатой лопату нарек

что-то двигало мной наобум
упражнять ученический ум
словно флагманский вол со слепнями в мозгу
по хребту роковой холодок
все предметы природы я вел на москву
на словесный беря поводок

в типографском раю буквarya
я язык коротал говоря
но трещат на предметах имен ползунки
врассыпную бредет караван
и лопата на плахе дробит позвонки
и копает луна котлован

я прибился к чужому крыльцу
больше челюсти мне не к лицу
поднимаются тучи словарной золы
звуки мечутся как саранча
хоть лапуту лопатой отныне зови
хоть мочалом долби солончак

* * *

снится мне волги привычный седан
темный колодец шашлычной севан
 полночи спасская тема
внуковский вой и салют на реке
все что кормило меня в парнике
этого мозга и тела

в осинах яви текучий фантом
труп на трибуне с багровым бантом
летопись жизни готовой
буквы бастуют и почерк продрог
плыл бы уже как иона-пророк
прочь от икоты китовой

дерево сердца растительный мрак
стереометрия классовых драк
в тесном объеме эпохи
потному сну истечения нет
это телок заблудившихся лет
с плеском роняет лепехи

четкий теленок чумная овца
просто не прожита мной до конца
ночи законная квота
просто отсрочен библейский финал
в бешеном кашле зашелся финвал
выблевать силясь кого-то

* * *

отверни гидрант и вода тверда
ни умыть лица ни набрать ведра
и насос перегрыз ремни
затупился лом не берет кирка

потому что как смерть вода крепка
хоть совсем ее отмени

все события в ней отразились врозь
хоть рояль на соседа с балкона сбрось
он как новенький невредим
и язык во рту нестерпимо бел
видно пили мы разведенныи мел
а теперь его так едим

бесполезный звук из воды возник
не проходит воздух в глухой тростник
захлебнулась твоя свирель
прозвенит гранит по краям ведра
но в замерзшем времени нет вреда
для растений звезд и зверей

потому что слеп известковый мозг
потому что мир это горный воск
застывающий без труда
и в колодезном круге верней чем ты
навсегда отразила его черты
эта каменная вода

* * *

ничего не жалею теперь я
ежедневным вертесь воробьем
за старинную доблесть терпенья
и воды вертикальный объем

этой греческой птицы манеры
смотровые деленья котла
темперамент гренландской морены
разутюжившей душу дотла

в отпуску мои детские боги
все былое в себя влюблено
педагоги мои педагоги
брахорукие псы облоно

золотой олимпийской оливой
инуитским китом на кости
не упрямствуй воде торопливой
воробьем воробьем посвисти

в кристаллическом звоне зимовья
где и мозг незаметный затмен
ни ума ни огня ни зубов я
ничего не желаю взамен

Единственная ежедневная русская газета
за рубежом

«НОВОЕ РУССКОЕ СЛОВО»

выходит в Нью-Йорке, США
Главный редактор **Андрей Седых**
69-й год издания

«Новое русское слово» регулярно печатает документы
самиздата, протести из СССР, произведения лучших
эмигрантских писателей, публицистику и прочее.

Подписная цена 70 долларов в год,
35 дол. — 6 месяцев
Воскресное издание — только 35 дол. в год
Годовая подписка воздушной почтой
(пачками по 6 номеров) — 150 долларов в год

Подписку с платой направлять по адресу:

243 West 56 St., New York, N. Y., 10019 USA.
NOVOE RUSSKOYE SLOVO

Круг рассказчиков

Окончание

Вадим Нечаев

ЛЕТНИЙ ОТПУСК ХУДОЖНИКА

А что было вчера? — думал он, идя вдоль залива. Вечерний теплый час, матовый ободок луны, чайки в пятидесяти метрах от берега, фланирующие курортники: компании из домов отдыха — в пиджаках и плащах (днем они играют в домино, потом скинутся на троих, вечером гуляют здесь и рассказывают, кто где живет и чей город лучше), за ними богатые рижские семьи с детьми и нежные парочки. Он шел один по этому благословенному взморью, по утрамбованному песку. Справа море, лунный сентиментальный свет, всплески и смех купальщиц, слева темно-синие сосны, дома, кабинки, пустые скамейки и запертые сейчас павильоны, где только что лились музыка и вино и где сидели мужчины, у которых всегда есть деньги, и с ними были, как обычно, красивые женщины...

Он приехал сюда десять дней назад; получил вдруг премию за оформление стенда, поссорился с женой, что едет один, и примчался. Ему не пофартило: был шторм, и пляж был почти пуст, редкие фигурки лежали на раскладушках, завернувшись в одеяла. Как-то бродя на солнце и ветру возле моря и думая, где же все-таки она — красивая жизнь, он завернул в городок преферансистов за небольшим холмом, там было несколько самодельных столиков, и там образовалась своего рода колония. Он заглянул туда и остался... на все десять дней.

С утра он приходил и ждал кого-нибудь из партнеров. Ждал спокойно, даже как-то тупо, а внутри уже накипал азарт, и он чувствовал приближение лихорадки.

Он играл по крупной, не потому что был богат или жаден, а скорее наоборот, потому что в такой игре был риск, взлет и падение, пахло судьбой. Рождалась иллюзия событий и приключений, а после — горечь и пустота, но к утру пустота заполнялась острым ожиданием.

Приходил Софочка: «привет, шлопаки», маленький плешивый человек в кургузом пиджаке, который он не снимал с плеча даже в полную жару, учитель физкультуры в школе. Появлялся Коля, сценарист из Душанбе, сорокалетний, меланхолический еврей неизвестной национальности по паспорту, затем денди Гарри, похожий на римского патриция, модельер мужской обуви в ателье, его друг и вечный должник Саша-юрист, известный тем, что он отсидел когда-то срок, но об этом он предпочитал помалкивать. Еще бродяга Насреддин, торговый работник. И напоследок — два мэтра, игроки высокого полета — Абрам Исаакович и Исаак Абрамович.

Разбивались на четверки, усаживались за столы. Чертят пульку на листе ватмана, легкий озноб, страх и надежда, что карта пойдет. Начиналась раздача, и весь мир сосредоточивался в пределах этого стола, мелькания рук и редких фраз, звучащих, словно какой-то шифр. — «Пас». — «Нет, это я пас». — «Пика». — «Трефа». — «Бубна». — «Черва». — «Мизер». — «Нет хода, не вистуй». — «Напиши на гору».

Лица исчезали, были только партнеры, подчиненные главному персонажу — игре. Десять дней он то выигрывал, то проигрывал, но проигрывал больше — за весну он потерял форму и снизился в классе. Сегодня он проигрался ужасно — в пух и прах.

Он пришел чуть позже, игра была в разгаре, возле столика торчали зрителями денди Гарри и юрист Саша с лицом то ли преступника, то ли ковбоя. Они пригласили его в пульку. Он помялся, но уступил. Они уговорили его играть с «бомбами» и «темными». Он, как говорится, попал в «слам». Никакого мухлежа не было, ни подтасовок, ни съемки, но карта шла к ним, а ему не шла, и они его, так сказать, раздели. Ему стыдно было смотреть им в глаза, и, когда подошло время расплаты, он вздохнул даже с облегчением. Он в результате проиграл оставшиеся четыре дня отпуска и должен завтра вылетать. И теперь он шел по берегу, уже чужой, почти на отлете. И был немного рад тому, что расстается с этой курортной жизнью, с этими ленивыми вечно-голодными чайками, с этими павильонами и стариком-фотографом с игрушечной яхтой и прочим его реквизитом.

Он остановился: В песке была вылеплена скульптура. Друг против друга конь и маленькая стройная женщина. Их души стремились вырваться из земли, но тела были прочно утоплены в ней. Вот и я тоже...» — подумал он и вспомнил вчерашний день.

Все было таким же, как сегодня, но вчера он встретил женщину. Он пригласил ее в ресторан. Ей было 25 лет, экстравагантна, прямой нос, четко очерченный рот, резкий голос, замужем и даже есть ребенок, но в ней ни капли от семейной женщины (или так держится), журналистка, поклонница муз, и неизвестно, чего она хочет: любви, курортного романа или знакомства с интересным человеком, знакомства ни к чему не обязывающего.

Ее звали Лиза Рыскина.

Она прочла стихи Блока и спросила, кто их написал.

— Не знаю.

— Восхитительно, — чуть не заплакала Лиза Рыскина.

Она прочла стихи Есенина и спросила, кто автор.

— Не знаю.

Она пришла в еще больший восторг и прочитала стихи Горбовского.

— Это мой сосед, — сказал он.

Тогда Лиза Рыскина поделилась с ним своей биографией. Она сообщила, что живет в Горьком, что муж ее преподаватель исторического материализма, и она надеется, что они весело проведут время.

— Конечно, — сказал он.

— Давайте потанцуем, — предложила Лиза.

Когда они вернулись к столику, оказалось, что к ним подсела одна пара. Это был тридцатилетний майор в штатском и его жена. Они все познакомились, стали пить, и майор задал поистине майорский темп.

Они поговорили о том, о сем. Сколько было убито во второй мировой войне и сколько погибает сейчас людей в автомобильных катастрофах.

Майор задумался и сказал, что жаль Иосифа Висарионовича, который умер слишком рано.

— Почему же? — спросил он.

— Тогда было все ясно, — сказал майор, — кто наш, а кто не наш.

Он возразил: не исключено, что майор сидел бы в данную минуту не с ним, а там, — для пояснения он наложил два пальца на два пальца, изобразив решетку.

— Как вас зовут? — спросил майор.

— Я человек без имени.

— Не бойтесь, — сказал майор, — я сейчас в отпуску.

— Я неизвестный художник.

— У каждого человека есть имя и фамилия, место работы и место прописки.

— Его зовут Свет, — сказала Лиза Рыскина и на всякий случай улыбнулась.

— Остальное меня не интересует, — сказал майор. — Только зачем обижать великого человека.

Он рассчитался с официантом, кивнул им в знак прощания и повел свою жену к выходу, где на улице возле ресторана стояла его черная «Волга».

Так смутно помнилось это вчера. Из-за чего они в дым разругались? Попробуй пойми. И повода-то особого не было. Они долго шли по каким-то сумеречным аллеям в глубину парка. Наконец, увидели каменный дом с темными окнами и зажженным фонарем у входа. Перед домом был стол и скамейка, а дальше кусты и там чья-то машина. Они сели на скамейку. И тогда он понял, что пьян вдрызг. Но игру следовало вести до конца, хотя и не хотелось. Он посадил ее на стол и обнял ее колени. Она позволила ему гладить себя. В желтом электрическом тумане он ласкал ее ноги, но закон игры требовал от него дальнейших действий. Понимая всю никчемность, он опрокинул ее навзничь на стол и попытался раздеть. Она вдруг яростно стала сопротивляться. «Не буду, не буду, — сказал он покорно, — мне ничего от тебя не надо. Я очень устал. Можно, я посплю полчаса». Он растянулся на скамье, положил голову на колени и тотчас успокоенный заснул, как будто только это ему и надо было: услышать нежность и доброту ее тела. Потом она стала тормошить его, а он никак не мог проснуться, она начала злиться, а он все спал, и тогда она ударила его по щеке и крикнула: «Подонок». Он вскочил на ноги, удивился, обиделся, и тут они разругались. Он сказал ей, чтоб она скорей возвращалась в свою лимонадную жизнь, читала Блока, поила водкой всяких сопляков и восхищалась своим мужем. Она повернулась и пошла по дорожке, высокая, прямая, запрокинув голову, сжимая и разжимая кулаки от ярости.

Господи, зачем ему это надо было. Так прекрасно жилось без женщин все эти десять дней, без волнений.

Ведь он от нее ничего не хотел, глоток тепла и доброты, всего-навсего. Как теперь домой ехать с этим мусором в душе.

Он ослепительно — в прозрении — увидел свою жизнь, ту жизнь, которая когда-то, давным-давно, казалась ему убегающим вдаль полем, полем любви, открытий, путешествий и нескончаемой юности... Он пропустил, наверное, тот летучий миг, пробежал, проглядел, как это поле стало округляться, таять по краям, стискиваться, ограничиваться, пока не превратилось в маленькую сверкающую точку, словно острие копья. На этом узком пространстве он жил со своими тридцатью годами, ссорами, пьянками, безнадежностью и преданностью картинам, которые ни разу не выставлялись — их покупали только редкие ценители живописи; на острие копья вместе с ним обитали: отец, добрый, уставший человек, который через все испытания вынес одну заповедь — в *ы ж и т ь*, чего бы это ему не стоило, но чего это ему стоило, каких потерь, каких утрат, душевных ампутаций, он никогда никого не судил и читал в основном биографии великих людей, так, как во времена Сервантеса читали рыцарские романы; мать, орденоносец войны, вместо левой ноги протез, через край бьющая энергия, лекции в обществе «Знание», два раза в неделю плавательный бассейн, красавец-любовник в образе капитана летных частей с орлиным носом и белозубой улыбкой (зубы вставные), однажды Свет, его мать и капитан лихо провели вечер в Поплавке; жена, маленькая, изящная, черные локоны, высокие мечты, вспыльчивость, ревность, обманутые надежды (ждала принца, а получила краснобая и неудачника); сюда, на острие копья, укладывались его работа на заводе, где он писал плакаты и лозунги, чтобы заработать на хлеб; кафе-мороженое, куда он ходил по вечерам с женой; кухня, где он встречался с родителями за обедом;

и разные квартиры, в которых он выпивал с приятелями или случайными приятельницами.

И вот копье накренилось, и он почувствовал в испуге, что соскальзывает с него в пустоту, что он сейчас упадет в эту вафельную волну, захлебнется, и она его подкинет и бросит лицом о дно, прорвет о песок и поволочет, поволочет в черную глубину.

В мольбе он протянул к ним руки, чтоб кто-нибудь кинулся ему на помощь, схватил его и удержал своей любовью, но они медленно пролетали, неощущимые, над землей, мимо, мимо, скользя по нему взглядом и словно бы не видя. Отец спешил дочитать Плутарха, мать торопилась на свидание, жена тоже куда-то бежала, а друзья опаздывали на телевизор, чтобы посмотреть встречу сборных команд по футболу на первенство мира. Он бежал за ними вслед по берегу, бежал от кипящей волны, сам не зная, за кем, потому что уже давно он стал для всех посторонним.

...Он заметил это в себе только месяца два назад. Он приехал на день рождения двоюродного брата, университетского преподавателя. На четвертом этаже в однокомнатной квартире во втором часу белой ночи, будучи пьян и не пьян, он стоял один у распахнутого окна, из которого открывался вид на пустырь, новые стандартные дома и гнилое небо. За спиной полупьяное общество, брат, его друзья, жена, сумбур речей, фраз, слова, как молоток, били его по затылку: «искусство, спорт, политика, нелюбовь, власть, водородная бомба, Китай, США, Гана», тасуй их словно карты, что от этого изменится. «Тошно жить».

Он стоял, покачиваясь, у окна. Надо сию минуту выпрыгнуть отсюда. Но если идти к вешалке и натягивать на себя пальто, все равно незамеченным не ускользнешь: всполошатся, окружат, будут уговаривать, хватать за рукава и придется что-то объяснять, оправдываться, что раньше всех, что завтра на работу, а сил на это никаких и глупо что-то объяснять.

Уйти через окно? Уйти сразу и навсегда. Но куда? На этот асфальт с грязными лужами? Секунды сладкого полета, и кровь, асфальт, скорая помощь, отрезвевшие лица вокруг, его живой человеческий глаз снизу, с земли смотрит на них, отсутствие боли, неловкость и стыд, и вечер испорчен, и, конечно же, он снова в пленау у них. Стоя у окна, он подумал: «И пошло умирать...» — «Вот когда я был в Югославии», — услышал он голос доцента, стремглав выбежал на улицу, и там его вырвало. И побежал дальше...

Очнулся он у курортного вокзала. Безлюдный перрон, сомкнутый строй деревьев по ту сторону рельс, деревянная станция, фонари, вверх серп месяца. Две тени бежали, то позади, то впереди, не отступаясь от него — тень электрическая и тень лунная.

Бог сделал человека подобным тени; кто сможет судить о ней, когда с заходом солнца она исчезнет.

Но ведь и Бог давно умер? — с отчаянием подумал он, перейдя насыпь. Рельсы убегали в незнакомую даль, и он пошел вдоль них. Вскоре и станция и перрон скрылись из вида. Он встал на колени, оперся на локти и прислонился щекой к рельсу. Железный холод проник, словно яд, в ухо и спустился к сердцу. В голове произошло в некотором роде затмение. Он еще только примерился, но отчаяние и мука самовольной смерти уже охватили его помутневшее сознание.

— Эй, вы, что тут делаете? — стегнул его грубый оклик. Он приподнялся, встал, пошатываясь, туманно разглядел человека в железнодорожной форме.

— Да вот, — сказал он запинаясь, — как рельсы гудят, слушаю.

— Освободите путь, сейчас электричка подойдет... Вы в своем уме?

— Конечно, — он виновато улыбнулся. — Я просто гулял, понимаете, вспомнил, как в детстве слушал рельсы, — он развел руками. — Я не знал, что электричка.

— А кто бы за вас отвечал? — пожилой железнодорожник укоризненно покачал головой. — Добро хоть, что я оказался невдалече. Не случись так...

— Я сам...

— Чушь собачья... Сам... У нас каждый за кого-нибудь отвечает. Я отвечаю за исправность путей и за тех, кто шляется в неурочное время. За меня отвечает мой начальник, за него отвечает его начальник и так далее... Это же вам не игрушки, а железная дорога. Вот бы вы легли щас на рельсы, если б не я, что было бы? Машинист, ясно дело, нажал бы на тормоза, но поезд ведь на скаку не остановишь. Он бы переехал вас поперек, все бы повыскакивали из вагонов, график бы нарушился, а на другой день, глянь, кто-нибудь бы и соблазнился вашим примером...

— А что если за каждым из нас гонится поезд, — сказал Свет. — Так не лучше ли не убегать от него из года в год, а пойти ему навстречу, смело пойти навстречу.

— Вы щас малость не того, — сказал железнодорожник и покрутил пальцем у виска. — Но ежели б и так, что с того? Весь секрет в том, чтоб этот поезд не замечать и не принимать его в расчет. И вы проживете вполне нормальную жизнь.

— Но я ведь заметил этот поезд.

— Стойте на месте, говорю вам, и делайте свое дело. Хоть бы ради тех, кого вы любите.

— Я никого не люблю.

— Во брехня... — рассердился железнодорожник.

— Нешто есть такой закаменелый человек. Вы обыщите свою память, обыщите и, провалиться мне сквозь землю, если не найдете... Пойдемте со мной отсюда, подальше от греха, я отведу вас в сквер, вы посидите там, подумаете и вспомните человека, которого вы любите...

В сквере тихом, сумрачном, сидя на скамейке, он углубился в свою память. Он перебрал всех, кого знал

теперь и с кем знался, но любви ни к кому не услышал. Она была когда-то, но со временем постепенно и незаметно она испарилась, высохла, как стоячее озеро без притока свежих вод. Он оставил их и пошел назад, в прошлое, в чащу лиц, это было движение назад и вниз по спирали, кругами, туда, где струился самый яркий свет, свет его юности. Университетская набережная, лодочные прогулки, сборища в мастерской художника, его обступили прекрасные, одушевленные лица, свежие голоса, ирония, свобода мыслей, но все это, он знал, давно растворилось в пространстве, а лица окаменели от неудач, затвердели в бедности, измениах, водке, и он, слегка согревшись, спланировал еще ниже — в детство. Школьные коридоры, парты с надписями: «Свет + Вера = », «Свет — дурак», каток, драки, романы Дюма, но и там он ничего не нашел, кроме глухого одиночества, обид, вечной настороженности и презрения к учителям. Он вынырнул из школы и перенесся в свой двор, в ту пору, где ему было 7 лет. Он увидел лицо соседа и дальнего родственника Ивана Захарова, увидел, словно в бинокль.

Иван был хронически без денег, добр, мал ростом, неказист, теперь это ясно, по профессии столяр, кому надо сделать полочку, кому столик, пожалуйста, пропадал в пивной с бывшими фронтовиками, уезжал один на рыбалку, имел сварливую толстую жену, которая изменяла ему налево и направо, а он и виду не подавал, еще кучу детишек, души в них не чаял, он был всеми любим, несчастен, весел, хоть более нищего, чем он, с огнем не сыщешь во всей дворовой окруже, и, как ни странно, позднее, когда он умер, все поняли, что он был единственный святой в их жизни. Свет вырос, и тоже, хоть с запозданием, полюбил его, и вспомнив и его доброту и щедрость, в мыслях назвал святым, но смерть и дистанция времени лишили эту любовь плоти.

Итак, душа, облетев, как ночная птица, круги жизни, вернулась обратно в сквер. Но он опять услал ее на поиски, и она вновь исчезла. Спустя время из темноты сквера простили три стены, а четвертой не было, как на сцене. Комната, письменный стол, торшер, за креслом старик. Такой милый старик, он склонился над листами бумаги, лоб его нахмурен, в глазах участие и боль, рука сухая сжала перо, и перо бежит по бумаге. Он пишет письма. Пишет в пользу тех, кто потерпел бедствие. Он пишет без особой надежды на успех, но он не сдается.

Хороший старик, сказал Свет, пригласи меня в гости, и я прилечу. Пригласи меня, пожалуйста, к себе, потому что мне некуда пойти. Потому что я люблю тебя, хоть и в глаза не видел. Я бы хотел тебе это сказать.

На следующий день он вернулся в свою прежнюю жизнь на острие копья с намерением, если удастся, снова полюбить всех тех, с кем он был связан одной веревочкой, и, может, тогда что-нибудь да изменится.

1977

ПЕРВОЕ ПРИЧАСТИЕ

Перевод с сербско-хорватского

А что, если я не такой памятливый и честный, как Мать думает? Она мне в сумку собрала полдник и сказала: «Гляди, не ешь, пока не причастишься, а то стыда не оберешься...»

А я, голодный и испостившийся — шесть дней пост держу, — забудусь да и пожую до причастия... Нет, забыться я не могу, могу быть жадиной и врунишкой — поесть и промолчать. Поесть и промолчать, а — Господь-то Бог явится перед всеми и объявит: «Вот он, который оскоромился, а то бы причастился и получил отпущение грехов своих».

Нет, не притронусь, только твержу себе: — Нет, не смеешь ничего в рот взять — ни еды, ни воды, одну слону — она из тебя, да только и ее не слогти, покажи, что ты не слабак, что и слоны своей не слогнешь...

Полдник — это сегодняшний завтрак, но я его зову полдником, потому что в школу я всегда носил полдник, — так вот полдник у меня роскошный и чертовски вкусный, соблазнительный: сливки в кубышке, два яйца, две луковицы, копченое мясо ломтиками и лепешка в чистой тряпице. Мать, когда набивала мне сумку, сказала: — Поделись с Родичем — у него, у сиромахи, ничего, кроме сухого сыра и кукурузы. — А я подумал: — Дал бы я Родичу, если б не сегодняшний день, а сегодня Бог всех видит, и это увидит, и мне наперед в грех поставит...

Никак не припомню за собой никакого греха — оскоромиться, вот был бы грех настоящий, непростительный... Ну, виноват я, хоть и не грешен, что все только

играл да читал, зато у меня время быстрей бежало после Бабушкиной смерти — словно не прошло уже больше месяца, словно я сам хочу Бабушку забыть... А как Бабушка умерла — никто меня и не поцелует, когда я в школу ухожу. Мать часто только злилась на мои телячьи нежности и, сколько я ее ни просил, не хотела мне даже пожелать: — Доброго тебе пути! — Я за уговорами боялся в школу опоздать, а без «доброго пути» уйти не мог, а то какое несчастье случится. Но я знал, что Мать скажет положенное как раз тогда, когда я совсем уж растеряюсь, когда угрызенья, что опаздываю, и страх, что случится несчастье, вырвутся из меня воплем. И она уж напоследок кричала: — Ладно, доброго тебе пути! — и это «ладно» значило — она не то что признаёт, что больше не сердится, а просто забыла и простила: могу, мол, спокойно и бесстрашно убегать. Но сегодня утром Мать — хоть и укладывался я вчера с непростительными проказами, — сегодня меня Мать проводила до берега, до Реки, поцеловала на прощанье — и поцелуи ее были крепче и горячее Бабушкиных, и пожелала мне, я еще и не попросил: «Доброго тебе пути!»

Рассвет едва мерцает на востоке над горою: мне надо тронуться в путь по темноте и на заре быть возле школы — это и не школа, крестьянская изба на краю села, а настоящая школа сгорела в войну, развалины торчат посреди села, — оттуда, чтобы поспеть к заутрене в далекую церковь, останется примерно час хорошей ходьбы. Но я хоть и боюсь темноты, а иду без боязни: ни волк, ни оборотень, ни злой человек, ни бес не тронут меня, когда я иду к причастию.

С берега спрыгиваю, почти наугад, к Реке. Нащу-пываю тропинку и иду вверх по течению, прориаясь сквозь черный ольшаник. Но на мосту... Едва различаю мост — а он и не мост, а мостик, два бревнышка, сбитые поперечинами из стесанных кольев. Ох, думаю, не зацепился бы верх постола за поперечины, не

скользнула бы — гололедица ж! — подошва. Надежно надо нащупывать ногами, упираться. Река бурлит — тут бы и хороший пловец утонул, куда там ребенку: а я, все говорят, еще ребенок, хоть мне летом и пойдет девятый год...

Прежде чем ступить на мост, я оборачиваюсь к берегу, хоть и знаю, что Мать поспешила по делам и не могла бы мне помочь, если б и увидела, что я упал в Реку... Не видать ни Матери, ни берега возле мрачных, непроглядных холмов...

И должен я один-одинешенек идти, куда следует идти.

Но Река словно меня узнала — взволновалась и встречает бурливо-гостеприимно, а мост безобманно предупреждает мои ноги о скользоте и перекладинах... Главное — пройти до середины моста; остальные пять-шесть поперечин перелезть — и быстрей, и безопасней. Я не упаду в реку: я осторожен, как только может живое существо, а грехов я столько не совершил, чтоб за них со мной такое приключилось...

И вот я, радостный, на том берегу: живо взбираюсь по откосу, хоть в лесу меня ждут потемки, а в потемках подстерегают и перекликаются звери и привидения. А, перекрещусь, когда буду входить в лес, — крест, говорят, бережет и спасает от всякого зла и всякого призрака... В лесу еще и топко: намочу, запачкаю новые постолы и чулки из мягкой мытой шерсти, осторожно ступать, как сейчас, не сумею...

Взобравшись наверх, уже в лесу, останавливаюсь, будто бы передохнуть, а по правде — прислушаться. Тихо — словно лес сговорился против против меня с разбойниками и зверями... Лучше не думать, не прислушиваться...

Но, когда я останавливаюсь в лесу, отыскивая наощупь дорогу, с радостью узнаю тоскливо уханье совы, визгливую перекличку белок в буковых дуплах. А я сам устраиваю самый гулкий, самый неслыханный

шум: шлепаю по грязи, шуршу листьями, похрустываю по валяющимся сучьям. Но путь нахожу безошибочно: мне нельзя заблудиться, я иду к причастию.

Вхожу в самую чащу, в самую топь. Нашупываю камни, чтоб не утопить обутку... И тут, именно тут, неожиданно, неизбежно, слева надо мной ломается ветка. Я замер на камне посреди болотца: в лесу так все страшно затихло, только слышно, как потряхивает лес от моего страха, как у меня колотится сердце... Я еще на краешке чащи, лучше бы всего бегом и обратно — когда бежишь, не так боишься — хоть бы и не до самого дома, а до первой прогалинки и там подождать, пока разъяснится. Но тогда я опоздаю. Знать бы, что сломило ветку! Тишина и темнота непроглядные. Мои поиски дороги разбудили Нечто, это Нечто сломило ветку, а потом притаилось, стережет меня, ждет, пока я двинусь, чтобы двинуться за мной, на меня. Нет, мне нельзя опоздать — сколько сраму было бы, как бы я объяснялся? Надо, надо — во тьму, чащу!.. Я делаю первый нетвердый шаг в тишине, которую долбит шум крови в ушах — нет, это Нечто еще меня не слышит. Потом быстро и легко, все легче, ступаю несколько шагов, добираюсь до сухого места и снова прислушиваюсь: по-прежнему тихо, хоть Нечто могло двинуться и остановиться, когда и я, а я его не слышал за шорохом своих шагов. Почему меня Мать не проводила через лес? Она не может дом оставить, скотину, и брата, и сестру. Не умерла бы Бабушка, была бы Бабушка жива — она бы и осталась дома. А может, может, Бабушкина душа защищает и хранит меня? И вдруг я догадываюсь: Ах, всё оттого, что я, входя в лес, забыл перекреститься — думал про всякое, про хорошее и страшное, вот и забыл. — И я поворачиваюсь туда, где Оно должно бы быть, и крещусь три раза, словно говорю: — Гляди, я крещеное творение, сгинь, оставь меня в покое. — И

я делаю первый, медленный шаг, потом убыстряю и иду как можно обыкновенней.

Приходят в голову озорные, приятные мысли, а с ними и уверенность... Я остановился еще несколько раз, но уже без умысла — сумку поправить, обутку подтянуть. Беличий визг меня обрадовал, словно я старого знакомого встретил... В конце концов я задумался: — Чего было бояться? Я же к причастию иду, нет такого зла, что мне в этом посмело бы помешать.

В раздумьях, в размышлениях все растаяло: лес и страх, это самое Нечто, дом и Бабушка... Бог все видит и всем правит. Мне сегодня предстоит соединиться с Ним — отхлебнуть и откусить от Сына Его, Который Собой пожертвовал, чтобы искупить грехи людские и спасти род человеческий... Непонятно мне, как можно откусить от кого-то, кого тут нет, и как искупают своей жертвой чужие грехи. Но это так! Во-первых, все в это веруют и мне эту веру передали, а главное, что люди, и я с ними, живут во зле, среди злых сил, которые бы нас совсем подчинили, если бы добрая сила нам не помогала. Пускай оборотни и упыри, русалки и лешие с пути человека сбивают, бесы его душу искушают, волки и медведи, дикие лошади и быки его подстерегают, змеи шипят на него из своего логова. Человек все время то поранится, то ударится, о камни спотыкается, в воде тонет и в огне горит, дождь его мочит и солнце палит, мороз леденит и ветер до костей пробирает. Рога, клыки и зубы, колючки и жала отовсюду, со всех сторон. Как бы человек отбился, если б не помошь добрых сил, которые во всякой твари есть, во всем живом, в зле самом, сни за человека, они его хранят — если он и честный, и разумный, и все равно к ним идет за подмогой. Бабушка утопленников вызывала и стучала клюкою в камень, разговаривала и с камнем, и с деревом и заговаривала их, а Мать все повторяет: — Кто честный, тому нечего бояться. — Правда это, что Мать гово-

рит: будь честным, хоть бы и не легко это давалось. Но надо, чтоб Бог помогал человеку. Мимо Бога ничто не проходит, Он все может. И Сына Своего послал, людям в поучение. Но люди Его распяли, а теперь вкушают Тело Его и Кровь — Муки Его, чтобы прощение получить, чтобы соединиться с Богом...

Война кончилась, австрийцы отступили прошлой осенью — пока они, чужаки, были в нашей стране, причастия не было. Но будто и не кончилась война: леса полны мятежников, их дома жгут, их сообщников до смерти забивают. Причащаются ли австрийцы? Бог и о них заботится, так что, наверно, да. А наши, бунтовщики и гонители? Они причаствятся, чтобы как будто больше не грешить... Но им приходится греховать: одни других преследуют и убивают. Еще их Бог не смирил, еще в них зло крепнет...

Тут я соображаю и замечаю, что и я немало грешил. Даже и в эту неделю поста, подготовки к причастию. И это верный грех, и неоднократный! Случалось это всегда как-то невольно: начну защищаться от чьих-то жалоб и мало-помалу начинаю лгать. Чёрт попутал — но иначе я не убедил бы Мать и не избежал бы битья! А как с ребятами не драться, когда они такие подлые, — они бы мне глаза выцарапали и почки отбили, если б я не защищался!

Теперь я искренне каюсь за все свои грехи. И все их вижу перед собой — не по отдельности, но собранными в ощущимый комок грешности. И весело выхожу из лесу, поскакивая с ноги на ногу, в белую, слепящую зарю.

Я не забылся — ничего не ел и не пил. А могло такое случиться, особенно когда меня Нечто в лесу испугало, — я тогда, пока не помолился, ни о чем не думал, кроме как спастись. Да, наверно, это был дьявол — он сломил ветку, чтобы я запамятаовался и откусил бы от мяса или напился бы из ручья. Но Бог уберег мою память, а Его ангелы хранили меня. От

этого-то я теперь веселый, а не от того, что вышел на простор из мрака.

Еще осталось обогнуть курган Арапову Могилу, и буду возле первых домов села... Но это не пустяк: Арапова Могила — это и вправду могила одного такого Арапа, что воевал здесь и погиб; был он, конечно, черный и трехголовый, как в народной песне, и сердце бы остановилось, и память бы оставила, появись он даже живым, а не привидением. Но, по счастью, я не знаю, где его могила, а значит, не знаю, где мне пугаться, да уже где-то и петухи петь начинают, только я их из-за кургана не слышу, — злые духи поразлетелись...

У меня два учителя — старый и молодой. Старый нам приказал принести сегодня цветы. А молодой — молодой ничего не приказал. А мы, дети, знаем почему: он коммунист — в Бога не верует и к причастию не пойдет. Мне больше нравится второй: он нас никогда не бьет, хорошо рассказывает, не смеется над нишими и дурачками. Жалко, что он нас не будет водить в церковь: может, потому я и забыл взять цветы...

Хорошо, что село наше под горой, на берегу большой реки, хоть и нету в нем самого лучшего весеннего цветка — яблана, купальницы. Светло-желтый, недолговечный, нежно и сильно пахнущий цветок: он так разрастается, что горные пастбища, еще темные и мерзлые после таяния снегов, истекают золотым ароматом. Есть и дерево-яблан — не яблоня, а тополь, стройный и высокий... Когда Бабушка хотела погордиться мной и в то же время подразнить меня, говорила обычно: — Яблан ты мой! — Так я теперь и не знаю, а спросить кого-нибудь стыдно, про тополь Бабушка думала или про купальницу...

Весенние цветы — хрупкие и слабо пахнут. Анемоны и подснежники отдают промерзлой землей, ландыш ударяет ароматом горькой зелени. Кое-где нахожу фиалку, убежавшую от колючих зарослей, и украшаю букет ее голубыми глазками с желтыми зрачками.

К школе я прихожу вовремя — еще и половины школьников не собралось, и только пять-шесть пришли с цветами. А которые не принесли — говорят: — Чего бы это цветы? — Старый учитель будто и забыл, что приказал принести цветы. В наших краях цветы никто не растит, ароматные и лелеемые цветы встретишь только в песнях. А все-таки с цветами лучше — сегодня-то. Друзья мои удивляются, как это я поспел так рано да еще цветов набрал: я бы похвастался ранним вставанием да молодечеством, когда бы это не сегодня. Невольно скромничаю: Мать, мол, по темноте разбудила...

А Родич мой опоздал — как всегда. Не стоило бы мне идти с ним в паре: он плохой ученик, хоть мог бы быть из лучших, и большой плакса, хоть сам затевает ссоры. С ним приятно дружить, когда никто не видит, — он такие тогда проделки выдумывает! Но сегодня — сегодня никого не нужно избегать: я становлюсь рядом с Родичем, хоть и боюсь, как бы он не втянул меня в какую-нибудь проказу до причастия.

Я думал, что никто, кроме меня, не чувствует, что сегодня с нами произойдет нечто судьбоносное, такое, что больше не повторится, но укрепит в сопротивлении греху и злу. Однако и другие вымыты, одеты в чистое, улыбаются, глаза блестят, и — это особенно видно — внимательны и добры друг к другу. Все во всем сдержаны, даже ступают так, словно боятся земле больно сделать.

И учитель в хорошем настроении: нет, сегодня он никого не ударит. Мы уже построились парами и направляемся к церкви. Учитель говорит: — Берегите цветы, те, кто принес; украсим иконы в церкви...

В нашем селе нет церкви — я никогда не был в церкви. Но я знаю из чужих рассказов и своих размышлений, как выглядит церковь и чему она служит. В ней люди собираются на свидание с Богом. Бога не видно — Он невидим, но когда они соберутся помолиться и

когда простят друг другу все, что плохого подумали, — Бог сидит среди них. Церковь — вроде как большой каменный дом, и вся изрисована ликами ангелов и Божьих угодников — человека жуть берет, хоть они ему только добра желают.

Путь до церкви тянулся долго-предолго, как всегда, когда идешь по новым местам. Дорога широкая, грязная, дома ближе друг к другу, чем в нашем селе. Вокруг поля, все одинаковые, спускаются к белым бродам реки. И гора здесь ближе — начинается от равнины и отвесно поднимается в небо.

Церковь посреди равнины и на виду. На взгорке недалеко от церкви — общинное правление, здание, которое показалось мне огромным. Тут же около церкви и правления жители собираются на сходы. Сама церковь кажется мне маленькой и низкой — рядом с правлением и по сравнению с тем, чего я ожидал. Зато она вся из тесаного камня, сверху донизу. Австрийки не сняли с нее колокола, им, говорят, было слишком далеко тащить его до проезжей дороги. Вот я и колокол слышу — впервые: люди рассказывают, что нету голоса милее — он к Богу взывает, и им Бог гласит.

Возле церкви уже собралось много крестьян, выстроились школьники из ближней школы. Церковные врата открыты, оттуда выходит долговязый лысый человек и говорит: — Попа нет, а пора начинать! — Меня это поражает. Слышно ворчание крестьян и хот школьников. — Значит, и служба Божья может опоздать? — спрашиваю я сам себя и думаю: — Это ведь не такая работа, как какая-нибудь другая, можно бы и без попа: соберутся люди в церковь, на освященное место, и молятся Богу...

Но вот и Поп появился, на буром коне. Я его узнал — он к нам в дом приходил. Он высокий и очень красивый — борода желтая, как скадарский табак, а глаза золотые, как дукаты. Выпивает — это я заметил, когда он был у нас дома. И женщин любит — об этом рас-

сказывают и по-разному на это смотрят. Но опаздывает он не из-за этой слабости: приход у него большой, десяток рассыпанных сел, а он один-одинешенек. Лысый принимает коня и привязывает его к изгороди перед низеньким домишкой. Этот домишко, я слыхал, корчма: тут идет выпивка — кое-кто напьется и после причастия.

Сначала пускают в церковь нас, школьников. Переходя порог, мы крестимся; я возбужден и как-то радостно перепуган. Нас встречает дрожащее сияние свеч и запах чего-то застоявшегося, но приятного и вызывающего смирение. Перед нами из полутьмы возникает стена со святыми, у них мечи и копья, а руки подняты кверху: все это жалко, и неярко, и нарисовано на глянцевой бумаге — чуть лучше, а то и не лучше, чем иконки в деревенских домах, купленные у книгонош. Но это, пожалуй, неважно: святые тут не для того, чтобы блистать, а чтоб людям помогать. За ними слышно движение, потом с правой стороны отворяется невидимая дверца и выходит чернобородый тощий монах в епитрахили. Монах зажигает свечой свечи на высоком деревянном столбе — он это делает, как делал бы любую другую работу. Я все-таки побаиваюсь этих неуклюжих бумажных святых: сквозь их неотступные глаза посматривают откуда-то с неба те настоящие, строгие и всемогущие, хоть монаховы движения и напоминают мне, что все обыкновенно, как всякое людское дело. Я осторожно осматриваюсь, разглядываю внутренность церкви: стены голые и заканчиваются сводом. Школьники и народ быстро заполняют и без того тесное помещение... Я заметил, как старики, те, что еще носят оружие на поясе, оставляли револьверы и ножи на паперти, возле церковных врат. Это мне нравится, трогает меня. Это выглядит чем-то особым, неслучайным: вот, существует место, где и молодецкие воины откладывают оружие, где люди и кровного врага не боятся...

Нас, школьников, все время проталкивают вперед: теперь я гляжу на святых снизу, но они на меня глядят неотступно, по-прежнему прямо на меня. Учитель показывает нам круг из тесаного камня, посредине перед алтарем, и тихо предупреждает: — Богородицын круг, смотрите не наступите! — Да, я об этом слышал, хотя этот, едва отличимый от остального фона, не внушает той уверенности, что в рассказах: кто, мол, кроме священника, станет на этот круг, под тем земля отворится и поглотит его или так уродливо искалечит, что народ на него будет пальцем указывать: — Вот он, тот, что побывал на том свете!..

Цветы, конечно, оказались лишними — нечего тут ими украшать, даже если б мы могли достать до икон. Учитель подает нам знак разбросать цветы по полу: — Пусть пахнут! — Но их запах не слышен за ладаном из монаховой кадильницы.

Наконец, по незаметному сигналу, всякое движение прекращается, всякий шепот смолкает. Из-за святых, из алтаря, раздается мощный и мягкий голос Попа.

Поп произносил слова, точного значения которых я не знал, хоть многое запомнил из молитв и из всей службы. Но эти неясные слова какой-то особой силой заставляли меня воспринять их и даже понять. Монах то входит, то выходит сквозь боковую дверцу, а иногда отворяет Попу. Откликается пением лысый крестьянин из-за высокой деревянной загородки справа от меня... Был бы здесь мой отец, припоминаю, он бы пел вместо этого сиплого и бесслухого плешивца. Но он где-то далеко, на воинской службе: я только раз слышал, как он пел — в праздник святого Саввы. В селе его хвалят: — Лучше иного попа! — Пел отец тогда красиво, хоть и слишком громко: подвыпивши был, хотя вообще пьет мало... — Боже, прости мне, что вспоминаю отцовские слабости!..

Литургия тянется долго. Она все непонятней, тем более, что я уже как будто и не среди людей: намалеванные святые глядят вопросительно, отворачиваются и с трепетом листают своими костявыми пальцами книги и мои мысли. И хотя Богородица — румяная молодица в синем платке и с младенцем на руках — с блаженным смехом прощает все наперед, я именно перед ней вспоминаю все свои прегрешения — Какие, которые? — твердые и неискоренимые. Едва решаюсь глянуть на распятого Христа, воздвигнутого над всеми святыми: склоненная вправо голова ранит из полутишины блаженной болью, в то время как из разутых ног, мерцая, сочится кровь. Нет, Его я не боюсь — только страшно, что Его боль заставит меня разрываться... Зачем, зачем Его должны были распять, музычить?.. Сыне Божий, не дай мне погубить себя, не дай опозориться...

Пение унесло меня в багряный туман, где нет никого и ничего, кроме сладких чар. Но два святых посередине алтаря вдруг скособочились, и каждый открыл свою половину дверей: вышел Поп, размахивая кадилом и овеивая нас незнакомыми, но понятными словами, он наплывал золотыми ризами, внимательно-строгий — словно сошел с одной из икон. Все быстро стали креститься, и я тоже, хотя и был недоволен: не успел загадать желание.

Скоро начнут причащать нашу школу... Мне повезло: обряд начинается не с меня — увижу и запомню, как надо держаться...

И все-таки, когда доходит до меня, я весь дрожу, и мне кажется, что я поскользнусь и упаду. Монах вкладывает мне кусочек хлеба в рот, а Поп вливает ложечку кислой красной жидкости и вытирает мне полотенцем подбородок, на котором и так не было ни капельки: говорят, куда упадет капля причастия, там огонь вырывается.

Теперь, после того как я ожидал, что все мое бытие будет иным, я сразу прихожу в себя: — Ну, в самом деле, я не храбрый и не был храбрым. А вино — я слыхивал, что оно кислое, но не мог поверить, что Христова кровь терпкая и — возможно ли? — неприятная. А чудно: ничего со мной не случилось, тот же самый, как и раньше был...

Обряд мне показался заурядней, чем по рассказам. Но, с другой стороны, появилось нечто новое и приятное: различие между мной и взрослыми, которое я раньше принимал, вдруг стерлось, навязанное и беспричинное, больше я не буду стесняться спрашивать взрослых обо всем, что придет мне в голову.

Так я узнаю — в ожидании обеда, пока причащаются остальные школьники из моего села, — чьи это могилы из тесаного камня на кладбище возле школы. Это были вожди племени — устабаши, священники, богатеи; сабли, гербы и ордена вырезаны возле имен. Сам разбираю надписи на крестах, не очень-то четкие; из того, что запомнилось: одних убила рука злодея, другие пали в бою, а некоторых сожгли заживо, потому что они срубили по десять, двенадцать, а то и по семнадцать турецких голов.

Крестьяне и школьники, выходя из церкви, идут к могилам своих родных и предков. Но никто не плачет, не нарекает — не такой сегодня день. Повсюду развязывают сумки и прямо здесь, на надгробных плитах и на краю кургана, принимаются за еду — словно и мертвые присутствуют на трапезе после причастия. Здесь нет могил моих предков — мой отец переселился издалека. Меня до сих пор охватывал озноб, даже отвращение, на нашем сельском кладбище, среди могил, — каждый раз. А здесь мне эти могилы близкие, свои уже. Оттого ли, что у племени этого героическое прошлое, сжатое в надписях и живое в этих людях? Или причастие сблизило меня с людьми, мертвыми и живыми, хоть не моего рода и не моего села?.. Хоро-

шо, славно лежать в одной из таких могил, встречать внуков, и правнуоков, и незнакомцев и слушать, как считывают с камня твою жизнь и заслуги...

Сел и я — когда принялись обедать — на незанятую, заросшую могилу. Позвал и Родича. Серые в крапинку, навыкате глаза и налезающие друг на друга зубы придавали его смеху озорство: — Я ел, — говорит он, — но только немного сыра и хлеба. — Как ел? — удивляюсь я. — Ртом, зубами, — щерится он. — А причастие? — изумляюсь я по-прежнему. Он ловит вопрос на лету: — А причастие проглотил на сладкое...

Я не спрашиваю его: — И ничего с тобой не случилось? — По его озрному выражению лица я вижу, как насмехался бы он над таким вопросом. Я ем — за него и за себя. Надо было бы сказать о нем Учителю, а может, и Попу. Его бы побили; может быть, совершили бы над ним какие-то обряды — освободить его от греха. Но я не могу рассказать — не хочу быть доносчиком! — Это грех, великий грех! — говорю я сурово. И прибавляю, в надежде ради него и ради себя: — Ты от голода забылся? — А он, серьезно, чуть не плача: — Нет, я не был такой уж голодный. Просто не мог удержаться, подмывало меня, подмывало, не мог удержаться...

И меня подмывало, но не голод, нет... И сам не знаю что: запрет, любопытство, упрямство... Одни могут удержаться, а другие — нет. А почему? И почему Бог не помешал — не заморозил челюсти, не вывернул рот на шею, не очистил память?..

Ничего не поделаешь. Я Родича браню, но не очень сильно. А он: — Что было — то было!

На это его «что было — то было» я отвечаю, не пытаясь сдержаться. Откровенный гнев охватывает меня: — Это нехорошо, это нехорошо! — кричу я. А он, тихо и с невеселой усмешкой: — Не сердись на меня! И я знаю, что это нехорошо, но — не попра-

вишь... — Я вдруг успокаиваюсь и с недоумением заканчиваю: — Молись Богу, чтоб Он тебя простил, — нынче же вечером, когда ляжешь и никто тебя не видит. — А он, неуверенно: — Ну, Богу-то я помолюсь...

Потом на поляне, пониже церкви, были игры. Но я не участвую, не только потому, что я из младших и самых неразвитых, просто сам не хочу — сижу и размышляю про сегодняшний день... В конце концов мне надоедает зрелище игр и я ухожу к могильным надписям. Они мне еще ближе, но какой-то неодолимой, смертной близостью. И я думаю, как хорошо, как славно лежать в такой каменной могиле, — вот тебе, пришло в голову, и желания, непостижимые...

И я тихо плачу — от тоски и счастья, от восторга и недоумения...

Ночь прихватила меня возле Леса. И было мне страшно, еще как. Я придумывал, что скажу Матери, когда она спросит, один ли я шел сквозь лес, — солгу, но так, что это могло бы быть и правдой: — Одному мне было неприятно! — Так и взрослые говорят...

Но вечерний страх — не то, что утренний. Деревья, и камни, и леса отделены от меня, и я их внимательно испытываю как что-то такое, что может, но не обязательно, принести мне зло...

Начал ли я так с сегодняшнего дня глядеть и на людей?

СТИХИ

Игорь Померанцев

* * *

Ночь ранняя. Возможно, звездная.
Горит грибок. И у плеча
Ночные бабочки елозят.
Шушукаются. Шебуршат.

И мотыльки, слегка потрескивая,
Продолговаты и резвы,
Поводят спаренными лезвиями
У щитовидной железы.

Но тает лампа. Рядом где-то,
Отчётливо, у самых век,
Готические брови деда
И бабушки слоистый смех.

А вон мелькнула майка брата,
Девчачьих бантов крепдешин.
Высматриваю душу сада,
Где ни души, где ни души.

На золотом крыльце сидели...
И врассыпную. В гуще слив
Ловлю дыхание Елены,
Свое дыханье затаив.

Нечаянные эти прятки
Так будоражат, что душа

Ушла наполовину в пятки,
Наполовину в небеса.

Гляди, Елена, вишни слева.
Под яблонями правый край.
В июльских яблоках железа —
Что хоть магнитом их срывают.

Гляди, Елена, вот синица
В одной руке. Журавль — в другой.
Да будет сон мне сниться, сниться.
Я маленький. Мне хорошо.

ГЕРОЙ

(альбомный вариант)

Д.

Уже угадывалась мощь
Листвы сгущенной, спека цвета,
Уже угадывалось лето,
И шелестел грядущий дождь
И плавился на парапетах
Мостов и набережных. Где-то
Ущербная весна с приветом
Из тучи выбивала гром
Шарообразный. Нипочем
Влюбленным было все. Согреты
Воображаемым дождем,
В кулисах шаткого рассвета
Они свершали это, это —
Они свершали жизнь тайком.

Покуда автор отступал
Лирически и оступался,
Герой покорно ожидал
В подтексте, маялся и мялся,
Как, впрочем, даже мало-мальски
Не искушенный персонаж
Вот также б маялся и мялся,
Предвосхищая дрожь и раж.
Тем боле он,

Кашей-Лояльский.

Припоминаешь? Стар и сед,
Скорее моложав, но лысый.
Разлет бровей небрежно-рысий,
Точнее, аккуратно-лисий,
А может, и разлета нет.
Служитель рапортов и писем
И слушатель чужих бесед.
Пред ним мы рассыпали бисер.
С тобой он был искусствовед,
С Екатериной — живописец,
Со мной, естественно, поэт.
(Не злись, читатель, выход близок).
Опознан, узнан и описан.
Но где же он? Простыл и след...

Сквозь белопенные каштаны
Младшой столицы, обветшалый
Задор торговок, тарарамы
Трамваев, пленумов, подрамник
Моей поэмки балаганной
И даже в этой липкой, банной,
С оглядкой, вычурной строфе
Скуластость проступала драмы.
Героя не было. Ни с нами,
Ни на классической Неве,
Ни в Переделкине. Ночами

Сгорали светляки в траве,
Воронеж бредил Мандельштамом,
И снился Пастернак Москве.

«Достопочтенный стихотворец!
Не обессудь, что уха краем
На самой дальней из окраин,
На самой темной из околиц
Прослышал о тебе. Кошмарен
Твой новый замысел. О карих,
О голубых, о пальцах в кольцах,
О светлой амбразуре солнца,
О страстотерпцах, ратоборцах
Ты так закручивал! Опомнись.
Сатире даже в день базарный
Цена — свинец. Вот так-то, парень.
К—Л. Авансом благодарен».

Мне снились бархатные волны,
Лазурь библейская, огромный
В полнебосвода диск, а кроме
Лазури, диска, волн — по кромке
Волны граненой, зыбкой, ломкой
Скользящий силуэт, до боли
Знакомый. В полудённый час,
Не замочив лодыжек, глаз
Не прищурив, персонаж,
С которым пуд мы съели соли,
Шел сквозь эпоху и мираж,
Вдыхая острый воздух воли,
И шепота: «Прощай, подполье!
Читатель, автор, — вы подспорье.
Я был сокрыт — спасибо — в вас!»



А было время, помнишь, на перрон
бесплатно не пускали и за вход
взимали рубль старыми, тогда
еще охотно плакалось, а ныне —
и это уж не первый год —
чешуйки ящерёнок не прольет.

Вот ящерица юркнула. Вагон
так узок, словно я виски
руками стиснул.

Мы не увидимся. Ужасен проводник.
Сыреет в тамбуре его постельный лик.
Прижмись к моим губам и я, как стеклодув,
добуду поцелуй прозрачный, хрупкий,
сжимая ящеричный хвост подруги.

В закрытом пограничном городке
глаза нуждались в носовом платке
от умиления: всё тот же цвет,
всё тот же колорит,
что степь и униформы
так роднит.

Мы не увидимся. В уборной на вокзале
на миг в рукопожатии умрем,
я пошатнусь, в лицо дыхнёт карболка,
к глазам моим притронется иголка,
чтобы сломаться.

ПОМЕРАНЦЕВ Игорь Яковлевич — родился в 1948 г. в Саратове. В 1970 г. окончил отделение английской филологии Черновицкого ун-та, работал учителем и переводчиком. В 1972—73 гг. опубликовал две подборки стихов в журнале «Смена». Эмигрировал в 1978 г., живет в Западной Германии.

ОСЕННИЕ СНЫ НАЯВУ

Сон 1

Дело ночное, но память свежа.
Снилось мне: я от погони бежал
топким асфальтом в чем мать родила.
В бликах двоились нагие тела,
в лужах созвездия стыли дрожа,
шавок спускали с цепей сторожа,
в тучах вращалась луна, как юла...
Шутка ли — жутки ночные дела.

Жутки слова и глаза вспыхах, —
зеленью слез я навеки пропах,
в неотвратимости утра пропал,
слился с одним из безликих зеркал.
Нервно под ноги швыряя табак,
сбил с панталыку лохматых собак,
но, от отчаянья память дробя,
где-то в ночи потерял я себя.

Сон 2

Мне инстинкт советовал: — Не сетуй,
не тревожь солидную газету
гнусным и нелепым объявленьем, —
а займись-ка лучше обновленьем.

Помнится, ты мучился веками,
корчился от голода и стужи.
Растопи плиту черновиками,
пригласи меня на званый ужин!

Однозначен, но неодинаков
твой урон с мою жаждой мести.
Чепуху писал мессир Булгаков —
ты слагал стихи не на асбесте.

Убеганье вряд ли совместимо
с ремеслом создателя иллюзий,
но, покуда мы с тобой в союзе,
я тебе подкину верный стимул.

В зазеркалье не страшны облавы,
и отравы друг в вино не бросит.
Ну, смелей! Ты заработал право
отвечать вопросом на вопросы.

Так и быть, я даже чиркну спичкой.
Торопись!.. Как ты неповоротлив!..
Эхо прокатилось электричкой —
и завязло в зеркале напротив.

Если б не зажег он спичку эту,
я не раскурил бы сигарету,
что была, как водится, последней...

Сын заплакал в комнате соседней.

Сон 3

Ответь мне, брат, какой резон
глушить тоску рыданьем?
Судьбы туманный горизонт
висит над Иорданом...

Не оплатить любовью долг,
чтоб соблости обычай,

коль совесть, как февральский волк,
колдует над добычей...

Пустых затей гнилая суть
противна нам до дрожи.
Мы копим желчь, но улизнуть
от них — себе дороже...

Душа
предательств и обид
уже познала цену.
Далекий отзвук чуждых битв
ведет ее на сцену,

где чем бездарней — тем верней
гарантия успеха,
и отблеск красных фонарей
играет на доспехах...

Но вижу я — ты сжал эфес
потеющей ладонью —
и этим портишь весь эффект
от шутовской агонии...

Опять за старое? Гляди!
Судьба не терпит фарса.
Не забывай, что на груди
картонная кираса!..

Ты, видно, мало истоптал
барханов и сугробов.
Лишь нагота и слепота
верны тебе до гроба,

да страх, который затаен
в любом моем вопросе,

да сам я, твой кошмарный сон
и твой оруженосец.

Сон 4

Разве может быть хуже? —
мы к дождям привыкаем.
Расползаются лужи
с площадей до окраин.
Слой болотного ила
на заброшенных улочках.
Сохнут только чернила
в самопищащих ручках.
Не укрыться за лесом,
не упрятаться в сытость:
всюду эта завеса,
всюду серость и сырость,
всюду осень в атаке —
с флангов, с фронта и с тыла...
А со шпагой на танки —
это было да сплыло.
В интеллекте пробелы.
В чувствах рваные дыры.
Не пугают проблемы,
но мучителен выбор.
Дни листаем, зевая, —
но не спится ночами.
Стукачи обзывают
подлецов — стукачами.
Переходим на шепот
и потеем, как в бане.
Совесть, пьяная в жопу,
спит в заблеванном баре.
Материк перегружен
лжи и страха веками.

Все могло быть и хуже...
мы ж — к дождям привыкаем.

Сон 5

Как бормочут в ночи
ерунду о любви,
я бреду, избежав
непременной расправы,
и врастаю в толпу,
и бок о бок с людьми
уношусь от теней
и кошмаров кровавых.

Нескончаем поток
озабоченных лиц.
Отражается в нем
желтоглазое время,
и пожухлый до срока,
трепещущий лист
клеветы и стихов
носит тяжкое бремя.

В зеркалах тишины
преломляются сны —
с каждым часом трудней
обозначить границу
миража и судьбы,
и еще до весны
им, как минимум, трижды
дано повториться.

Дни мои сочтены...
Только это не так!
Я наплел про погоню
судьбе в утешенье...

Но витрины не врут:
я по-прежнему наг,
и спирали души —
как круги на мишени.

КАЛЕНДАРЕВ Борис живет в СССР — других биографических сведений о нем редакция не получила.

У самого дома взъерошенным кленом,
Мой день, ты еще надо мною шумишь,
И ты, моя улица, хламом зеленым
Завалена вся от подъездов до крыш.

Земля подо мною крутилась недаром:
Нет-нет да и свалит куда-нибудь вкось,
Но хоть ускользала вертящимся шаром,
А все ж уцепиться за край удалось.

И около красных заречных закатов
И рвов, и мостов, и холмов, и церквей,
Меня в огороженный дворик упрятав,
Бушуют косматые толпы ветвей.

Кирпичные тучи из труб отработав,
По целому небу костры разбросав,
За длинным оврагом литейных заводов
Грохочут и ночью и днем корпуса.

Так что же — вот это моя усыпальница,
Гробница моя и мой вечный покой?
Вот этой землей мое тело завалится
И станет когда-нибудь этой землей?

А там некрологом не очень подробным
Почтят на последнем газетном листке
И сделают надпись на камне надгробном
Совсем на каком-то другом языке.

Мы пушкинским словом бездонно-хрустальным
Еще и сегодня с тобою живем.
Так что ж тебе делать со звуком печальным?
Так что ж тебе в имени дальнем моем?

Зачем же опять я над сеткой железной
Тебе посылаю мой теннисный мяч,
Мой стих отрешенный, мой крик бесполезный,
Подхваченный ветром моих неудач?

Так что же мне делать с моей печалью,
Чтоб стать ей навеки печалью твоей?
Куда я с моими стихами причалю?
Скажи мне, куда я плыву без огней?

А может быть — ветер попутный со мною,
А может быть — я оседлю волну,
А может быть я, как высокой волною —
Высоким стихом до тебя доплесну!..

ЗАЯВЛЕНИЕ ЧАЛИДЗЕ

Арестован мой друг и коллега химик Виктор Капитанчук, известный своей активностью мирянин Православной церкви, член Комитета защиты прав верующих.

Власти преследуют правозащитников, не терпят религиозной активности. Но большая кара ждет ученого, который был активен в делах веры.

Капитанчук — один из многих арестованных за последние месяцы. Все безнадежнее кажется защищать их. Но помнить — это тоже своего рода защита — и помнить их будем.

В. Чалидзе

Оглянись в раскаяньи

В эти памятные и скорбные для Польши дни мы, советские правозащитники, хотим еще раз заверить своих польских друзей, а в их лице и весь польский народ, что никто из нас никогда не забывал и не забудет о той ответственности, которую несет наша страна за преступление, совершенное ее официальными представителями в Катыни.

Мы уверены, что уже недалек тот день, когда наш народ воздаст должное всем участникам этой трагедии, как палачам, так и жертвам: одним — в меру их злодеяния, другим — в меру их мученичества.

Апрель 1980

Людмила Алексеева, Андрей Амальрик, Владимир Буковский, Борис Вайль, Томас Венцлова, Александр Гинзбург, Наталья Горбаневская, Зинаида и Петр Григоренко, Борис Ефимов, Татьяна Житникова (Плющ), Арина Жолковская (Гинзбург), Юлия Загс, Эдуард Кузнецов, Павел Литвинов, Кронид Любарский, Владимир Максимов, Владимир и Галина Малинович, Раиса Мороз, Виктор Некрасов, Владлен и Светлана Павленко- вы, Леонид Плющ, Галина Салова (Любарская), Надия Свитличная, Павел Стокательный, Валентин Турчин, Борис Шрагин, Юрий и Вероника Штейн, Татьяна Ходорович

Сороковая годовщина Катынского преступления.
Заявление открыто для дальнейших подписей.

Россия и действительность

Эдуард Кунецов

ДВЕ КСИВЫ

*«Докажу им правоту —
Накатаю ксивоту...»*
(лагерная прибаутка).

«*Офеня*. В старину: бродячий торговец, продающий по деревням мануфактуру, галантерею, книжки и т. п., коробейник... *Офенский язык* — условный, искусственный жаргон офеней»*.

Коробейники не только мануфактурой да книжками пробавлялись, но и скопкой-перепродажей краденного, контрабандой и всякой другой потаенной всячиной. Отсюда понятная надобность в офенском жаргоне, праотце теперешней «фени» — лагерного и околовлагерного сленга. Изрядная часть словарного актива фени древнееврейского происхождения, в частности, «ктива» на иврите — писание, письмо; «ксива» на фене — всякие документы (паспорт, справка и т. п.), но чаще — тайное письмо, записка.

27 января этого года я получил экспресс-письмо из франкфуртского Комитета в защиту прав человека. Отправитель (Х. Люкс) сообщал: «В прибывших из Советского Союза досках двое рабочих нашли письмо...» Не письмо, а ксиву!..

Судя по тому, как развиваются события, пора уже, быть может, и европейцам осваивать феню...

* С. И. Ожегов, «Словарь русского языка». Москва, 1963 г.

* *

Внутритюремная почта не знает выходных — кси-вы-малявки круглосуточно снуют туда-сюда под самым носом у охраны. Надзиратель — он что? Он ведь на окладе сидит и, само собой, такой же халтурщик, как и всякий почти совслужащий — лишь бы день отбыть. Конечно, случаются среди них патологические шмональщики, однако и зэка — не пальцем деланный, и самому пронырливому менту все равно далеко до арестантской ушлости. Среднестатистический же надзиратель — лентяй и охламон, — войдя в камеру, порой честно предлагает: «Дайте мне какой-нибудь ножичек или хоть гвоздь что ли — уйду... И вам не хлопотно, и мне под нарами не лазить...» Ему лишь бы в служебном журнале отметили, что прaporщик Кишкин в такой-то камере из запрещенных предметов обнаружил то-то и то-то... Но когда проводится узкоцелевой обыск, да еще по наущению кагэбистов или под их личным присмотром, — это дело другое, тут они обнюхают тебя уже не за оклад, а за страх.

Как-то оно так все складывается, что если уж попал за решетку, то надолго и, не овладев арестантской наукой обходить легион начальственных запретов, загнешься. Вот и ксивология та же — не проста...

Пути ксивы сложны, рискованны и потому надлежит ей быть крохотной и несусловной. Зато же и велик ее доказательный и призывающий вес в ножевых дружбах-распрах, счетах-сговорах, объявлениях войны...

С переправкой ксивы на волю — труднее, тем более что, адресованная фраерам, такая ксива вынуждена быть пространной.

Мало ли зачем зэка норовит обойти цензуру! Крайне редко для устройства киношного побега: пулевого риску много, а толку мало — затеряться потом в насквозь проштемпелеванной, нашпиgovанной сексотами

стране почти невозможно. Чаще ксива на волю — просьба-инструкция родне или приятелям, как ухитриться насчет чего-нибудь съестного или дурманяющего. А то — адресованный Кремлю вопль: жалоба на шемякин приговор или лагерную «мориловку-давиловку». Иной раз ксиву просто перебрасывают через лагерный забор в расчете на любого прохожего: отправит он ее по назначению — дай Бог ему здоровьичка, сдаст в органы — зэка в голодном карцере греется смакованием, чего и как он сказал про падлу-начальника. Такие послания порой не столько собственно кремлевскому Брежневу вopiaят, сколько своему, лагерному: усовестить, пригрозить крайней степенью отчаяния, безысходности, готовностью на ножевую лихость... Бывает, такая ксива предельно лаконична — развернет прохожий сверточек, а в нем ухо в сгустках крови, с корявой вязью наколки: «Съезду КПСС!» Иной отхватывает себе ухо, юродствуя, с каким-нибудь ерническим приплюсом, другой — встав в лозунговую позу, но всегда тут не только надрывный отказ когда-либо вернуться в здоровый советский коллектив, но и более глубинный пласт — некий свято-татственный жест, некое «ужо тебе!»

Из политических лагерей выскользывают ксивы особого рода, из тех, что потом порой подшиваются к судебному делу как доказательство «враждебной деятельности». Нет большей неприятности для местных гэбистов, чем утечка обличительной информации — нагоняй из Москвы не украшает послужного списка. И потому в доносах стукачей, что посмышленей, всегда хоть пара слов о щелях в тюремно-лагерных стенах, чаще вымыщленных, чем реальных, — угодливо-корыстный отклик на настоятельный запрос хозяина. В этом смысле вполне представителен донос Тяни-Толкая капитану КГБ А. И. Тюрину*.

* Стр. 13 рукописи «За колючей проволокой». А Гинзбург, Э. Кузнецов.

«В 1-ю камеру, Гинзбургу.

6. 10. 78 г. Алик, вчера Выдра достал мне копию доносца на нас. Можешь повеселить сокамерников, только предупреди, чтобы до Тяни-Толкай не дошло — не стоит подводить Выдру, хотя нет сомнений, что он сам расскажет тому же Тюрину о проявленном мною любопытстве к писательству Тяни-Толкай.

Вот сие творение одного из скромных тружеников тайного фронта, на чьих мощных плечах, изукрашенных кинжалами, змеями и афоризмами типа «Жизнь — это борьба», лежит тяжкое бремя служить надеждой и опорой такой высокоидейной и гуманной организации, как ЧК.

«Гражданин капитан, севодня я был на работе. 4 числа октября месяца. Гинсбур с Кузнецовым целый день говорили об чем-то после обеда часа два или три. Потом меня Кузнецов застукал я будто спал и угрожал избить до самой полусмерти, но я не боюсь хотя опасаюсь потому что руки дрожат и голова раскальваетца. Вы мне обещали две пачки индоухи** и упаковку теофедрина или кодеина. Я лежал на лавке будто спал и простыл, шол дождь и дул ветер. Они говорили, как победить совецкую власть. Гинсбур говорил в нашей шайке 32 человека и еще 20 всего 52 значица.*** Еще говорили какой-то Малин им письма пишет и его будут судить в ООНЕ. Денег у нас говорили много, уголовникам и полицаям не дадим, где прячут не знаю. Кузнецов сказал подкупить прaporщика Завьялова за 300 рублей он все носить выносить будет. Но ему за деньги и мигалки**** чай носит. И еще за ручки аме-*

* Для сравнения — страница 6 той же рукописи. Обсуждалось письмо некоему Г. Малику — социалисту из Глазго, через «Литературную газету» (от 27. 9. 1978 г.) напавшего на советских правоохранителей: «Я тезисно набросал проект письма. Послушай. Пойдем вот сюда, за уголок... Эге, да тут, оказывается, Тяни-Толкай лежит — притаился, вроде бы спит. Эй ты, проснись, а то ухо отморозишь!.. Идем в другой угол. Вот чёртова клетка — вся прослушивается и просматривается».

** Т. е. индийского чаю.

*** Речь шла о том, что на 37 заключенных нашего лагеря приходится 20 надзирателей (включая цензора, но за вычетом взвода внешней охраны).

**** Т. е. стереооткрытки, до которых туземцы и в самом деле весьма охочи.

риканские. Потом Кузнецов кричал всех убивать как Зержинского и Берию, а Гинсбур с ним соглашался. Вы просили узнать как голодовка на 7 октября месяца в конституцию, ничего не узнал вратить не буду. Новиков врачиху за таблетку она ему не дала хочет обличить нечистью. Значит из паши. Гражданин капитан вы же не забывайте что обещали. № 37.»*

Алик, документец этот мне верни — может пригодиться. Не написать ли нам протест Андропову? Потребовать более качественного обслуживания — пусть в стукачи записывают только имеющих высшее образование и не путающих поллюцию с революцией».

Авантюристичные зэка порой пытаются «рвануть свой клок», играя на сыскных страстиах ГБ.

«Подсыпал он к нам, — рассказывает В. Буковский о капитане КГБ Обрубове, — постоянно баландеров, шнырей и прочих уголовников из хозобслужи, чтобы те взяли у нас какую-нибудь записочку на волю или письмо. За это приносил им тайком запретный в тюрьме чай. Хозобслужа, естественно, все это рассказывала нам, считая такой путь наиболее простым, и просила нас сочинять для них туфтовые записочки. Нам это тоже было выгодно, так как взамен хозобслужа соглашалась передавать нашим в карцер махорку... Поэтому мы регулярно снабжали Обрубова туфтовыми посланиями на волю, а то и петициями в ООН, которые он представлял выше как доказательство своей полезности»**

Иной раз плата за «клок» бывает высокой. Так, в начале 1973 года Н. И. Мартатьян за десять пачек чаю «выдал» тогдашнему чекистскому опекуну нашей зоны капитану А. М. Кочетову секрет, будто в одном из ящиков с хрустальными подвесками для люстр — продукции нашего лагеря — спрятана ксила, адресованная Сахарову. Взвод надзирателей, нагрянув в склад,

* Чистой воды вымысел: чем-то, видать, Завьялов досадил ему, и он пытается отомстить руками ЧК. Вообще далее вымысел переплетен с обрывками полуправды так плотно, что комментировать его утомительно.

** В. Буковский, «И возвращается ветер...», «Хроника», Нью-Йорк, 1978, стр. 37—38.

весь день терзал гору ящиков — в каждом по 40 хрупких подвесок, всякая-то в особую бумажку завернута... О том, сколько при этом побили деликатной продукции, кто ее потом вновь упаковывал и по какой графе списали издержки этой рядовой чекистской операции, одному нечистому известно. А Кочетков пригрозил Мартатьяну: «Тебе этот чаек слезками отольется!» И в самом деле, едва он это сказал, сразу почему-то так стало получаться, что как Мартатьян ни ступит, все в карцере окажется... В конце августа он не выдержал и расклеил на прогулочном дворике пару листовок* — как раз на пять добавочных лет, за каждую пару пачек по году.

В ноябре 1978 года я получил из владимирской тюрьмы «малявку» с просьбой переслать ее А. Д. Сахарову. Вместе с другими ксивами она через некоторое время выскользнула из зоны. Не знаю, видел ли ее А. Д. Сахаров, но сейчас она, обогнув чуть ли не весь шар земной, лежит у меня на столе.

«Здорово, братцы политики. Пишет вам Колек Зимогор. Нам с кентом скоро возвращаться по адресу Татарская АССР город Альметьевск п/я УЭ—148/8. А нам там вилы от начальника режима капитана Ф. Р. Ситухина. Надо сообщить Сахарову, может его снимут или переведут. В 1974-м году в апреле месяце приезжали на свидание к сыну Цонзу Антону мать и отец. Но так как он в то время находился в карцере, им было отказано Ситухиным, но так как они прибыли издалека и пристарелые, то кровожадный людоед Ситухин дал им свидание с сыном на условиях, чтобы они прежде посмотрели, как он содержит его. Карцер находился возле зоны. Когда этот варвар дикарь открыл первую окованную железом дверь, то перед взором через решетчатую вторую дверь просматривалась узкая полоска с черными, мрачными и сырьими стенами. Карцер рассчитан на двух, в нем помимо Цонзы Антона находились еще Альберт Беляков, Суханов, Идрев. Мать и отец увидев своего истощенного сына, охнули и всплеснули старыми руками от ужаса. Материнское сердце не выдержало и она рухнула замертво. Садист

* «Долой!..» и т. п.

убийца всего навсего лишь усмехнулся злорадно. Ничего с тех пор не изменилось, как нас во Владимир увезли. Рабы после отбытия тюремного режима со страхом боятся возврата к этому вампиру. Производство — ДОК*, в библиотеке книг считай нету. Менты произвольничают, бьют. Режим строгий, кормежка скудная.

Во владимирской тюрьме 4-го октября месяца 1978 года рабы третьего корпуса не вышли на работу. Причина: не стали продавать в ларьке двух килограмм хлеба как положено раз в месяц и чая, отменили получать в бандероли раз хоть в год теплое белье, шелковые майки, шарфы. В карцер стали сажать только в майке и трусах, в брюках ХБ, тапочках и одних носках. В карцерах стоит жуткая холода. Для того, чтобы сломить рабов, администрация применила жестокие наказания, некоторых избили. Из 24-й камеры 3-го корпуса взяли 8 рабов и перевели на голодный паек на шесть месяцев в 4-й корпус в 11-ю камеру, из 41-й камеры 3-го корпуса взяли на голодный паек 6 рабов в 10-ю камеру 4-го корпуса на 6 месяцев, из 44-й камеры 3-го корпуса взяли 5 рабов и перевели на голодный паек в 13-ю камеру 4-го корпуса и объявили про это по радио. Но и это не помогло. Тогда они прибегли к помощи воров, купили их за чай. Вор по кличке Кузя написал малявку и она обошла все камеры, в которой указывалось, чтобы выходили на работу ибо мужики не имеют прав противоречить ворам. Таким методом протест рабов был сломлен. Еще бы, ведь производство дает каждый день 22 тысячи чистой прибыли. Производство — швейная и сборка моторов. Привет политикам. Долой садистов коммунистов!»

«В прибывших из Советского Союза досках двое рабочих нашли письмо...» Все-таки кое-что изменилось: в сталинские времена среди таких досок находили отрубленные руки. Это к вопросу о прибыльной торговле с государством-рабовладельцем. Впрочем, это тема особая.

Кто таков Михаленко, мне не известно, но Ахметова я знаю хорошо. Сейчас ему 30 лет. Тонкий и смелый человек, поэт, башкир, жил в нищете и, едва ему стукнуло 18 лет, за какой-то пустяк оказался в уголовном лагере, где в 1971-м году за так называемую антисоветскую агитацию был снова судим, признан особо опасным государственным преступником-рецидиви-

* Деревообрабатывающий комбинат.

стом и добавочно приговорен к 7 годам лагерей особо строгого режима и 3 годам ссылки. Так он оказался в нашей зоне.

1972 год выдался особенно голодным, наш лагерь то и дело бунтовал — нужна была расправа, чтобы усмирить остальных. Из лозунгов, которыми были расписаны стены и потолок камеры, где вместе с десятком других зэка сидел Ахметов, я помню лишь один: «СССР — тюрьма народов!» Ему «довесили» 5 лет тюрьмы за... «хулиганство», и вернулся он в наш лагерь только в декабре 1977-го года, а в апреле следующего года, по истечении срока действия политической статьи, его этапировали в какой-то общеуголовный лагерь.

НАМ НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ, ЛЮДИ.

(Открытое письмо)

Не знаем, в какую страну — социалистическую или свободную — будет экспортирована продукция, которая производится рабским трудом советских заключенных, но, независимо от политического устройства страны-импортера, мы адресуем свое обращение к населению этой страны и к ее правительству от имени советских политзаключенных, уверенных, что наше письмо найдет отклик в любой стране и у любого народа.

Двое политзаключенных — Ахметов Низаметдин Шомеутдинович и Михаленко Владимир Михайлович, помещенные в уголовный лагерь особого режима в глубине Сибири, изолированы наглухо от общественности страны и всего мира, не имеют надежды на освобождение, сама жизнь их находится в опасности. Мы не убийцы, не воры, не насильники, мы только посмели подумать о свободе, посмели иметь СВОИ убеждения и — главное — посмели говорить и писать о свободе, о правах, о демократии, то есть посмели говорить правду и не скрывать своих убеждений.

Мы не сделали ничего выдающегося, не совершили никакого подвига, наша деятельность не произвела революцию в стране, о нас даже не знает народ, тем не менее мы сделали свой главный выбор в жизни — встали на путь борьбы с несправедливостью, не правдой, на защиту национальных интересов больших и малых народов СССР, восстали против угнетения человеческой личности,

бесправия, превращения людей в работающих и стреляющих роботов, бросили вызов жестокому режиму и неограниченному диктату КПСС.

Это не больше и не меньше, чем сама жизнь. Может, мы пользуемся не теми методами, возможно наша работа малоэффективна, но мы убеждены, что наши стремления и наша борьба справедливы: нельзя вести себя иначе в этой стране, являясь ее гражданином, гражданской совестью, человеческое достоинство не дают права на выбор.

Мы живем в стране, которую называем Родиной, которую любим и которую поэтому ненавидим такой, какой она стала под чекистским сапогом и под управлением фашистующей камарильи — ЦК партии. Наш народ — самый бесправный и нищий; наши тюрьмы — самые крепкие и вместительные, наша армия — самая большая и агрессивная; наше правительство — самое жестокое и коварное; политика нашей страны — самая большая угроза всему миру... Не верите? Так рукоплещите коммунистам! Встречайте советские танки с младенцами на руках вместо гранат! Улыбайтесь советским ракетам, нацеленным на ваши жилища! Вы давали всегда дорогу коммунистам — расступитесь и теперь! Отдайте им Западную Европу, пустите их в Африку, натравите на Китай!..

Дайте победить коммунистам — мы просим вас об этом, мы хотим этого. Пусть взовьются красные флаги над Бонном, Парижем, Лондоном, Вашингтоном!.. Пусть вся планета наша станет коммунистической поднебесной! Коммунизм на ваши дома! Тогда, только тогда каждый узнает, что это такое — советский коммунизм: весь мир получит иммунитет от этой красной эпидемии, переболев ею. Предупреждаем: останется полмира, а может, и меньше.

Конечно, вы не хотите таких жертв и не примете этого самого верного и естественного рецепта. Мы тоже, в общем, против этого, но мы не можем равнодушно наблюдать, как свободный мир шаг за шагом уступает свои позиции коммунизму, заигрывает с ним, а скоро начнет и бояться. Это предательство.

Да, мы эмоциональны, не знаем тонкостей и хитросплетений высокой политики — может, потому, что мы оба поэты, оба очень остро чувствуем, оба ходим рядом со смертью... Но кроме нас в лагерях Мордовии и Пермской области, в казематах владимирской тюрьмы томятся тысячи других политзаключенных; кроме нас в стране живут 250 миллионов бесправных и обездоленных и еще почти столько же в Восточной Европе. (Мы не говорим о Китае —

советские танки и ракеты ждут только сигнала, чтобы миллиардное население Китая превратилось в пепел и кровавое месиво).

Все они — за железным занавесом. Разве вам наплевать, что там происходит?

Мы признаем, что Запад делал и делает много для нас — и политзаключенных и всех наших соотечественников — особенно в последние годы, и мы признательны за это. Но мы думаем, что можно сделать больше, гораздо больше. Мы не просим, чтобы нас освободили американские или другие солдаты, — это абсурд, так мы можем стать только врагами. Но более широкая и прочная солидарность, более решительная поддержка — это возможно, нужно и должно быть.

К письму мы прилагаем два наших стихотворения. Письмо открытое, следовательно, может быть опубликовано в печати; при этом редакционная правка не должна искажать смысла письма-обращения.

Н. Ахметов, В. Михаленко.

Сентябрь 1978 г.

Красноярский край, Уярский район, ст. Громыдская, VII—238/16.

Наши домашние адреса: 1. Челябинская область, Кунашанский район, ст. Кунашаис, 91 км. Ахметову Шомеутдину Хисаметдиновичу (отец).

* * *

«Отпустите меня, холода...» — Эдуард Кузнецов (политзаключенный)

Поменяйте меня на нейтронную бомбу.
Поменяйте на пачку крылатых ракет.
Поменяйте меня хоть на хлеб и Камбоджу...
Отпустите, пожалуйста, в утренний свет...

Отдавайте меня за права и за пакты.
За тысячу негров, за сто Палестин.
Отдавайте за ложь, отдавайте за факты...
Отпустите, пожалуйста, в синюю синь...

Оцените меня в мегатонах, валюте.
Оцените меня в километрах границ.
Оцените мой срок в его каждой минуте...
Отпустите, пожалуйста, в край синих птиц...

Отпустите любить, отпустите же в лунность,
Отпустите в зарю, отпустите в весну.
Отпустите меня в мою синюю юность...
Отпустите, пожалуйста, я вас прошу...

14 марта 1978 года

* * *

Танки, танки! Тренинг смерти!
Танки танкят танкодром
В играх смерти, в танковерти
Жерл и траков рев и гром.

Чудо-коны, бронетонны...
Литер, звезды или крест...
Танки в Праге, танки в Бонне,
Танки топчут Бухарест!

Вам свободу? На-кось, съешьте!
Вы под траки, без гранат?..
Танки будут в Будапеште,
Танки грянут на Белград!

Танки — право, танки — вправе,
Танки — века идеал!
В Праге, Вене и Варшаве
Танкам ставьте пьедестал!

Танки — гунны, танки — скифы,
Танки — грозный хан Чингиз,
Танки — тюрьмы, труд Сизифов,
Танки — танкокоммунизм!

Танкокурсы режут глобус:
Нам в Европу, нам в Китай!
Кто там против бронелобых? —
С танком в миры не играй!

Пусть детей своих бросают
Нам под траки, в бронелад —
Сила жалости не знает! —
Танки с вами говорят!

Танки, танки! Только танки!
Только ярость и огонь.
Только смерти танкотакты,
Только танковый закон...

март 1978 года

Накануне этапа я дал Ахметову один московский адресок, чтобы он исхитрился сообщить, в какой дыре окажется, что там за жизнь и нельзя ли чем-нибудь ему помочь. Но в Москве от него так ничего и не было. И только почти два года спустя он подал голос — через Франкфурт-на-Майне... До чего же тесен мир!.. Грустно. И вопросы все какие-то лезут в голову несуразные, несвоевременные, непрофитные... Любопытно, на что идет советская древесина, какими лаками ее лакируют, чтобы приглушить источаемый ею запах страданий и крови? И почему иные преуспевающие дельцы и государственные деятели так внутренне похожи на уголовников? Тем тоже лишь бы сейчас чем-нибудь «кишку набить», лишь бы сегодня чем ни то поживиться, а там хоть и трава не расти...

7. 2. 1980

Восточноевропейский диалог

Ян Тесарж

Как народились ГРАЖДАНЕ на святой Руси

*Размышления над книгой Владимира Буковского
«И возвращается ветер...»*

(Сокращенный перевод)

Более десяти лет Владимир Буковский был характерной фигурой того направления русского диссидентства, которое само себя определяет как *правозащитное движение**, что на Западе, да и у нас не совсем точно переводится как движение «за права человека». Это неточность не только семантическая, и сама по себе она сигнализирует, какое значение имеют или могут иметь мемуары Буковского для чешского диссидентства. Анализ работы Буковского только укрепляет в этой мысли. В этой статье я выбираю из многих стимулов для чешского движения только самые важные (думаю, что хотя бы фрагменты из книги Буковского следовало бы издать по-чешски). Даже в среде университетских теоретиков Буковский почитается автором, научно основательным. Его неприукрашенная и суровая картина советской действительности и практики русского диссидентства для нас и теоретически куда значительней, чем рассуждения о будущих отношениях сверхдержав или неустанное идеологизирование, на что в чешской эмигрантской прессе всегда находится место.

* Набранное курсивом — по-русски в тексте.

У книги Буковского свое необщего выраженья лицо — как и у самого Буковского. Это не снижает значения его работы как источника сведений об истории русского диссидентства — скорее наоборот, поскольку Буковский — личность значительная и во многом для движения определяющая. Конечно, следует помнить, что взгляд автора субъективный, а не исторически объективизирующий.

Прежде чем оценить значение работы Буковского и сопоставить с ней иные подходы, я считаю нужным точно определить, что здесь разумеется под словом «диссидентство». Я определяю это понятие как **открыто выражаемое политическое несогласие с властью в тоталитарной системе**. Это определение не бесспорно, другие варианты восприятия могут быть оправданными. Я не буду здесь пускаться в подробные объяснения — хочу только ограничить свое понимание термина, чтобы исключить недоразумения и перейти к существенным проблемам дискуссии. Отмечу только, что такое определение подчеркивает самоценность гражданина, а с другой стороны — считает идеологические формы несогласия второстепенными. Разумеется, так определяемое диссидентство в огромной степени зависито от политики властей, и в его динамике явственно проявляется не только степень его собственной способности выстоять против репрессий, но и общая направленность развития общества, в котором оно действует. Русское диссидентство, понимаемое в таком смысле, т. е. в согласии с представлениями самого Буковского, во многих отношениях окажется неожиданностью для чешского читателя.

Однако такое положение не возникло в одно мгновение. В начале его (в советском обществе) лежит сопротивление вступающего в жизнь молодого поколения против обманов, насиловавших его детство. Как только это чувство поколения сталкивается с по-

ловинчатостью «старших» в устраниении познанного зла, а то и с явным желанием пойти вспять, возникает неизбежный конфликт. Ни цели его, ни, тем более, средства и пути не обдуманы и не распланированы. Он даже не обязательно сознается. Но в основе его — **сознание гражданской самоценности**. Молодой человек внутри советского общества уже не чувствует себя производной от власти или партии, он отвергает ее манипуляций и сам берет права, которые начинает считать неотъемлемыми. Он сам чувствует свою ответственность и поэтому отказывается оставить властям решать, следует или не следует ликвидировать ложь и зло.

*

1971—1976 годы Буковский провел в тюрьмах и лагерях. Он и там участвовал в борьбе со свойственным ему упорством, однако сведения его о развитии движения в этот, наиболее интересующий нас период, не так непосредственны. В этом отношении интересно, что он называет 1973 год решающим для движения. После процесса Красина и Якира наступил тяжелый кризис движения, пик которого пришелся на высылку А. И. Солженицына. Эту последнюю Буковский отмечает как потрясение, которое именно своим указанием на серьезность момента пробудило все до тех пор по-таенные силы русской демократии — и режим потерпел поражение.

Я не могу выступать как знаток истории русского диссидентства, а свидетелем описанной эволюции не мог быть даже издали, так как сам большую часть этого периода просидел. И все же позволю себе высказать некоторые сомнения о суждениях Буковского, кое-где, возможно, односторонних и слишком категорических.

Прежде всего, поучительно сравнение динамики русского и чешского движения. Бессспорно, что русское движение началось раньше*. В некоторых аспектах русские обогнали нас лет на десять, а в целом — я думаю, лет на пять. Эта констатация, наверно, не понравится чешским патриотам, которые с гордостью повторяют, что целый народ вдохновенно поддерживал дубчековский социализм с человеческим лицом... Это значит ничего не понять: речь идет не о лояльности по отношению к власти, а о д и с с и д е н т - с т в е, о несогласии. Тут-то и ключ к пониманию трагедии 1968 года — в том, что несогласие не было достаточно сильным и сентиментальное отношение к слезливому политику оказалось сильней, чем сопротивление оккупантам. Такое отношение к власти — всего лишь иной вид типично тоталитарных отношений (оно устанавливает связь между властью и «масками» того же типа, что в период возникновения тоталитарного режима), и оно недостойно современной политической нации. Диссидентство же, где снова рождается гражданин, — прямая противоположность такому отношению. Таковы логические выводы из данного в начале этой статьи определения.

* Именно по образцу москвичей мы тогда — в результате дискуссий между Я. Шабатой, мною, Р. Баттеком и Л. Пахманом — подготовили выступление публично объявленной группы, которая бы, ссылаясь на тогда еще не ратифицированные Пакты о правах человека, включилась в международное сотрудничество за их осуществление. Осенние аресты 1971 г. загубили этот уже почти готовый проект, и его материалы, вследствие несчастных случайностей и ошибок, попали в руки полиции. Вероятно, именно последовавший за этим шок способствовал такому заметному запозданию с выдвижением этой идеи чехословацкими диссидентами, а также к отходу многих представителей научной интеллигенции, на которых демократическое движение рассчитывало, — и то и другое в известной мере характерно для нашей ситуации до сих пор.

Было бы можно, конечно, сказать, что явные проявления несогласия заметны у нас уже в 1956 году. Однако это было несогласие, обращенное, главным образом, в прошлое и сопровождаемое иллюзиями, что только «авангард» владеет будущей политической и прокладывает ей дорогу. Как только эта ошибка обнаружилась, несогласие утихло: наступила чехословацкая осень 56-го года, потом 1958-й. Первые значительные публичные выражения сознательного несогласия датируются у нас серединой 60-х гг., т. е. наступают примерно лет через пять после аналогичных проявлений в русском обществе. Конечно, такое несогласие с тоталитарной властью, пассивное либо подпольное, никогда у нас не прекращалось. Точно так же и в советской империи непрестанно были сотни тысяч, даже миллионы противников режима, а также заключенных — об этом тоже свидетельствует Буковский. Однако мы не говорим о потаенном пассивном несогласии или же об антикоммунистическом подполье, но о диссидентстве как о публично выражаемом несогласии.

Непосредственная причина очевидного отставания чешского диссидентства от русского — несомненно, то, что политика правящей партии у нас тоже как бы на фазу отставала от эволюции в России: политика Новотного еще до весны 1967 г. повторяла в известной степени хрущевский реформизм, в то время как в Москве дули совсем иные ветры. Понятно, что диссидентство в предложенном мной понимании существенно зависит от общих тенденций политики правящей партии: ее реформизм создает предпосылки для созревания диссидентства, для самого понимания, что оно вообще возможно, и в то же время сдерживает его явную кристаллизацию и демонстративность. Именно реформизм Новотного (а отчасти еще и Запотоцкого) сделал вообще мыслимым представление об открытом несогласии, одновременно задержав его явление

— по той простой причине, что реформизм был надеждой.

Зримое начало чешского диссидентства историк обнаружит в политических выступлениях Любоша Голечека, Иржи Мюллера и других студенческих активистов с середины 60-х гг., в 1968 г. это течение представлено Союзом студентов высшей школы, КАНом (Клуб ангажированных беспартийных), независимыми профсоюзами и т. д. Историк должен будет также констатировать факт, что когда это течение было перевешено лояльностью, связанной с иллюзиями на счет дубчековского руководства, интеллектуалы, считавшие себя политически зрелыми и дальновидными вождями «процесса возрождения», комментировали с удовлетворением: «Студенты не погасили мяч», хвалили «Листы».

Результат «процесса возрождения» имел у нас, с этой точки зрения, то же значение, какое для русского диссидентства — падение Хрущева, а наше отставание связано с общими условиями.

Второе, что привлекает внимание при сравнении динамики русского и нашего диссидентства, — сходство их кривых в 70-е годы: кризис с 1972/73 и его преодоление в середине 70-х. Случайно ли это? Я скорее склонен думать, что это результат одних и тех же факторов: кризис русского диссидентства не был вызван только изменой Якира и Красина (а у нас — реакцией общественности на процессы 1972 г.), также и новое оживление имеет те же или сходные причины. Возможно, что это общее заключается не только в международной ситуации, но, пожалуй, еще и в том, что противник (конкретизированный) — один и тот же. Однако этот вопрос о причинах нам приходится оставить будущим историкам. Тем более следовало бы поразмыслить над самим очевидным фактом.

Буковский (по-моему, совершенно справедливо) говорит, что марксизм-ленинизм в сегодняшней Рос-

ции просто-напросто мертв — как для правителей, так и для угнетаемых. Марксистская утопия жива сейчас, прежде всего, в Западной Европе. Мы, чехи, как видно, на полупути между Востоком и Западом, наши соседи-поляки ближе к Востоку, в то время как наши соседи ГДРовские немцы явно ближе к Западу. Наши милые почти соседи-венгры как будто ближе к Западу, но это обман зрения, имеющий особые причины, подобные тем, что породили отставание чешского диссидентства в 60-е годы. Однако все мы, от ГДРовских немцев до крымских татар и башкир, хотим мы того или не хотим, поставлены перед фундаментальным фактом неделимости наших свобод и прав человека. Способны ли мы лицом к лицу с этой реальностью осознать, что, прежде всего, мы друг другу ближайшие союзники, да нет, не союзники, а одно целое, подавляемое одной и той же верховной властью? Способны ли мы дать этому единству в опыте приоритет перед любыми своими частными отношениями к тем или иным политическим направлениям вне нашего собственного лагеря? Если на этот фундаментальный вопрос мы способны ответить положительно (что далеко не очевидно), встает следующий вопрос: какова может быть та «общая основа», на которой мы договоримся?

Хотя я не хочу загораживать дорогу любому другому мнению, тем более — заранее, пока мы вообще еще не начали дискуссию по этим вопросам, однако мне кажется, что такой общей основой скорее всего мог бы быть демократический социализм. Я имею в виду демократический (а не реформистский коммунистический) социализм, каким его знает европейская традиция и каким его себе представляет современная социалистическая мысль после двух веков поисков, блужданий, заблуждений и ошибок. Я не имею в виду ни традиционно русский «эсеровский» социализм, ни уж, конечно, направление Керенского. Направление, о котором я говорю, в России, к

сожалению, почти неизвестно, а в то же время оно вовсе не противоречит ценностям, выводимым из христианского наследия, и, следовательно, не должно входить в противоречие с русской традицией, если эта последняя проявит достаточно стремления к универсальности и достаточно сил к самопреодолению. Я должен, конечно, подчеркнуть, что этот процесс общих поисков вовсе не означает, будто нечто готовое перенимается с Запада. Наоборот, я думаю, что современный западноевропейский демократический социализм погибнет (и поделом), если не сумеет возродиться, стимулируемый восточноевропейским диссидентством (как это умеет католическое христианство). Я имею при этом в виду, конечно, и практическую политику западноевропейских социалистических партий, в т. ч. и внешнюю.

Мне кажется, что именно эти вопросы были бы актуальны, а в перспективе будущего — и крайне значительны в русско-чешском разговоре. Я был бы счастлив, если бы мой далеко-близкий брат Буковский начал этот разговор ответом на мою «критику» его книги. Еще сильнее хочу подчеркнуть то, что я уже говорил: во всех обстоятельствах основным и исходным для меня является то, что наша общность, единство между тем направлением, к которому я сам ближе всего, и русским диссидентством стоит для меня впереди всего, в том числе и впереди моих симпатий к какому бы то ни было западному политическому или философскому течению.

Идеал нашей борьбы — не романтическая иллюзия о свободе степных коней, которая на практике всегда означает реальность паханов, князей, ханов или партсекретарей, но свободный человек среди людей и общества, построенное на основе нерушимости прав каждого. А такое общество — всегда результат долгого культивирования и не может возникнуть иначе. Это-то и есть самая главная исходная точка всякого

нашего правозащитного движения и чисто рациональный (а не только этический) довод против революции, каким безобразным ни был бы существующий режим. Не социальная разруха, а развитые социальные структуры могут создать предпосылки для лучшего общественного устройства.

Противоречие Буковского, на мой взгляд, коренится в том, что он не додумал (теоретически) возможность диссидентства содействовать созданию этих структур. Мы в Чехии в этом смысле немного ушли вперед, хотя додумывали скорее русский (в т. ч. и Буковского) и польский опыт, чем свой собственный. Диссидентство может содействовать структурализации общества, создавая новые элементы гражданского общества, и выдвигать их как обычную норму. Это значит: не какая-то *in-policy* (на еврокоммунистическом жаргоне «инфилтрация периферийных структур»), не построение «параллельных структур» (то есть, в реальности, диссидентского гетто), но повышение уровня гражданского сознания (книга Буковского — великолепное тому доказательство), которое должно развиться в **стимулирование развития структур гражданского общества**. В это входят и малые дела, но однозначно и сознательно направленные к ЭТОЙ ЦЕЛИ.

Я, например, способствую этому делу тем, что знакомлю людей с этим невиданным и безмерно вдохновляющим фактом, что на Руси уже не только степные кони и паханы всех видов, но и самоценные граждане, а кроме того, «провоцирую» всем нам общие и солидарные поиски путей, как от паханов избавиться. Так что и эта солидарность, созданная тысячами мельчайших действий, будет фактом огромного значения. Вот тот путь, который, по-моему, дает надежду. Более того — все остальное, я думаю, от лукавого.

ТЕСАРЖ Ян — родился в 1933 г., окончил историческое отделение философского факультета Карлова университета в Праге в 1956 году. Два года проработал в Военно-историческом институте в Праге, затем в 1959-60 гг. заведовал Восточно-чешским музеем в Пардубицах, в 1961 г. вернулся в Военно-исторический институт, где оставался научным сотрудником до 1968 года. Перед своим первым арестом (сентябрь 1969 г.) был научным сотрудником Института истории АН ЧССР. Арестован как соавтор заявления к первой годовщине советской оккупации, освобожден без суда после 13 месяцев заключения. Работал ночным сторожем. В ноябре 1971 г. снова арестован в связи с распространением листовок к «выборам» в Чехословакии. Осужден в июле 1972 г. на 6 лет за «подрыв республики» (с учетом первого заключения), освобожден в октябре 1976 г. В январе 1977 г. был в числе первой группы подписавших «Хартию-77», позднее — членом-основателем Комитета защиты незаконно преследуемых. После выхода из тюрьмы был практически почти все время без работы, под постоянной полицейской слежкой, не раз подвергался обыскам. В апреле 1980 г. эмигрировал в Западную Германию.

Запад – Восток

Гейтер Стюарт

ИРАН: МАРКС, МУЛЛЫ И ПЕХЛЕВИ

Крик во всю глотку — «Алла акбар, Алла акбар!» — эхом летит по всей территории Тегеранского университета, истекая из миллиона шиитских душ. Громкоговорители извергают новую революционную песню «Рука, что сотрясает трон». Истошные голоса вопят: «Да здравствуют наши сыновья, борющиеся за нашу свободу в Курдистане!» Транслируемая из мечети пятничная молитва разносится по площади, ставшей новым форумом Исламской Республики и новым символом иранского единства, о котором шах Мохаммед Реза Пехлеви мог только мечтать.

Дальше, на высоком холме Тегеранского базара, — другой символ революционного Ирана: мрачная публика торгует бараклом и мебелью казненных советников и министров шаха. Холодильники и кухонные плиты с бирками, на которых написаны имена прежних владельцев. А еще восточнее, в современном районе Тахте Джемшид, — вооруженные люди около Американского посольства; горящие чучела президента Картера и вообще «всего империализма» раскачиваются в пляске смерти на стальной проволоке.

Иранская революция потрясла до глубины все основы общества и разрушила множество семейных и прочих институций обычно пассивной нации, не имевшей никакого революционного опыта.

Разрыв с «проклятым прошлым» должен казаться абсолютным, изумляющим социальными и психологическими метаморфозами, даже если их оценивать

по одному лишь критерию — по скорости перемен. Революция против Пехлеви разразилась неожиданно, ее первый период прошел с такой быстротой, что весь мир затаил дыхание. Изумились и сами повстанцы, которые остро почувствовали результаты своего бунта, хотя многие из них успели понять, что делают революцию, и ощутить себя революционерами.

Объяснение внезапного исторического скачка можно найти в той пропасти, которая лежит между народом и его бывшими правителями. Тегеран пал 19 февраля 1979 года — это был первый триумф иранской Февральской революции. Первый год прошел в ожидании дальнейшего триумфа. Но на деле хаос, мрачные предсказания и ощущение полного провала витают в воздухе. Насилие кругом. Но у революций есть собственное движение, своя динамика: они развиваются сами по себе, вопреки попыткам что-либо изменить, ибо, как сказал кто-то, «революция — это прежде всего революция».

Экономика в упадке. Промышленности не хватает сырья. Безработица достигла 20%, а инфляция — 60%, хотя новое правительство существует на то, что платит по счетам доходами от нефти. Иностранцы покинули страну. 25 журналов и газет закрыты, все иностранные журналисты высланы. Интеллектуалы скрываются. Оппозиционные партии запрещены. Другие, поддерживавшие революцию: левые федаины, Муджахид, коммунистическая Тудэ и Социалистическая рабочая партия — под обстрелом мулл. Некоторые опять в эмиграции. Армия унижена, чуть ли не каждый десятый расстрелян, офицеры перебиты, или изгнаны, или скрываются в подполье. Стражи революции стали идолами, и ревтрибуналы играют комедию правосудия.

С наступлением зимы ухудшилось положение бедняков. Национальные меньшинства восстают, отказываясь включиться в новый порядок, и с оружием в ру-

ках требуют большей автономии. В то же время центральное теократическое правительство лишило население Тегерана социальных паллиативов: запрещены музыка, кино, спиртные напитки, секс и все мыслимые развлечения, которые объявлены западной заразой. Ибо все, что пришло с Запада, — зло.

«Смех — преступление в Исламской республике. Вы не имеете права веселиться», — жалуются молодые. «В исламе нет места играм», — объявил Хомейни в октябре. «Мы хотим бороться за веру, а не за пьяные оргии». Духовный вождь сказал западным журналистам, что он хочет опустить занавес между Ираном и Западом.

Так или иначе, люди уже начинают выискивать лазейки в законах Корана. Многие гонят самогон; средний класс, кто побогаче, платит на черном рынке 150 долларов за бутылку виски или курит больше опиума, чем раньше.

В этой революции реальную победу одержали только муллы, которые наконец-то воплощают в жизнь свою давнюю мечту — теократическое государство.

ШАХ И ИМАМ: ОТЛИВ И ПРИЛИВ ИСТОРИИ

Возвращение хомейнистского Ирана к традиционным национальным ценностям — не новость для этого двухс половинойтысячелетнего народа. Никто даже не обещает улучшения жизни. Ученые-иранисты всю историю этой страны изображают как чередование периодов перемен и нововведений с периодами застоя и национальной замкнутости. Монархи, завоевания, ислам, иностранные нашествия — все было ассимилировано этой древнейшей культурой. Времена перемен были весьма динамичны, времена ассимиляций — тяжелы. Можно сегодняшние перемены классифици-

ровать как один из временных отходов к старым традициям, как передышку для переработки всего нового, что возникло тут за полвека — отравленные полвека, как говорит имам Хомейни, — перед очередным периодом перемен.

Природные богатства таинственной древней Персии сделали ее землей обетованной, страной, чарующей иностранцев. С приходом к власти в феврале 1921 года казачьего офицера Реза-Хана, Иран стал землей обетованной и для собственного населения.

Реза использовал иранский национализм, нищету, мировой экономический хаос и вырождение старого каджарского режима для укрепления династии Пехлеви, которая правила Ираном более полувека (два поколения — Реза-Хан и его сын, Мухаммед Реза).

Он сместил обанкротившуюся династию Каджаров в сонном Тегеране, насчитывавшем тогда всего 200 тыс. жителей, и в 1925 году нарек сам себя шахом Реза Пехлеви, обещая модернизировать страну и поставить на службу ей все национальные ресурсы. Естественно, препятствия были те же, что и ныне: отсталость, неграмотность и коррупция.

Шах Мохаммед Реза Пехлеви превзошел отца, назвавшись императором, царем царей, блюстителем судеб нации. Его отец был простым диктатором, не интересовавшимся такими абстрактно-теоретическими вопросами, как свобода или демократия. Мохаммед Пехлеви смотрел на свою роль иначе: он, Мохаммед, — божество. Известны его слова «Я — это мой народ!» Или девиз, пестревший на стенах казарм и всевозможных учреждений: «Шах, Аллах и Отечество».

Шах Мохаммед Пехлеви старался быть чужаком в Иране, несмотря на провозглашаемую им любовь к своему народу. Его путь — чужеродный путь. Он и сотня людей из его окружения ориентировали страну на развитие по западному образцу, ввели европейское образование. Но если образ мышления у них запад-

ный, то мораль и социальные ценности остались каджарскими, восточными. Они как бы накладывали свой западный стиль жизни на блеск и роскошь восточного двора, не стесняясь пользоваться богатствами, расплачиваясь дешевыми фразами о модернизации, традициях, демократии, прогрессе и правах Человека в такой комедии хотя бы, как та, которую шах назвал «белой революцией». Он организовал, например, пышное празднование «Двух тысяч пятисот лет Иранской империи — от Кира до Мохаммеда Реза Пехлеви» в древней столице — Персеполе, в то время как он грабил страну похуже, чем древние завоеватели, хотя и более цивилизованными методами. Иранцы видели пышные исторические представления и самого Царя Царей, который сравнивал себя с легендарными древними властителями Дарием и Киром, и верили этому блеску, одурачившему их на многие годы. Они были ослеплены блестательными дворцами и виллами, возвышавшимися на Тегеранском холме на высоте полутора тысяч метров, новыми заводами, миллионами автомашин, современными отелями и ресторанами, толпами иностранцев при дворе, как в древние времена; телевидением, транзисторными приемниками и всеми прочими признаками прогресса в витринах.

Но запах западной жизни и сотни тысяч жаждущих знаний иранских студентов за границей оказались обоядоострым мечом. Красивые витрины предназначались для того, чтобы показать иранцам, как улучшается их жизнь, но реальность разоблачала витрины. Столь долго ожидаемое блаженство так и не наступило. Бедняки Тегерана на опыте поняли, что для них блеск этого представления остается только блеском, что они — всего лишь зрители столичного театра. Коррупция, например, ощущалась куда реальнее. Цинизм и полная неукорененность нуворишей бросались в глаза. Шах уже и сам стал верить своим собственным выдумкам. Однажды в интервью с итальянским писателем Аль-

берто Моравия он заявил: «Права человека у нас уважались уже 2500 лет тому назад при Дарии. Поэтому нам в Иране нечему учиться в этом отношении у кого бы то ни было». Это было и банально, и абсурдно, но так ответил шах Международной Амнистии по поводу САВАКа, пытавшего политических противников царя царей.

Туга натянутая проволока в конце концов лопнула. Лопнула в момент национального сумасшествия, всенародной шизофрении. Тревога нездоровья висела в воздухе в 1977-78 годах. Страна была тяжело больна и ослаблена, богачи — ослеплены прошлым, не видя, что оно кончается. Иностранцев — бизнесменов, банкиров, дипломатов — тоже ослеплял блеск фасада «империи».

В том-то и суть дела, что это был только фасад, который очень легко рухнул. Вот почему лишь немногие из богачей покинули страну, они не почувствовали под собой зыбучих песков. Вот почему иностранцы продолжали вкачивать в страну инвестиции даже в конце 1978 года, а Запад поддерживал шаха даже после черной пятницы 8 сентября, когда на площади Шухада его войска расстреляли толпу.

Мечта шиитских лидеров в священном городе Коме сбылась: государство в руках духовенства. Шиитские муллы отстроили великолепную машину. Финансируемые податями, поступавшими непосредственно в кассу имама в Коме, они создали государство в государстве. Как и интересы Ватикана, интересы Кома направлены на бизнес и разные коммерческие операции. 160 тысяч фанатически настроенных мулл по всей стране представляют солидную оперативную базу для нового клерикального режима, на верхушке которого — 60 имамов (чаще здесь их именуют «аяталлах»). Эта власть свергла уже три светских режима с начала века: в 1906 году муллы заставили Каджар-Шаха дать конституцию, ограничивавшую его власть; в 1953 году

аяталлах Кашани порвал союз шиитских лидеров с Мосаддыком и его правительством и организовал демонстрации против него, спровоцировавшие его падение; и вот теперь муллы подняли массы против шаха и правят страной.

Хомейни был изгнан в 1964 году за выступления против шаха. В изгнании, в соседнем Ираке, он продолжал использовать Ком как свою базу и мулл как своих агентов.

К 1978 году шиитизм стал главным рычагом оппозиции режиму. Все левое крыло, ища общей платформы, повернулось лицом к Кому, в конце концов объединившись с муллами в борьбе. Полная потеря шахом доверия и, с другой стороны, временная поддержка светской оппозиции создали условия, которых муллы уже давно ждали.

Хомейни не совершил революции. Она произошла, питаемая снизу, благодаря сочетанию множества факторов. Хомейни только уловил выгодность исторического момента и воспользовался им. Как в свое время Дантон, он ясно заявил, что «революционеры должны убить короля». Соединенные силы его фанатичных последователей, левых федаинов и муджахидской молодежи — средний возраст «революционных бойцов» 16 лет, что делает их самыми молодыми революционерами в истории, — выволокли шахскую власть на улицы Тегерана... Одновременно с падением шаха политически распался умеренный центр левой оппозиции Национально-демократического фронта. Он был парализован бесконечными насилиями революционного взрыва. После 25 лет ожидания, в самый важный момент, демоны раскололись на множество враждующих между собой группок. Их падение — вернее, распад — создало политический вакуум, который моментально был заполнен муллами — хорошо отлаженной машиной, созданной в Коме. Клерикалы получили власть отчасти именно по причине бессилия светских полити-

ков. Теперь их конституция дарит им и всю полноту светской власти. Они стали уделать немалое внимание нефти, чтобы было чем финансировать, насколько это возможно, послереволюционную экономику. При иностранной финансовой помощи муллы смогут удовлетворить требования и больших магазинов, и мелких торговцев.

Имам Рухаллах Хомейни властвует, и ему это нравится. Более того, сегодня он — символ нации. Он быстро заставил замолчать тех, кто требовал, чтобы он был двенадцатым имамом, чьего появления ожидает весь шиитский мир. Он представляет только самого себя. Он толкует Ислам. Он сам — воплощенный Ислам. В интервью итальянской журналистке О. Фаллачи он сказал, что рад видеть под своими окнами народ, толпящийся там часами и без конца выкрикивающий его имя: «Они орут, потому что любят меня, а любят меня, потому что чувствуют, что я забочусь о них, что я делаю им добро. Это и есть то, что я зову руководством ислама... Народ любит мулл, верит в них и хочет, чтобы они им руководили. И совершенно правильно, что высшие религиозные власти должны надзирать за премьер-министром или президентом, чтобы они никак не нарушили закон Корана».

А статья 5 новой конституции утверждает, что теократическое правление дает «высший духовный авторитет и политическую власть умелым, отважным, справедливым, административно способным богословам, идущим в ногу со временем и признанным как вожди большей частью народа».

Имам Хомейни не меньше, чем шах, нуждается в народной любви! Портреты имама тоже наводнили страну, причем их зачастую клеят еще выше, чем в свое время портреты шаха. И всё во имя народа. Чем сильнее все меняется, тем больше остается прежним, как говорят французы. Каково же место народа в этом мальстрене? Того народа, который якобы в центре

событий, вечный, стоический, эксплуатируемый, — в центре истории! На самом деле народ просто сбит с толку. И не только бессловесные 20 миллионов крестьян. Они, конечно, не играют никакой роли в революции. Если бы иранская революция была сделана руками тегеранской буржуазии, то и ее бы вынесли на своих плечах беднейшие массы столицы — те, кто, по словам одного разочарованного революционера, «еще дальше от власти, чем прежде». Они — только задник на этой сцене битв, и роль, отведенная им сегодня, — изображать массовую поддержку всем новым мероприятиям Исламской Республики.

Народ! Он и не подозревает, как делается история. Он не видит ее течения и никогда его не видел. Ему вовсе неохота ее делать. Ему бы просто выжить, и всё. А тут — призраки прежних лет под властью шаха ожидают, и людей интересует только, как бы они не вернулись в новом обличье: в осклабившейся усмешке теократической маски тех мулл, которые так хмуро глядят на обыкновенную живую жизнь.

Смеющаяся и играющая молодежь на широких тротуарах Тегеранской английской школы была самым типичным явлением для 1978 года. Джинсы, транзисторы, рок-музыка — они не входят в систему ценностей Корана. И хотя эта молодежь шаха ненавидит, но шиитская теократия с ней обходится как с врагом: запрещено все, что только можно себе представить, — западная одежда, музыка, вино, кино, дансинги, — любые развлечения.

Эти ребята не основывают свою жизнь на велениях Корана с его 1400-летними правилами. Теория есть теория, а жизнь — нечто иное. Громкие слова не могут быть правилом повседневной жизни. Иранский народ не интересуется тем, как ограничить будущее для новых поколений. Но иранцы гордятся тем, что вдруг оказались в центре внимания всего мира. И они просто удивлены, как легко пала вся система, установленная шахом.

Люди хотят жить лучше. А признаков улучшения пока не видать.

НАЦИОНАЛЬНАЯ СУДЬБА ИРАНА И ИСЛАМ

Шах изобразил историю Ирана так, как ему было надо. Истина же такова: иранцы отвеку жили на плоскогорье, образованном с одной стороны хребтом Эльбурса, с другой — Загроса. Зубчатые вершины уходили в небеса. Народ вел повседневную жестокую борьбу за выживание в этом средоточии бесплодной природы, при немыслимом перепаде температур среди гор и пустынь. Плато всегда было, вместе с тем, перекрестком культур, перекрестком, на котором сталкивались разные цивилизации (и разные армии!) Запада и Востока. Все это обусловило и нынешние особенности Ирана. Дух нации складывался в постоянном усвоении самых разнообразных влияний, в ассимиляции самых разных культур и обычаяев, в борьбе с тяжелыми природными условиями. Великие горы и древние моря создали естественную границу, которая в какой-то мере обеспечивала постоянное единство нации. Именно это использовал шах, стараясь сохранить непрерывность традиции и сделав себя символом, но он был для иранцев слишком чужд и экстравагантен.

Но у Ирана всегда была еще одна основа, сохранившая нацию как целое, — национальная религия. В Иране есть мусульмане-сунниты, евреи, христиане, адепты ассирийского язычества, зороастрйцы, но 90% иранцев — это мусульмане-шииты. Созданное на протяжении веков иранскими царями как национальное духовное оружие против суннитской Османской империи, которая затопила чуть ли не весь мусульманский мир, шиитство спасло Иран от тюркизации. От суннитского ислама шиитство отличается примерно так же, как протестантство от католицизма. И поскольку

шиитство есть выражение духа нации, оно — не только религия или конгломерат культурных ценностей, но образ жизни: так воспринимают его сами иранцы.

Мусульманские страны делятся на две категории. Первая — страны, которые самим своим существованием обязаны распространению ислама, ибо они и созданы были победоносными мусульманскими армиями: Ливан, Сирия, Алжир, Марокко... Вторая — страны, принявшие ислам по историческим, политическим или экономическим причинам, но имевшие до того собственные национальные традиции и богатую культуру, как Индонезия и Иран. Прежний священный язык ислама — арабский, и сами арабские нации сформированы мусульманством. Позднее к исламу тем или иным путем примкнули и другие народы. Затем он распространился и на такие народы, которые приняли ислам, многое взяли от него, но сами ничего не внесли, как индонезийский, а также и на те народы, которые так или иначе что-то дали исламу.

Именно Иран дал исламу больше, чем кто бы то ни было. Тут создана большая часть того, что мы и знаем под именем мусульманской культуры, — великая литература, философия, наука... Эта культура из Ирана распространилась на другие исламские страны, возвращаясь в Иран уже как общемусульманское достояние. Сегодня шиитская ветвь ислама предлагает простому человеку образ мыслей и образ жизни. Это часть иранской истории. «Ислам для Ирана есть культурное выражение его собственной цивилизации, связывающее его с другими культурами средиземноморского бассейна, — утверждает Джавад Аламир, вождь светской оппозиции, ныне снова находящийся в эмиграции в Париже, после того как он вместе с Хомейни годами боролся против шаха. — Чисто религиозное истолкование ислама, даваемое Хомейни, может стать роковым для его исламской республики».

Со времени свержения шаха традиционалистское правое крыло было как бы растворено и ассимилировано революцией. Прежние сторонники шаха могли бы теперь набрать не более 2—3% голосов (при свободных выборах, разумеется). Исламское республиканско движение имама Хомейни вместе с его разными попутчиками и шиитским аппаратом в Коме располагает примерно 80% голосов по стране. Это действительно голос народа. Однако это впечатляющее большинство обусловлено влиянием самого Хомейни, но ограничено влиянием его соперника — аятолла Шариат Мадари и его Мусульманской народной республиканской партии, к которой примыкают массы населения немаловажной Азербайджанской провинции. Иначе говоря, Шариат Мадари, который является вторым после Хомейни в шиитской иерархии, располагает поддержкой всех умеренных элементов в этой клерикальной машине.

Шариат Мадари заинтересован в исполнении обещаний революции, ибо только таким путем может выжить Исламская республика — как демократическое, а не как диктаторское государство. В одном интервью он заявил: «Народ проголосовал за Исламскую Республику, но за настоящую Исламскую Республику, а не за то, что мы видим сегодня. Ведь осуществлено не более 10% программы. Некоторые люди не дают установить действительно республиканский порядок. Отсюда — несогласие, отсюда — хаос. Если все останется так, как сейчас, никто не захочет больше голосовать за Исламскую Республику. Она может выжить сейчас, только опираясь на силу». Короче говоря, он и другие защитники более традиционного светского государства, отстаивают общепринятые методы руководства. Он служит сдерживающим противовесом Хомейни и тормозит наиболее радикальные намерения первого имама. Быв-

ший премьер Мехди Базарган и его Либеральное движение существуют более в теории, чем на деле. Эта группа состоит из сотни единомышленников, религиозных интеллектуалов, бывших сторонников Мосаддыка. Ненавидимые муллами-фанатиками типа аяталаха Мохаммеда Бехешти, возглавляющего Революционный совет, они уступают день за днем. Базарган с теми, кто стоит за ним, — а говорят, что он — единственное препятствие для полной клерикальной диктатуры, — был выброшен на свалку Революционным советом, который теперь, видимо, полностью отдал страну на волю Хомейни. А сам он выразил все свое отношение к этой группе, сказав Базаргану: «Вы — слабы, сударь».

Национальный демократический фронт в центре, старая партия бывшего премьера Мосаддыка, единственная способная к нормальным действиям. Но за 25 лет оппозиции шаху она стала неэффективной. После фактического развала в ходе революции она просто перестала быть партией, теперь это скорее небольшая группа.

Она еще не окончательно потеряла популярность, ее еще поддерживает часть буржуазии, лавочники, некоторые чиновники и, возможно, бывшие сторонники шаха. И все же ее считают самым значительным блоком между сторонниками Исламской Республики и левым крылом оппозиции. Ее доброе отношение к Хомейни помогает держать экономику на плаву.

Либералы и левые партии находятся в особом положении в силу тоталитарной природы как старого, так и нового режимов. Понятие «левый» тут можно употреблять лишь в самом общем смысле, ибо партии эти весьма разные. Политическая оппозиция шаху была в основном либеральной. Оппозиция была уничтожена преследованиями, изгнанием из страны и, наконец, тем, что ее остатки радикализировались. В нормальных политических условиях, как можно предполагать,

произошло бы некоторое передвижение вправо националистических левых партий.

В борьбе, вспыхнувшей к концу 1978 года, левые вышли из подполья или вернулись из-за границы, включившись в акции тегеранского населения. Боясь, что левые инфильтрируют хомейнистское движение и приберут его к рукам, имам после падения Тегерана стал с ними расправляться. Их вожди были арестованы либо снова оказались кто в эмиграции, кто в подполье; их газеты были закрыты. Тем самым либералы и левые попали в число врагов, с которыми при иных условиях Исламская республика могла бы прийти к соглашению. Но имам Хомейни не оценил роли левых в революции. В интервью О. Фаллахи в октябре 1979 года он резко обвиняет левых в том, что они заботятся лишь о своих собственных интересах, а не об иранском народе. Он напоминает, что левые никогда не были его союзниками в борьбе против шаха, более того, они противостояли ему не в меньшей степени, чем шаху. Одновременно имам утверждает, будто левые — это еще одна машинация США с целью повредить Исламской Республике. (Это близко к концепциям некоторых иранских интеллигентов, согласно которым США вдохновляют «евро-социализм» как противовес еврокоммунизму, для того чтобы левые имели политическую альтернативу.) С другой стороны, многие сторонники Хомейни в Европе говорят, что США поддерживают коммунистическую партию Ирана (Тудэ).

Тем не менее, если имама тревожит возможность захвата власти левыми, это усиливает страх, вызванный зловещим обликом старого аятоллаха. Поэт-социалист Ахмед Шамлу считает иранские массы политически индифферентными. Он и другие его единомышленники стремятся раскрыть массам глаза на реальное положение вещей и указать иной путь к будущему. Журналист Махмуд Энайят, который относит себя к Исламскому республиканскому движению, говорит:

«Если вы поддерживаете Хомейни на словах, то вы уже относительно свободны в сегодняшнем Иране. Не было никакой свободы при шахе, и нет демократии сегодня. Интеллектуалы разочарованы, ибо они все больше и больше подвергаются давлению клерикалов, которые их ненавидят. Интеллектуалы охладели. Можно только звать к новой революции — не к вооруженной, конечно, но к той, которую возглавит разочарованная интеллигенция».

Демократическое движение, включающее весь диапазон умеренных левых партий, напоминает аналогичные образования в Европе: радикалов, социалистов, радикал-социалистов, соц.-демократов. Оно защищает прогрессистскую программу национализаций, как это наблюдается от Алжира до Скандинавии. Светские и политические активисты, они вовсе не воинственные атеисты.

Либералы и средний класс скорее религиозны. Они имеют политическую программу и привлекают некоторых светских вождей национального масштаба. Подавляемые в Иране, они хорошо организованы за границей, имеют свои центры в Европе и в США, где ищут поддержки своему движению на родине. Их издания, как, например, «Намен Руз» («Ежедневные письма»), переправляются в Иран и широко распространяются.

Муджахиды (Борцы за веру) — организация, созданная в 1970 году как террористическая. В ней состоит около 200 тыс. молодых мусульман-фанатиков и мусульман-марксистов. Одними из первых они активно выступили против шаха, преследовались тайной полицией (САВАК), которая уничтожила большинство их вождей. Они поддерживали Хомейни во время борьбы за власть, но этот союз кончился с победой имама. Сегодня они раскололись как раз в вопросе поддержки Хомейни, который закрыл их центры и нападает на них по любому поводу. Муджахиды могут вывести на улицу население, что немаловажно в революционном Иране. Их сила — в их 70 тысячах стрелков, они зани-

мались грабежами до последних дней борьбы. В их числе также сотни городских террористов, которых тренировали палестинцы из ООП; в случае срочной необходимости они могут призвать еще немалое количество молодежи, тех, кто находится как в Иране, так и за рубежом и всегда готов к немедленной мобилизации.

Федаины (Народные бойцы) — наиболее радикальная сила из тех, что привели в власти Хомейни. Организация создана в 1967 году и все еще хвастает тем, что она — самая молодежная из оппозиционных групп. Федаины малочисленнее, чем муджахиды, но лучше организованы и поддерживаются коммунистическими странами. В прошлом они примыкали к Тудэ, и их вполне можно было расценивать как боевую часть этой организации. Теперь их пути разошлись. Коммунисты поддерживают режим Хомейни, а федаины, считающие себя марксистами-ленинцами и настроенные резко антирелигиозно, теперь выступают против имама. Когда правительство закрыло их комитеты, федаины ушли в подполье. Они готовы к ответному удару, считая, что революционные стражи Хомейни не столь уж многочисленны. Американские служащие в Тегеране говорили, что конечная цель федаинов — захват власти в стране, но пока они к этому еще не готовы. К партизанской борьбе они приучены, их первое боевое крещение состоялось в дни падения Тегерана, когда они штурмовали шахский дворец и сражались с гвардейцами. Так тут и говорят: «Шаха свергли федаины». Сегодня они насчитывают около 30 тысяч бойцов и получают поддержку как в Иране, так и из-за рубежа.

Троцкистская социалистическая рабочая партия — численно незначительна, но имеет опору вне страны. Она активно работает в профсоюзах, на нефтепромыслах и в промышленности и поэтому находится под постоянным обстрелом со стороны правительства. Член Четвертого (троцкистского) Интернационала,

эта группа поддерживается иностранными «братскими» партиями. Два ее члена недавно были приговорены к пожизненному заключению за «попытку вооруженного переворота и заговор против исламской революции». Это было в нефтяной провинции — в Кузистане. Французская секция IV Интернационала, Лига коммунистов-революционеров, тотчас же оккупировала бывшую штаб-квартиру Хомейни в Напль-ле-Шато под Парижем в знак протеста против ареста 14 троцкистов в Иране. Естественно, Хомейни не прекратил своих нападок, обвиняя троцкистов во всех мыслимых формах саботажа.

Народная партия Ирана — коммунистическая Тудэ — крепко сколоченная, жесткая просоветская организация. Она невелика — не более 21 тысячи человек, но почти всё это коммунисты с многолетним стажем. Тудэ имеет заметное влияние на некоторые национальные меньшинства и особенно на профсоюзы и рабочих нефтеносных районов. Находясь все время за сценой, развивая деятельность лишь в темных лабиринтах иранской и мировой политической среды, коммунисты предпочитают действовать не сами, а через сочувствующих и попутчиков. У них нет намерения немедленно взять власть, во всяком случае их прохомейнистская клерикальная линия позволила наблюдателям в Тегеране окрестить их генерального секретаря Кианури «аяталлахом Кианури». И, хотя это не говорится во всеуслышание, Хомейни держит эту партию крепко в своих руках.

Тудэ была организована в 1920 году в Баку, а свое нынешнее название получила в 1941 после жестоких репрессий конца 30-х годов в Иране. Она всегда полностью контролировалась из Москвы. Многие годы ее деятельностью руководил генеральный секретарь, находившийся в советской столице. С 1957 года штаб-квартира Тудэ располагалась в Лейпциге. Традиционная линия этой партии показывает ее как непримиримо

антирелигиозную и не идущую ни на какие компромиссы. Но со временем и с изменением советской политики менялась и тактика иранских коммунистов. Ее секретарь с 1971 года, Иради Искандери, отстаивает новую линию — коалицию с мусульманами и либералами для свержения шаха. В Москве дошли до того, что марксизм и ислам вполне совместимы (это соответствует советской политике в отношении мусульманских республик СССР), и заменили марксиста Искандери на Кианури, чтобы усилить эту тенденцию. Послушный и уступчивый Кианури официально поздравил имама Хомейни с созданием Исламской Республики. Сегодняшняя политика Тудэ — прежде всего выжить.

Если Тудэ продолжает грезить о возможном взятии власти в Иране, Москва рассчитывает на исламские марксистские партии. Она держит Кианури на коротком поводке, заставляя Тудэ играть в ожидание, координироваться пока с другими левыми силами под лозунгом «не бывает врага слева». Иранские коммунисты недавно получили подкрепление за счет бывших военных, зараженных марксизмом-ленинизмом, которые примкнули к Тудэ. Партия имеет и некоторое число последователей среди иранских студентов за границей; иные из них ей просто сочувствуют, но большинство — профессиональные революционеры. Так или иначе, другие левые партии, особенно националистически настроенные муджахиды и федаины, влияют на студенческую массу. Находящийся в Париже в эмиграции Джавад Аламир утверждает, что все левые группы и партии — против Тудэ.

Пейкар (Борьба) состоит из маоистов, отколовшихся от Тудэ в 1969 г. Группа действует активно как в самом Иране, так и за рубежом, но, как и все малые партии, в основном закулисным образом. Их день наступит тогда, когда Иран начнет искать нового положения в мире и, может быть, посмотрит внимательней в сторону востока...

ЭТНИЧЕСКИЕ МЕНЬШИНСТВА

Нет никаких данных, указывающих точное количество как шиитов и суннитов, так и немусульманских меньшинств в Иране — ассирийцев, армян, евреев и парсов (зороастрийцев). Неперсидские меньшинства — курды, арабы, армяне, азербайджанцы, турки и белуджи. Вместе все эти народы составляют половину тридцативосьмимиллионного населения страны. Живущие в пограничных областях этого многонационального государства, связанные с большими группами единоплеменников в соседних странах: в Ираке, Турции, СССР, Афганистане и Пакистане, — они ставят социально-политические проблемы любому иранскому центральному правительству. Они готовы восстать при малейших признаках слабости Тегерана. Все они добиваются большей или меньшей автономии, по крайней мере — той степени независимости, которая позволит им на самом деле решать свои местные дела.

Разительный пример уязвимости национальных районов — ублюдочная попытка Тудэ и Советского Союза сотворить марионеточное правительство в Иранском Азербайджане во время Второй мировой войны. Когда американские и английские армии покинули Иран в 1945 году, советские войска тут же вошли в северную часть страны. Тудэ при советской поддержке создала «демократическое правительство» в Тебризе и попыталась установить независимую республику. После протеста Ирана в ООН СССР согласился вывести свои войска. Республиканское движение сразу же растаяло, и армия шаха явилась в качестве освободителя этой провинции. Естественно, советские агенты продолжали тут подрывную агитацию. Но их активность привлекла внимание Соединенных Штатов, которые с этого момента усилили свою помощь Ирану.

Волна восстаний, саботажа и общей напряженности в курдских и арабских провинциях ослабили

центральное правительство, подчеркнув еще раз его беспомощность перед множеством нацменьшинств.

ВОЕННАЯ КАСТА ИРАНА — ЖЕРТВА СОБЫТИЙ

Если муллы в ходе революции выиграли максимально, то пострадали больше всех вооруженные силы. В конце февральских боев армия и воздушный флот были окончательно разложены. Множество офицеров оказалось на какое-то время в тюрьмах. Некоторые были казнены, остальные бежали к курдским и арабским повстанцам, присоединились к крайне левым или эмигрировали из страны. Из 500 генералов только 30 приняты на службу новым правительством. Хомейни срезал военный бюджет на 60%, уменьшил вооруженные силы вдвое против того, что сам предполагал. 450 тысяч человек военной машины шаха, его гордость — вторая после израильской армия на Среднем Востоке, сегодня насчитывает около 150 тысяч и едва существует. Когда шах покинул страну, военные круги объявили о своем нейтралитете и отказались противостоять воле народа. Хомейни тут же взял их под контроль. Это дало ему возможность быстро подавлять восстания — такие, как курдское или арабское. Революционная гвардия Пасдеран и Хесболлахи (божья партия), молодые религиозные фанатики под руководством мулл, показали, что воля и вера могут сражаться вполне успешно.

Бывшая военная машина деморализована, дезорганизована и разваливается. Солдаты и офицеры в гражданской одежде, в майках, намотанных на головы, шатаются с одного политического митинга на другой. Они отказываются помочь правительству в подавлении всяческих бунтов, продолжая свою политику «невмешательства в дела народа». Теоретически они признают один лишь вид службы — охрану границ. Граница между отказом в поддержке революционному правитель-

ству и борьбой на стороне подавляемых меньшинств весьма зыбка. Многие ее легко переступили. Одни борются на стороне курдов или арабов, другие связаны с Бахтияром в Париже. Бывший премьер сказал: «Может быть, армия и не на 100% со мной, но уж точно на 100% против Хомейни».

КРИЗИС РУКОВОДСТВА

Недостаток в руководителях характерен для нынешнего Ирана — как это было и при шахе. Шах не допускал никакой оппозиции весь долгий период своего правления, его политика была проста: вождей оппозиции мучили и уничтожали физически. Преследования опытных политических деятелей привели сегодня к невыносимому положению. Те, кто выжил еще с времен Мосаддыка, как первый министр Хомейни Мехди Базарган, слишком стары. С другой стороны, клерикалы не выдвигают из своей среды людей, способных хоть как-то руководить страной, более того — теократия, выпущенная имамом на арену, не дает возможности появиться новым неклерикальным вождям. Те, кто вернулся из эмиграции, не имеют настоящего опыта, а все, кто принадлежал к левым, вынуждены в свою очередь эмигрировать.

Революционная власть по структуре своей чрезвычайно непостоянна. Резкий и решительный разрыв с прошлым отбросил все позитивные силы, которые могли бы что-то сделать. Прогрессивно-исламский национализм и немарксистский революционный социализм уже подпали под влияние Хомейни и контролируемых им масс. Нынешняя форма «автократической теократии» не оставляет места для таких мелочей.

Но некоторые внутренние деструктивные силы работают внутри исламской республиканской системы. Можно выделить четыре течения, борющихся за власть:

светские левые силы вроде федаинов и муджахидов, которые тянутся к Советскому Союзу; монополисты, которые хотели бы установить некую тоталитарную систему, как Садег Готбзаде; некоторые близкие к власти клерикалы, такие, как аяталлах Шариат Мадари, несогласный с нынешней радикальной линией; и, наконец, проимпериалисты, которые противостоят правительству во многих важных вопросах.

Кандидаты на национальное лидерство относятся к одному или нескольким из этих кругов; возникая на краткое время на политической арене, они вскоре сходят с нее по мановению дирижерской палочки вездесущего Хомейни. Базарган появился в самый первый период революции и был ее первым премьер-министром, но радикальные муллы его быстро сбросили как слишком прозападного. Ибрагим Язди и Абульхассан Бани Садр по очереди потеряли пост министра иностранных дел по той же причине: они, мол, заражены империализмом... Придут другие и тоже уйдут, ибо фактический вождь, капризный, своевольный и непреклонный, при невероятном давлении как внутри страны, так и из-за рубежа, не может изменить своему инстинкту власти.

Еще кандидат на роль вождя нации — адмирал Мехди Махдани, чьи портреты мелькают в любом городе Ирана. Как командир морских сил, он контролирует Персидский залив, Кузистан и, следовательно, всю нефть. У него вполне положительный облик: он был сторонником Мосаддыка и — что особенно важно — находился в оппозиции к шаху. Он вполне лоялен, строг, силен и может рассчитывать на поддержку народа. Но он — военный и не может рассчитывать на политический авторитет, не может быть реальной политической силой, поскольку ревнивые клерикалы плохо переносят его влиятельность.

Сорокадвухлетний «адъютант» имама Садег Готбзаде вернулся вместе с Хомейни из Франции. Глава

радио и телевидения, министр национального возрождения, член Революционного совета и министр иностранных дел, он сосредоточил в своих руках огромную власть. Его считают опасным человеком, поскольку он соединил в одном лице руководство такими ключевыми постами, как информация и Министерство национального возрождения, в которое входит и тайная полиция.

Не клерикал, сорокасемилетний Бани Садр, сын влиятельного аяталлаха, — один из новых «сильных людей» Ирана. Студент-активист в шестидесятые годы, он пробыл некоторое время в шахских тюрьмах, потом эмигрировал в Париж. Левый экономист, он вел Министерство финансов и вошел в Революционный совет, хотя должность министра иностранных дел ему пришлось уступить своему главному сопернику Садегу Готбазе. Хотя и достаточно прозападный, он, тем не менее, исламский революционер и поэтому может быть в определенном смысле посредником между Западом и Востоком.

Среди шиитских клерикалов аяталлах Мохаммед Бехешти считается «серым кардиналом», стоящим за Хомейни. Как глава Революционного совета, он был вполне вероятным кандидатом в президенты. Он руководил Исламским центром в Гамбурге в 1965-70 годах, говорит по-английски и по-немецки и вообще хорошо знает Запад. Это жесткий радикал, которого иные зовут «Аяталлах Распутин».

Бросается в глаза среди клерикалов и Ашгар Мусави-Хойини, который руководил захватом американского посольства. Он особенно близок к «исламским студентам», в его руках иранское радио и телевидение.

Миновал октябрь прошлого года, и с горизонта исчезли иранские троцкисты. Маячит только зловещая фигура имама Хомейни. Поддерживаемый своими приближенными и уличными толпами, он держит власть через посредство своих комиссаров в Революционном совете, а также при помощи Революционной гвардии

и трибуналов. Вот как писал о нем секретарь интернациональной революционной конфедерации иранских студентов в Кельне Али Пуртакамсеби:

«Имам Хомейни представляет иранский народ. Его националистическая линия — единственно правильная. Она одобрена массами рабочих и крестьян, которые привели его к власти. Реконструкция наших учреждений будет трудным делом. Имам Хомейни намечает генеральную линию, а прочие подробности предоставляет разрабатывать другим. Он — вождь. Поэтому студенты — главный резерв для будущего Ирана».

За короткое время тюрьмы снова наполнились, и не только сторонниками старого режима. Телефоны стали подслушиваться сразу, как только полиция теократов принялась за работу, к которой нередко привлекает бывших агентов САВАКА, натасканных на такого рода занятия; они выслеживают и своих бывших сослуживцев, и предполагаемых врагов нового режима. Капризная тегеранская толпа была успокоена обещаниями настоящей демократии, свободы, социальной справедливости и подачками беднякам и безработным, которые финансируются все из того же — нефтяного — источника. Но поведение толпы непредсказуемо, и материальное положение, ухудшаясь день ото дня, усиливает управляемый сверху революционный пыл и ксенофобию.

НОВАЯ ОППОЗИЦИЯ ЗА ГРАНИЦЕЙ

Оппозиция нынешнему режиму консолидируется за рубежами Ирана и направляет и собирает силы сопротивления внутри страны. Иранцы как внутри страны, так и вне ее согласны, что о реставрации не может быть и речи. С тех пор как правые были всосаны революцией или дискредитированы прошлым сотрудни-

чеством с шахом, а крайне левые находятся под давлением мулл, наиболее эффективная оппозиция организовалась в кругах не клерикальных, демократически настроенных и резко противостоящих всем левым. Их штаб-квартира — за границей, но они могут рассчитывать на активную поддержку внутри страны.

Светская оппозиция группируется вокруг так называемого Демократического движения и создает единый фронт против режима Хомейни.

Она включает в себя противников шаха, антиимперские политические группы, которые сражались на стороне иранского народа, прикрываясь знаменем Хомейни и надеясь прийти после него к власти. Множество бывших офицеров присоединились к ним, и потому они уверены в решительной поддержке иранской армии. В ближайшем же будущем оппозиция рассчитывает на умеренных клерикалов, на оружие федаинов и муджахидов, на вооруженных повстанцев Курдистана и недовольство населения. Газеты оппозиционеров, их листовки и магнитофонные записи информируют иранцев о деятельности оппозиции. К ним примыкают все новые и новые люди. Руководители оппозиции в Париже утверждают, что за ними — 20% нации (это было в начале зимы 1980-го) и ряды их все растут. Они считают, что Хомейни не переживет ближайших месяцев. Они надеются прийти к власти в результате неминуемых постепенных перемен. Катастрофическая ситуация может создать условия для военного переворота, или тяжелые ошибки правительства могут усилить активность технократии и специалистов, и власть окажется в руках неклерикальных партий.

Бывший премьер Шапур Бахтияр был приветственно встречен оппозицией, как только он объявился в Париже летом 1979 года, избежав ревтрибунала Хомейни. Прошли первые восторги, отзвучали его предсказания о скором возвращении в Иран, и его популярность в оппозиционных кругах несколько поуменьши-

лась, особенно вследствие его связей с шахом и удачной в прошлом политической карьеры. «Все-таки Бахтияр был в течение 38 дней последним премьер-министром шаха», — часто говорят его личные друзья в эмигрантских кругах. Но они же говорят: «Он будет принят своими последователями в Иране, если захочет вернуться», — и прибавляют, что, отвергнутый народом, он должен идти на улицы Тегерана, где будет решаться судьба страны. «Он должен доказать, что он не изменник, что ему не платили американцы и англичане. Он вредит себе, предлагая референдум: «монархия или республика», иранский народ решил уже этот вопрос ценой немалых жертв. Только социал-демократический строй возможен теперь в Иране».

ПЕРСПЕКТИВЫ

Выживет ли Исламская Республика? Если да, то в какой форме? Опустится ли занавес между Ираном и Западом? Или республика погибнет так же быстро, как возникла? Революционное поколение оптимистично. Али Пуртахамсеби из антиимперской КИС отражает реалистический взгляд умеренных кругов в Исламской Республике:

«Как развивающаяся страна, мы нуждаемся в помощи. Мы хотим ее, но без колониального проникновения. Мы просим помощи у народа, а не у властей. Иран может платить за импорт технологий, не попадая в кабалу к иностранцам. Например, мы можем продавать нашу нефть тому, кому захотим сами. Мы намерены сотрудничать с многими странами, включая европейские. Торговля должна быть двусторонней: мы нуждаемся в технологии для развития страны, а промышленные страны нуждаются в нашей нефти, для своей промышленности. Мы хотим новых взаимоотношений, основанных на равенстве между равными».

Разумеется, противоположные тенденции продолжают существовать, ожидая, что другая сторона совершил какую-либо роковую ошибку, которая приведет к последнему акту драмы. Через полгода после победы революции остались: левые марксисты, исламские радикалы-прогрессисты и буржуазные группы, чувствующие себя преданными и потому желающие, чтобы революция продолжалась. Когда Хомейни призвал массы вернуться к работе, марксисты ответили фабричными комитетами и солдатскими советами, забастовками и агитацией, в то время как революционные бойцы радикалов держат оружие наготове. Войска пока в казармах, разбрелись по домам или эмигрировали. Умеренные клерикалы и разочарованная интеллигенция ворчат по поводу каждого мероприятия властей.

Перед лицом внутреннего недовольства и внешней изоляции — альтернативы неизбежны. Некоторые перемены могут быть вызваны непредсказуемыми факторами. Молодое исламское государство может угаснуть в результате экономического развала, разногласий в среде клерикалов, восстаний национальных меньшинств, анархии, раскола в центральном правительстве... Результат тогда — balkанизация всего района между Персидским заливом и Индией. Или военная хунта (как, впрочем, и крайние политические группировки) может воспользоваться хаосом и заменить шиитских теократов. Тогда не исключено повторение судьбы Афганистана.

Имам Хомейни держит в резерве еще одну карту — СССР. Его атаки направлены на США, Израиль и Европу, но он очень сдержан в отношении Советского Союза. Москва тоже выжидает, но всегда рада будет принять Хомейни в лагерь «неприсоединившихся антиимпериалистических руководителей». Советская дипломатия печет антиимпериализм в антиамериканских формочках, добавляя туда в качестве изюма клерикал- популизм религиозных фанатиков, и ожидает, что они

сломят демократическую оппозицию. Советская политика цинично защищает совместимость антирелигиозного марксизма с исламом. Но муллы и сам Хомейни, сравнивающие коммунизм с фашизмом и именующие его не иначе, как «исчадье шайтана», находят оправдание для тесного сотрудничества. Во всяком случае, Тудэ продолжает процветать. Ее секретарь Кианури заявляет: «Мы никогда особенно не пропагандируем марксизм. Ведь народ должен ходить на наши митинги. Такой свободы, как теперь, мы не знали сорок лет! Тудэ и Исламская Республика Хомейни говорят в один голос!» Опасность в том, что имам может не устоять против самой опасной из возможностей и схватиться за советский козырь в отчаянии как за самое скорое решение. Надеясь выжить хотя бы ближайшее время, имам под влиянием политически невежественных толп способен повернуться спиной к позитивным национальным силам и вызвать трагедию, не сравнимую с пятидесятилетним диктаторским абсолютизмом Пехлеви.

Как и французская революция 1789-94 гг., иранская была спонтанной. Политические партии и группы выросли, как грибы, без четких программ и ясных представлений о системе правления. Сила этой революции была в единстве отрицания шахского режима, в единстве ненависти. Слабость ее того же порядка, что и утопические мечты Робеспьера: Исламская Республика не в состоянии сегодня накормить голодных и установить социальную справедливость без помощи собственной буржуазии и Запада. Имаму угрожает тот самый средний класс, который в конце XVIII века быстро устал от розовых обещаний и убрал диктатора.

Хаос и фанатизм грозят со всех сторон. Одни революционеры уничтожают проституток и... курдов, другие захватывают иностранные посольства, третьи — политически организованные, как Тудэ, — упражняются в демагогии, подкрепляемой чистками справа и слева, и набираются политического опыта, в то время

как имам рассыпает свои директивы из святого города Кома и высшие клерикалы разъезжают по столице в «мерседесах» и занимают роскошные виллы. Новое национальное безумие — сочувствие экстремистам, близким к Тудэ или федаинам, или тем, кто стоит за ними, готовый выйти на сцену. Демократические группы борются за консолидацию. Афганистан вырисовывается на горизонте. Москва пока молчит. Народ страдает.

ЭПИЛОГ

Советское вторжение в Афганистан оказало серьезное влияние на вождей иранской революции, вызвав безответственную реакцию среди многих радикальных элементов. Одно дело — туманный силуэт кремлевских башен на берегу далекой северной реки, силуэт, которым можно запугивать Запад. Совсем иное дело — присутствие 100 тысяч советских солдат, лучшей, может быть, армии в мире, угрожающее восточной границе Ирана.

Это достаточное основание для того, чтобы международное положение усложнилось настолько, что никто уже не сможет контролировать множество не-предвиденных факторов.

Сорокасемилетний экономист Бани Садр выбран первым президентом Ирана. Получивший образование в Париже, умеренный деятель, он пытается найти выход перед лицом многочисленных проблем, навалившихся на Иран, — в частности, как-то решить вопрос нацменьшинств.

Даже со своей больничной койки Хомейни дает ясно понять, что он — верховный «фагхи», наделенный неограниченной светской властью, что он может убрать президента, если тот только заикнется об освобождении заложников. Бани Садр вынужден охладить свой

энтузиазм и отступить от своего намерения освободить американцев, запертых в посольстве.

В этом пункте состояние здоровья Хомейни важно для всего мира. В такой неясной и зыбкой ситуации известное лучше неизвестного. Исчезновение имама со сцены может породить хаос еще невиданный. Наиболее радикальные муллы в Иране нетерпимы по отношению к парламенту и демократическим учреждениям и никак не способны к ответственности полно власти. Вопреки нормальной иранской позиции в отношении советской угрозы, аяталлах Мохаммед Бехешти, глава Революционного совета, утверждает, что советское вторжение в Афганистан никак не угрожает Ирану.

С другой стороны, аяталлах Шариат Мадари и его азербайджанские последователи могут противостоять радикализации, как они уже противостоят с оружием в руках войскам Хомейни в Табризе. Другие восставшие национальности окажутся в еще худшей ситуации, если объединятся вокруг левых националистов. Иранская оппозиция за рубежом испытает нажим с их стороны. В такой ситуации, кто знает, что может произойти — не пригласят ли власти советскую «братскую помощь»? Под каким предлогом — неважно... Или попросят помочь у советских клиентов вроде Сирии или Южного Йемена?

Тудэ продолжает получать помощь из Москвы. В более критической ситуации она может стать хозяином положения в Иране, откроет СССР доступ к Персидскому заливу и поставит под советский контроль крупнейшие в мире нефтяные месторождения. И тогда вокруг западного мира затянется настоящая удавка.

СТИОАРТ Гейтер — независимый американский журналист. Пишет на политические и культурные темы для итальянских, немецких и голландских газет и журналов.

В 1977-78 годах был в Иране, заставил начальный период иранской революции. В настоящее время живет в Риме.

Факты и свидетельства

ЮГОСЛАВСКАЯ ТРАГЕДИЯ

Тексты Боро Карапанджича, Райко Костича (Катунаца) и Мирко Видовича. Предисловие Михайло Михайлова

В то время как о неприглядной истории коммунизма в России напечатаны сотни и даже тысячи книг и исследований — о становлении коммунистической диктатуры в Югославии, о насильственной коллективизации, о югославских лагерях и тюрьмах по многим причинам очень мало известно и на Западе, и на Востоке. Важнейшая причина этому — независимость страны от Советского Союза, явившаяся результатом драматического разрыва Тито со Сталиным в 1948 году, да нынешнее положение Югославии, похожее более на союзничество с западными странами, чем на противоборство.

Верно, что Югославия, то есть югославская коммунистическая партия, впервые в новейшей истории расколола монолитный в те времена коммунистический лагерь и продемонстрировала возможность существования независимого от Кремля коммунистического государства. Вот за это на диктатуру Тито так долго на Западе смотрели сквозь пальцы, и — парадоксально — можно сказать, что были такие годы, с 1948 по 1955, когда правду о Югославии надо было искать в советской прессе. Вообще, когда коммунистические государства обличают друг друга — обеим сторонам можно доверять, и описание нынешнего Китая в советской прессе намного правдивее, чем статьи в западной, обуреваемой желанием увидеть в Поднебесной Империи признаки серьезной либерализации.

К тому же, находясь в экономической и даже военной зависимости от Запада (в 1951 г. Югославия на несколько лет фактически стала членом Североатлантического оборонительного пакта, заключив союз с Грецией и Турцией, в те времена полноправными членами НАТО), югославские коммунисты были вынуждены, в интересах поддержания диктатуры, пойти на либерализацию некоторых сфер жизни. И, несмотря на то, что политическая, организационная, информационная и идеологическая (своегобразный вариант «марксизма-ленинизма») монополия партии и культа личности бессменного вождя остались теми же, что и в других коммунистических странах, — в экономической и культурной жизни страны после разрыва со Сталиным можно было видеть югославскую версию нэпа. В 1953 году начался роспуск колхозов (причем насильственная коллективизация проведена была уже после ссоры с Москвой, в 1949 году!), ликвидирован административный план в промышленности и введена некая форма рыночного хозяйства (без частной собственности на средства производства) с более или менее реальным самоуправлением трудающихся в сфере производства и — менее реальным в сфере распределения прибыли. Со своей стороны, даже такое социалистическое рыночное хозяйство выявило большое число безработных, что заставило партию открыть границы на Запад, где ныне работает миллион югославских рабочих, т. е. большая часть рабочей силы страны. Так, полностью монопольно держа в руках все рычаги власти, югославская компартия прослыла более либеральной, чем все другие компартии у власти в однопартийных странах.

Очень часто именно примером Югославии иллюстрируется миф о порочности советского коммунизма, вызванной подпадением его под влияние исконно русских традиций.

Однако — рано или поздно всякому мифу приходит конец. За последние годы на Западе опубликовано немало хорошо документированных исследований новейшей югославской истории, полностью подтверждающих тезис, что коммунистическая диктатура всюду одинакова, вне зависимости от национальных традиций.

Как уже не раз до сих пор, опять первую реальную (а не лубочную) картину югославской гражданской войны (1941—1946) дал Милован Джилас в своих мемуарах «Время войны» («Wartime», 1977). Другие исследователи на Западе писали о первых послевоенных кровавых годах комдиктатуры. Люди, отсидевшие многие годы в югославских тюрьмах по политическим причинам, опубликовали свои воспоминания, мало отличающиеся от описаний советских тюрем и лагерей.

Теперь уже можно сказать, что существуют достоверные свидетельства почти обо всех преступлениях югославских коммунистов, за исключением концлагерей на островах в Адриатическом море, где в течение семи лет, с 1949 по 1956, находились в заключении в страшнейших условиях несколько десятков тысяч так называемых «коминформовцев», т. е. людей, либо высказавших симпатии к Советскому Союзу (а в Югославии это часто означает — просто к России), либо лишь обвиненных в этом. И хотя их в Югославии и на Западе часто называли «сталинистами», необходимо подчеркнуть, что они не имели ничего общего с советскими сталинцами. Югославским Сталиным ведь был Тито, а не Иосиф Виссарионович. И вот, за семь лет существования этих лагерей — в них погиб каждый третий заключенный, процент, не уступающий сталинским лагерям. Выжившие — либо все еще молчат (Югославия еще не имела своего XX съезда), либо не находят слушателей в западном мире, в котором их

по-прежнему считают «сталинистами», а Тито величают «героем свободы» (слова президента Картера из приветственной речи во время визита Тито в Вашингтон, март 1978). Смею заверить, что личные свидетельства этих югославских лагерников, которые я от них сам слыхал, намного страшнее всего, описанного в солженицынском «ГУЛаге». Надо надеяться, что раньше или позже мировая общественность сможет ознакомиться и с этой лагерной жизнью «антисталинского сталинизма».

В этом номере «Континента» помещены три отрывка из трех книг, освещавших «либеральную югославскую диктатуру»*. Первый — из книги Боро Карапанджича «Титовская кровавая весна», посвященной первому году коммунистической власти в стране, когда с помощью войск Первого Украинского фронта под командованием маршала Толбухина югославские коммунисты одержали победу в гражданской войне и начали систематически истреблять всех «классовых врагов». В ту пору, весной 1945-го, часть антикоммунистических сил осталась в стране и продолжала вооруженное сопротивление под руководством генерала Дражи Михайловича, захваченного в плен и расстрелянного лишь в 1946-м. Интересно отметить, что генерал Михайлович, вождь сербского националь-

* Один из трех авторов, Мирко Видович, уже печатавшийся в «Континенте» как поэт, предложил нам вместо отрывка из своей книги о лагерях и тюрьмах специально для нас написанную статью о «добровольческих» лагерях «большой зоны». Мы думаем, что она окажется исключительно полезной для тех, кто, по справедливому замечанию М. Михайлова, и на Востоке мало что знает о Югославии и часто обольщается ее вариантом «социализма с человеческим лицом» (вплоть до того, что за этот мифический вариант идут в тюрьму, напоминая тех югославских «сталинистов», предпочитавших неведомый им советский социализм хорошо знакомому отечественному). Однако мы не стали просить М. Михайлова исправлять предисловие, считая ценным для читателя приводимые им сведения о Мирко Видовиче и его книге. — Ред.

ногого восстания, начавший борьбу с гитлеровцами уже в апреле 1941 г., когда все коммунисты Европы все еще сотрудничали с немцами, — отказался от предложения западных союзников в 1945 г. эвакуироваться со своим штабом на о. Мальту и так спасти свою голову.

Другая часть противников коммунистов в гражданской войне ушла за отступающими немцами в Австрию к английским армиям. И вот произошло то же, что с выдачей РОА, — английское командование разоружило и выдало коммунистам несколько десятков тысяч (а по некоторым данным — несколько сотен тысяч) людей, которых Тито, в отличие от Сталина, не загнал в лагеря, а в сех перестрелял!

И об этом, впервые из самой Югославии, заговорил Джилас в интервью журналу «Энкаунтер» (1979, декабрь). Чрезвычайно интересно его свидетельство о том, что для Тито и его окружения решение англичан выдать им их противников по гражданской войне было полной неожиданностью. Коммунисты были уверены, что «империалисты», наоборот, сохранят военные формирования «классовых врагов» для борьбы с коммунизмом. Надо думать, что и для Сталина выдача частей РОА была приятным сюрпризом.

В публикуемом отрывке из книги Карапанджича описана выдача коммунистам и расстрел словенских националистических сил.

Два других отрывка взяты из книг, посвященных нынешним югославским тюрьмам и судьбе политических заключенных, число которых в процентном отношении не меньше числа советских политзаключенных.

С авторами обеих книг мне пришлось вместе быть в заключении. С профессором Райко Костичем (псевдоним — Катунац), сербом, я сидел с 1966 по 1970 гг. в каторжной тюрьме города Пожаревац.

С хорватским поэтом и писателем Мирко Видовичем я был в тюрьме Сремска Митровица во время моего второго срока, в 1974—77.

Названия их книг очень похожи. «Погляди, Господи, на другую сторону» Костича и «Другая сторона луны» Видовича являются призывом не прятать взгляда от теневой стороны югославской коммунистической диктатуры — как это на Западе делают десятилетиями. Туристам с Запада в Югославии видна лишь лицевая сторона: продается порнография и Библия — значит, свобода. И люди не хотят знать, что всякая однопартийная диктатура, какой бы она ни была либеральной в экономической сфере, — не может существовать без тюрем, внесудебных расправ, без подавления прав человека. Книги Костича и Видовича это замечательно иллюстрируют. Кроме литературного достоинства (обе книги получили премии эмигрантских союзов писателей), они фактически достоверны, о чем я лично могу свидетельствовать.

Надо думать, что в скором будущем, после ухода Тито и неминуемой «детитализации», — мир будет завален подобными книгами, освещающими все теневые стороны самого либерального коммунистического государства.

Хорошо, что «Континент» начинает это дело.

Михайло Михайлов

Париж, 26 дек. 1979

ВЫДАЧА И ГИБЕЛЬ СЛОВЕНЦЕВ

3 мая 1945 Словенский Народный комитет под председательством д-ра Йоже Васая провозгласил свободную и независимую Словению, входящую в Федеративное Королевство Югославии. Были посланы телеграммы англо-американцам и королю Петру II, чтобы они пришли на освобожденную территорию. Немцы были сломлены, земля свободна, главная часть югославской армии во главе с ген. Миодрагом Дамьяновичем перешла Сочу и находилась в Италии.

Народному Комитету и свободному Словенскому парламенту в Любляне предложили свои услуги 13 тыс. словенских домобранцев ген. Франца Кренера, 3 тыс. сербских добровольцев подполк. Родослава Таталовича и 500 четников кап. Душана Джаковича. Все эти части под командой ген. Кренера должны были сопротивляться партизанам Тито, оберегать созданный комитет и дожидаться прибытия короля и англо-американцев. Но этих частей было недостаточно, чтобы сопротивляться партизанам, и они отошли в Австрию.

Нач. штаба словенских домобранцев подполк. Иван Дрчар дал приказ 8 мая в 4 часа начинать отступление. Отступали из Любляны через Крань, Тржич, к перевалу Любель (1370 м), через Бороле к Ветриню около Целовца (Клагенфурта).

Некоторые немецкие части, отступая, поставили свои заслоны. Дошло до стычек с немцами. Говорят, что какой-то подпоручик убил немца. Но энергичное вмешательство добровольцев дало возможность отступить Королевской Югославской армии и многочисленным беженцам.

ПЕРВЫЙ КОНТАКТ С АНГЛИЧАНАМИ

Когда словенские домобранцы отстранили партизан от охраны моста на Драве около Боривоя, ген. Кренер и Словенский Народный комитет 11 мая впервые смогли вступить в контакт с англичанами. Те им сказали, что они должны явиться в британскую военную комендатуру в Клагенфурт. Комитет послал в Клагенфурт делегацию: члена комитета Марка Краньца и ген. Кренера. Британцы сообщили им, что все перешедшие Драву попадают под защиту союзников.

В тот же день, 11 мая, поехали в Клагенфурт председатель Словенского Народного комитета д-р Басай, свящ. Матия Шкрбец, д-р Валец и переводчик д-р Валентин Мершол. Они просили о приеме у фельдмаршала Александера. Из Клагенфурта их послали в деревушку Порече, в штаб Field Security Service, а оттуда — назад, в комендатуру (Military Gouvernement), которая опекала гражданских беженцев. Сюда они прибыли вечером, застали майора Джонсона, и он сказал, что уже поздно и чтобы пришли завтра.

На следующий день, 12 мая, та же делегация пошла к майору Джонсону. Делегация сообщила ему, что в Корушку прибыло много беженцев — гражданских и военных. Народ бежал от террора, который проводят коммунисты. Делегация просила британские войска предоставить беженцам гостеприимство и защиту. Майор Джонсон ответил, что военные части не входят в его юрисдикцию, но гражданских беженцев комендатура примет и защитит: пусть беженцы разместятся в Ветрине около воинских частей, а он пошлет офицера с поручением позаботиться о них.

В тот же день делегация была в британском штабе в Клагенфурте и поставила вопрос о домобранцах. Их принял кап. Хорнби, заявивший, что домобранцы будут под защитой Британского военного командования.

12 и 13 мая части Королевской Югославской армии и многочисленные словенские беженцы перешли мост на Драве. На левой стороне Дравы они обязаны были сдать оружие. Потом всех военных и гражданских лиц направили в Ветринь, где они соорудили себе лагерь. В Ветрине уже были словенские домобранцы, сербские добровольцы, четники, власовцы и многочисленные гражданские беженцы, большей частью словенцы.

ЛАГЕРЬ В ВЕТРИНЕ

Следующие антикоммунистические части были в Ветрине: Словенские домобранцы (названные при провозглашении Независимой Словении Словенским Народным Войском) под командой ген. Франца Кренера и его помощника полк. Мирка Битенца (ему был подчинен и Словенский легион); 1, 2 и 3 полки Сербского добровольческого корпуса подполк. Радослава Таталовича, начальника штаба СДК; части Русского эмигрантского корпуса; хорватские домобранцы и даже усташа. Тысячи словенских беженцев. После в лагерь пришли ок. 1000 четников воеводы Джуришича, пережившие трагедию на Лиевчем Поле; словенские домобранцы кап. Стаменковича из Нового Места и словенские четники Янза Марна. Считается, что в лагере было ок. 20 тыс. душ.

13 мая Джонсон снова принял делегацию во главе с д-ром Басаем и пообещал беженцам заботу и защиту. Затем делегация опять пошла в британский штаб с информацией о словенских домобранцах. Их опять принял адъютант — бригадный генерал их не мог принять.

14 мая управление лагерем принял канадский майор П. Х. Барр — заместитель Джонсона, проявивший заинтересованность в деле.

Гражданский лагерь словенцев делался все самостоятельнее и лишь формально подчинялся Ветринской комендатуре. Комендантом лагеря майор Барр назначил Марко Краньца: он отвечал за распределение пищи, получаемой из военного лагеря.

16 мая полк. Битенц и д-р Мершол снова поехали в Клагенфурт в британский штаб. И опять говорили с адъютантом Хорнби. Они представили устно и письменно все данные о словенских домобранцах, подчеркивая, что эти части никогда не воевали с союзниками. Они боролись против коммунистов, которые часто убивали невинных людей и жгли села. Домобранцы защищались от внутреннего врага и при всякой возможности помогали союзникам. Поскольку комендатура занималась исключительно беженцами, делегация просила Британский штаб взять домобранцев под свою защиту. Ясного ответа не было получено.

19 мая штабу бригады в Клагенфурте был передан своего рода меморандум о Словенском Народном войске (СНВ): как сельская самоохрана реорганизовалась в отряды домобранцев, а потом в СНВ. Меморандум заканчивался просьбой не расформировывать войско, а направить его туда, где оно может сохраниться как военное формирование. На это британцы ответили устно, что по международному праву домобранцы считаются военнопленными той страны, где их застала капитуляция Германии. Таким образом, они оказывались пленными Тито! Это вызвало беспокойство. 21 мая д-р Байлец передал подполк. Дрчару слова англичан о том, что все в военной форме — пленные, а кто в штатском — беженцы. Это было принято как намек солдатам переодеться в штатское.

Штаб СНВ перегруппировал части домобранцев, и получилась примерно одна дивизия довоенной югославской армии. Были созданы также полицейская рота и технический батальон. Командиром оставался ген. Кренер, начальником штаба — подполк. Иван

Дрчар. Все было проведено с ведома Словенского Народного Комитета.

ВЫДАЧА СЛОВЕНСКОГО НАРОДНОГО ВОЙСКА

Во второй половине мая все чаще говорили, что словенские домобранцы и сербские добровольцы будут переброшены в Италию. Откуда пришли эти слухи — никто не знал. Английские офицеры на вопрос, перебросят ли домобранцев и гражданских лиц в Италию, отвечали по-разному: кто подтверждал, кто — реже — отрицал. Но ни один не говорил, что кого-нибудь отошлют в Югославию.

24 мая был отправлен первый транспорт сербских добровольцев, с оперативным штабом и подполк. Таталовичем во главе. Выехали часов в девять утра в грузовиках по 25 чел. в каждом. Во главе колонны шел английский танк, и за колонной — танки. Таталович спросил английского майора, куда их везут. Майор дал честное слово офицера, что в Италию. Звали этого майора Вильям Джонсон. Англичане довезли добровольцев до станции Мария Эленд и произвели обыск, несмотря на протесты подполковника Таталовича. Потом их отвезли на железнодорожную станцию и окружили английской охраной. Солдаты держали ружья наизготовку, со штыками. Пулеметы и пушки на танках были направлены на добровольцев. А сербские добровольцы все еще верили «честному слову» и что их посылают в Италию.

Станция выглядела пустой, окна и двери были закрыты. Поезд стоял без паровоза. Добровольцев погрузили по 40 чел. в вагон. Офицеров в обычные вагоны — солдат в товарные. Закончив погрузку, заперли вагоны на замок, прицепили паровоз, и поезд пошел к Есеницам — к Югославии.

Как только поезд тронулся, вокзальные двери распахнулись, из них посыпались вооруженные автоматами титовские партизаны. Они вскочили в офицерский вагон и на подножки остальных. А поезд, набирая скорость, шел к Есеницам.

В то же день была захвачена вся информация и архивы с полным перечнем личного состава домобранцев. Колонна с обслуживающими архив была направлена в Подрошицу. Поручик Йоже Сладич показывает:

«В тот же вечер (24) мне рассказал один переодетый в штатское домобранец. Он был в лесу, спрятался за монастырем. Он видел, что и сундук с архивами, и люди были погружены на поезд и отправлены в Югославию».

Следующий транспорт англичане отправили через Рожу в Подрошицу прямо из Ветрина. Опять сказали, что едут в Италию!

По рассказу ордонанс-офицера Альбина (домобранца), к ген. Кренеру пришел один крестьянин из местных и сообщил, что англичане отправили югославские части в Югославию и передали партизанам. Ген. Кренер приказал посадить этого крестьянина под замок, запереть, чтобы он не распространял панических слухов.

25 мая Марко Краньц передал должность коменданта гражданского лагеря Валентину Мершолу.

25-го же пришел из Ветрина четницкий поручик Вуичич и два четника. Они бежали из Есениц. Они два раза были у ген. Кренера, рассказали о выдаче и о том, как зверски поступают с выданными партизаны. Ген Кренер пригрозил посадить и Вуичича, если будет распространять панику. Он все еще верил, что всех отправят в Италию.

26 мая британский генерал приказал до 31-го всем домобранцам готовиться к выезду. Ген. Кренер пошел к английскому генералу за объяснениями. Тот сказал:

1. Мне приказано перебросить вас в Свету Елену около Подрощицы. 2. Куда вас оттуда перебросят, мне неизвестно. 3. Я солдат и должен делать то, что мне приказано. Вы тоже солдат и, надеюсь, поведете себя так, что не надо будет применять оружие».

После этого ген. Кренер со штабом и некоторые части были готовы ехать первым транспортом.

27 мая д-р Басай сообщил:

«В ночь с 26-го на 27-е вернулся в лагерь Влада Летич, сын покойного министра Летича. Он сказал, что полк Таталовича поехал в Есеницы через туннель. Он запутался в некоторых показаниях и просил скрыть его от англичан — и ему не поверили. Не поверили еще и потому, что с Таталовичем бывали кое-какие недоразумения. В это время пришло известие, что словенский транспорт едет через Беляк, а не через туннель к Есеницам».

По поводу этого В. Летич сообщает (в частном письме):

«Меня выслушали члены Словенского комитета и командования домобранцев. Просили по карте им показать, как я бежал. Были не слишком-то дружелюбны. Мне казалось, что они мне поверили, и позднее я был удивлен, узнав, что я «запутался в некоторых показаниях». Что я не хотел встречаться с англичанами — понятно, после того, что было. Тем более, еще раньше они меня засунули в лагерь эсэсовцев, из которого я едва вырвался».

Видно, что все еще больше верили англичанам, чем своим, убежавшим от англичан.

Из дневника подполк. И. Дрчара мы узнаем, что майор Вук Рупник пришел к нему взволнованный и рассказал то, что слышал от В. Летича, т. е. что Таталович и его добровольцы выданы Тито. Это всех встревожило и отбило охоту ехать в Италию. Собрались Кренер, Битенц, Байлец и Вебле и решили, что эти сведения неверны. Назавтра должен был ехать транс-

порт словенских домобранцев. Предложение Дрчара послать разведчиков было отклонено, и первый транспорт словенской молодежи, хотя и не на следующий день, был послан через Есеницы к Тито — на смерть. (Говорят, что сын Рупника был там расстрелян.)

Ген. Кренер переменил очередь, кому ехать раньше, и послал сначала технический батальон, жандармерию и словенских легионеров под командой Мирко Битенца и Ивы Кермавнерия. В воскресенье, 27 мая, в 11 часов, выехал транспорт ок. 600 чел.: через Подрошицу и Есенице, как и другие части Королевской Югославской армии, он отправился прямо на смерть.

Подполк. Дрчар послал разведчика Янкота Марнишека в Подрошицу. Тот поговорил кое с кем из станционных служащих на станции и узнал, что англичане все части передают Тито.

Вечером того же дня еще один человек из Любляны прибежал предупредить о выдаче. Опять ему не хотели верить, хотя майор Мехлет, который должен был выезжать на следующий день, сказал: «Я свою молодежь не отдам». Значит, первые сомнения появились.

Между 27 и 28 мая появились еще три офицера с такими же известиями. Председатель Басай, ген. Кренер и полк. Битенц решили опять поехать в Клагенфурт и окончательно выяснить, куда идут транспорты.

Ордоннанс-офицер британского командования заявил, что транспорты идут в Пальманова в Италии. В штабе дивизии после трех часов ожидания адъютант принял одного ген. Кренера и вручил ему без подписи и печати приказ о переброске СНВ. Ни слова о том, куда идет транспорт. Ген. Кренер и полк. Битенц вернулись в лагерь в тот момент, когда оттуда отправлялся транспорт домобранцев под командой майора Мехлета.

Подполк. Дрчар получил от Кренера разрешение отлучиться из лагеря «по частному делу», поехал на

велосипеде в Подрощицу, и там крестьяне и железнодорожники сказали ему, что все антикоммунистические части из Подрощицы направляются в Свету Елену, где их передают партизанам.

В это время Словенский комитет выпустил сообщение о том, что три группы разведчиков произвели разведку и не установили, что транспорты ушли в Есеницы. Успокоенный этим сообщением, во вторник 29 мая двинулся следующий транспорт.

В этот день комендант гражданского лагеря Баюк спросил майора Барра, британского начальника лагеря: «Возможно ли, чтобы транспорты передавались титовцам?» Барр ответил: «Неужели вы считаете англичан способными на такое!»

В тот же день вечером словенка г-жа Грапарьева сказала майору Джонсону, о чем все говорят в лагере. Джонсон вскричал: «Неужели вы можете в нас сомневаться!»

А в это время был выдан З Словенский полк Макса Кунстглия и артиллерийский дивизион майора Елка Хочавария.

Иван Дрчар, вернувшись в лагерь, сказал, что войска едут в Есеницы, а не в Трбижу, т. е. не в Италию. Ему ответили, что комитет в курсе дела, что части едут в Италию через Бохине. И раз известно, что части едут в Италию, все возбуждающие панику разговоры надо в корне пресекать.

Еще три человека сообщали как очевидцы, что англичане выдают войска, но на всё это не обращали внимания.

Дрчар решил опять ехать в разведку. 30 мая он с кап. Томичем поехали к Лоче. Там подтвердились сведения о выдаче.

В этот день поехал транспорт с майором Вуком Рупником. Он был с женой, им удалось убежать из Пилберга — еще одного места выдачи. Когда они увидели, что их выдают титовцам, они просили их на

месте пристрелить. Никто не хотел сам идти, и англичанам пришлось применить оружие. Когда домобранцы оказались в руках партизан — все до одного преклонили колени и молились громко Богу и Богородице, так, «что их молитва расколола связь земли и неба».

Кренер послал своего шоффера посмотреть, что делается в Пилберге. Шоффер вернулся и рассказал то же самое: домобранцев выдавали в Пилберге.

В это время вернулись Дрчар с Томичем и несколько бежавших. Теперь Словенскому Народному комитету пришлось взглянуть в глаза страшной правде. Комитет сообщил оставшимся, что происходит, и советовал переодеваться в штатское.

В тот же вечер пришли три серба из Радовлиц и рассказали, как титовцы расстреляли тысячу человек на мосту в Радовлицах. И все же на следующий день послали еще один транспорт из 500 человек. Часть была уничтожена в Кочевье, а часть в Техарье. Так последнюю группу домобранцев толкнули на смерть.

Теперь, спустя десятилетия, трудно понять, как Кренер, Битенц и Народный Комитет не верили такому количеству свидетелей. Видно, что им англичане в Клагенфурте, во главе с Вильямом Джонсоном, лгали все время. Но как же они продолжали упорствовать, когда свои люди говорили о том, что видели и пережили? Ясно, что все смешалось в головах руководителей.

СВИДЕТЕЛЬСТВО МИЛНА ЗАЕЦА

Словенский домобранец М. Заец был выдан коммунистам с пятью братьями. Их повели на расстрел в лесах Косевье. Три дня он провел под телами расстрелянных. Сейчас он живет в Кливленде.

«29 мая 1945. Мы собирались из Ветриня в Италию. Нам показалось странным, что поручик Гомир-

шек сказал: «Молитесь о счастливой дороге, ведь мы не знаем, куда едем!» Мы ехали от 8 утра до 5 вечера. Дорога шла обратно через Мораву, англичане нас сопровождали в броневиках и джипах.

В Подрошице мы встретили партизан из Боснии, которых насильственно мобилизовали в 1944 г. Они к нам хорошо отнеслись, так как на нас были королевские гербы. Они пришли только за лошадьми. Потом появились партизаны и ушли в лес. Мы сообщили командирам об этом. Нам сказали не бояться, так как мы под защитой англичан. Но англичане принялись впихивать нас в вагоны и, если погрузка шла недостаточно быстро, били. У них были ружья наизготовку. Потом поезд пошел. В туннеле ввалились в вагоны партизаны и начали грабить и угрожать смертью.

ИЗБИЕНИЕ В КРАНЕ

В Кране нас выгнали из вагонов, повезли в лагерь и оставили под открытым небом. Партизаны привели 17-летнего домобранца Комана Фацета и начали его пытать, выбивая зубы прикладами, потом расстреляли. Он умер героически. Нас спросили, хочет ли еще кто-нибудь добровольно умереть. Убитого остались лежать. На следующий день хотели его выбросить в нужник, но потом все-таки закопали во дворе.

Затем началось избиение. Приходили партизаны из разных мест и искали своих земляков, чтобы их мучить. Особенно старался Маретов Зоне из Нового Места.

1 июня нас повели через Крань. Жители нас ругали как предателей и спрашивали, где мы оставили епископа Рожмана и Рупника. На железнодорожной станции нас с ругательствами и битьем погрузили в

вагоны для скота. В вагон набивали по 60-80 чел., так что мы лежали друг на друге.

Вскоре опять выгрузили и погнали пешком, ругая и избивая. Потом нас передали хорватским партизанам, которые обращались лучше и даже воды дали, а то раньше мы просили, но никто не хотел дать. В Шент-Виде всех опять заперли и начали по одному вылавливать свои жертвы. Взяли офицеравойской полиции Хлебца. Говорят, что, весь избитый, он держался с достоинством.

Потом опять всех погрузили и медленно поехали к Шишке. Партизаны не кричали, но пришли какие-то штатские и, узнав, что это домобранцы, осипали нас бранью.

Поезд остановился где-то за Любляной. Тут нас опять выгрузили. Опять с битьем и ругательствами. Мы бежали бегом мимо собравшейся возле бойни толпы.

ЗВОНИТ AVE MARIA

На Люблянице мост был разрушен, и нас погнали вброд. Потом опять с битьем и издевательствами погрузили в вагоны, через час двинулись. Начало смеркаться. Мы услышали Ave Maria и начали усердно молиться Богородице. Тут партизаны принялись колотить в дверь и орать, что нам уже и Богородица не поможет.

Поезд двигался медленно, но нам, догадывающимся, что нас ждет, — казалось: быстро.

Часов в 5 утра приехали в Кочевье. Мы торопились сами, зная, что будут подгонять. Нас встретили сербские и хорватские партизаны и удивлялись, чего мы боимся. Построили нас по четыре, было нас вместе с сербскими добровольцами около 1600 человек. Загнали нас, как скотину, в здание гимназии. Молили

мы дать нам воды, но никто не дал. Набили нас, как спички в коробок. Перед этим опять обыскали.

ПЯТЬ БРАТЬЕВ ПО ДОРОГЕ К СМЕРТИ

По дороге на завтрак мне сказали, что мои пять братьев здесь.

В пустые банки дали нам немного несоленой фасоли и свекольной ботвы. Но поесть мы не успели, пришел приказ строиться.

Прошли пешком через город. Город кишел партизанами, штатских не было видно. Только одна девушка грустно смотрела нам вслед. Повели нас в рабочий дом. Рядом был барак, полный окровавленной одежды. «Посмотри», — сказал кто-то. Но смотреть не хотелось. Все знали, что это значит.

Войдя в здание, я увидел кучу нарезанной колючей проволоки. Тут вошли три моих брата. Опять обыскивали. Потом связали по двое проволокой. У меня была пачка папирис «Морава». Попросил оставить мне. Тот, кто меня связывал, сказал: «Сейчас пойдете в английский лагерь — там все получите». Загудели грузовики, и нас погнали в кузов.

ПУТЬ К СМЕРТИ

Всем связывали руки назад, а потом локти с соседом. Меня связали с монахом Тони Хочевари. Связав всех, били, грозили расстрелять и стреляли в воздух.

Все, что у меня осталось, — икона Богоматери и Сердца Иисусова. Начал молиться Богородице, чтобы помогла. Загоняя нас в грузовики, двух заставили сесть, а двух — лечь на живот. Я высунулся, насколько мог, чтобы посмотреть на своих братьев. Близнецы были связаны вместе. Третий брат был связан с

Кржником. Они меня заметили и передали улыбками то, что хотели сказать: будь спокоен. Увидимся на том свете, где все лучше...

Четвертого брата я не видел, его повезли позже, после полудня.

2 июня был чудесный весенний день. Ехали мы 30-40 минут. Нас били и требовали, чтобы мы пели. Последняя песня словенских домобранцев по дороге на смерть была: «Будь благословенна, Мария, да будет слышен твой ангельский голос; а когда придет наш последний час, Мария, приди за нами!» Эта песня была кровопийцам не по душе. Они требовали «Наточим косы» или «Триглав, мой дом родной». Но мы не захотели...

Ехали мы не очень быстро. Нам приходилось съезжать на обочину перед возвращающимися грузовиками. В них я заметил одежду уже перебитых домобранцев.

Чем ближе подъезжали, тем громче было слышно стрельбу, разрывы и крики мучителей. Потом стали доноситься и стоны раненых. Они обращались к Богу и Матери Божьей — никто другой их поддержать не мог, ведь лес был полон партизан. Забыли о своем мучении даже те, кто лежал на полу, приваленный остальными. Один домобранец из Березовицы уговаривал нас быть спокойными и достойно встретить смерть, как это и он делает, а он оставил пятерых детей. Я не боялся смерти, но боялся пыток.

Это была первая суббота месяца, 2 июня, и монах Тони Хочевари сказал: «Раньше мы в этот день шли причащаться, а сегодня нас Матерь Божья сама причастит». Это подействовало даже на партизан — они притихли.

РЕЖУТ ЖИВОГО

То, что мы увидели, было ужаснее, чем то, чего мы ожидали. Когда грузовики остановились, нас стали стаскивать за ноги, так как мы были полумертвыми от лежания один на другом, как дрова. Каждый партизан точно знал, что ему полагается делать. Одна группа большими ножами резала шнурки на ботинках и снимала их. Ничего, если кому и ногу порежут. Потом нас связывали в шеренги.

Недалеко от грузовиков на земле сидел совершенно голый домобранец, а около него вертелся партизан и колол его ножом. Кровь была фонтаном. Был он слеп — глаза ему уже выкололи. Но он сидел прямо, подняв голову, не стонал — ни о чем не просил...

НА МЕСТЕ ГИБЕЛИ

Партизаны были без шинелей, с засученными рукавами. У одних в руках были ножи, у других через плечо ружье или автомат. Мы проходили через их ряды, и они нас били. У них были длинные волосы и дикий взгляд. Говорили и на южном диалекте, и по-сербски, и по-хорватски. Кривые ножи были насажены на довольно длинные рукоятки, и офицеры их подбадривали колоть посильнее.

Когда мы шли, нас то останавливали, то командовали шаг вперед, то назад и рычали: копь, яма, сено, солома. Я и сейчас не понимаю, зачем это надо было.

Распределили нас по двое. Притащили к яме некоторых почти без сознания. Метрах в 30-ти от ямы заставили раздеться. Потом, совсем голым, дубинками и ножами показывали путь к рвам. Некоторые дошли туда слепыми и изувеченными, так как партизаны ножами полосовали им лицо или вбивали лезвие в голову

и там поворачивали. Таких полумертвых мы на себе тянули к яме. Я сумел удержать на себе рубашку.

Нас заставили бежать к яме ударами. Я побежал как мог. Сбоку была группа партизан, они стреляли в яму, в полуживых домобранцев, и бросали туда гранаты.

ПОХОРОНЕННЫЙ ЗАЖИВО

В яме нас было 18 живых. Мы оказались в боковом рву. Яма была узкой наверху и расширялась книзу. Мы были голодны, хотелось пить, и было холодно. С убитых, на ком сохранилось что-то из одежды, мы взяли себе и перевязали раненых. Всем, кому могли, — развязали руки. Не могли тем, кто был в среднем рву, так как там стрелял пулемет и бросали гранаты.

Среди нас были военные священники, и мы слушали молитвы на словенском и латинском языке. Было жутко слушать погребальное пение... Многие, умирая, говорили: «Прости им, Боже, не ведают, что творят». Никто в яме не ругался.

Расстрел продолжался 2 и 3 июня целый день, а в понедельник 4-го полдня, с утра.

Ямы партизаны сторожили день и ночь. Даже ночью стреляли и бросали гранаты. Стоны замученных трудно описать.

5 июня настала тишина. Было нас пятеро легко раненных. Мы искали выход из ямы, но не могли найти. Один выглянул, чтобы посмотреть. Его схватили партизаны и допытывали: «Ты рупниковец или недичевец?» Он ответил: «Домобранец». Минут через 10 он упал обратно в яму. Его зарезали. Осталось нас четверо, способных передвигаться.

БРАТСКУЮ МОГИЛУ МИНИРУЮТ

Мы с Винко Мравлетом спрятались под стеной из сталагмитов, а впереди положили убитых для прикрытия. Мы сидели, говорить не хотелось, больше размышляли и иногда обращались к Матери Божьей за помощью. После того, как бросили в яму зарезанного домобранца, слышно стало, что копают. Было ясно, что минируют. Было пять взрывов, кое у кого лопнули барабанные перепонки в ушах. Валились камни на умирающих домобранцев.

Это было 5 июня. Наш ров был широк, и его не засыпало до конца, и наши тела, хоть и падали на них камни, не совсем были засыпаны. Иногда слышен был ропот умирающих. Бросили еще несколько гранат, и ничего не было видно.

ЖИВЫХ ВСЕ МЕНЬШЕ

Прислушивались из рва, есть ли еще надежда на спасение. Когда начало темнеть, мы стали готовиться выходить, так как были уверены, что это наша последняя возможность. Как ни странно, мы были спокойны, хотя понимали, что могли тут и остаться закопанными. Но как только я двинулся, тут же потерял сознание. Пришел в себя только наутро. Я был уверен, что другие уже ушли, а я остался, но меня это не беспокоило. Начал ползти, чтобы быть ближе к свету. По дороге нащупал мертвого Винко Мравлета, и еще, и еще. Около выхода ждал один по прозвищу «Рудник». Он удивился, что я жив. Он думал, что я погиб. Он мне сказал, что все еще стоит охрана и все еще бросают гранаты. Швырнули в яму еще трех раненых.

СПАСЕН

День прошел в ожидании, как бы спастись из ямы. Нас мучила жажда — мы лизали сталагмиты и мочили рот собственной мочой. Чтобы утолить голод, взяли мяса с убитых домобранцев.

Когда спустилась ночь, уговорил «Рудника» побовать выйти. Он не сумел от слабости. Я вылез по дереву, упавшему в яму. Было темно, когда я вылез. Много мух. Ничего не слышу, так шумит у меня в голове. Кто-то был повешен за ноги около ямы. Начал спускаться в долину. Вдыхал свежий воздух. Шел прямо через лес, поднимая кабанов, но их не боялся. Боялся только коммунистов.

БЕЖЕНЕЦ

На следующий день, часа в 4 — 5 вечера, пришел в село Коблер. По дороге пил росу и ел дикий щавель. В Коблере было много партизан. Дождался темноты и подошел к селу. В одном доме дали еды — яйцо и картошки. Отсюда пошел в село Отавицу, куда добрался после 2 часов ночи. Там меня приняла одна добрая семья, где я пять дней отдыхал и поправлялся.

6 июня я убежал из ямы. Скрывался в Доленском лесу до 1 апреля 1946 г. Потом перебрался в Трновский лес. Границу перешел между Св. Гавриилом и Св. Михаилом и пришел в Горицу 4 апр. 1946 г.»

РАССКАЗ СЛОВЕНСКОГО ЛИТЕРАТОРА ЭДВАРДА КОЦБЕКА

В теперешней Югославии Коцбек известен как один из лучших словенских поэтов, как философ и образованный человек. До войны он был одним из лидеров христианского социализма. Из-за этого, хоть и като-

лик, он присоединился к титовскому «освободительному фронту». Его присутствие использовали, послали его в т. н. «Народно-освободительные части и партизанские войска» — в штаб. В первом послевоенном правительстве Тито — Шубашича Коцбек стал министром просвещения. На этом посту он не остался долго, отошел от дел и занялся литературой и философией. Неожиданно в год празднования 30-летия коммунистической революции Коцбек дал интервью, возбудившее европейское и мировое общественное мнение, а Тито старался уменьшить важность этого заявления.

Два словенских писателя Борис Пахор и Алойз Ребула издали книгу — интервью с Коцбеком: «Эдвард Коцбек — свидетель нашего времени». Два писателя задавали вопросы, а Коцбек отвечал. Один из вопросов был о выдаче домобранцев. Коцбек сказал, что он ничего не знал, так как титовцы от него это скрыли.

— Когда вы узнали о массовом убийстве домобранцев?

— Слишком поздно. В конце лета 1946 г., когда с товарищами вернулся из Белграда. Не мог поверить этой информации. Начал искать ее источник, но все двери были герметически закупорены, большинство коммунистов об этом не знало, не знало и население. Кто-то мне дал копию сообщения одного спасшегося с места казни. Получив представление о событиях, я обратился в ЦК партии Словении и потребовал обсуждения. Они не подозревали, что меня встревожило. Я понимал, что, если это правда, я должен отойти от дел.

Заседание состоялось 4 окт. 1946 г. Сначала говорили о невозможном положении крестьян и об отстранении церкви и клира. О домобранцах говорили на следующий день. Я сказал, что от ответа будет зависеть мое сотрудничество. Реакция на мой вопрос была мрачной. Было уже видно в Любляне, что Кидрич уйдет из Белграда, а новым президентом будет Маринко. В то

же время готовился процесс американца Степинца. Неприязнь ко мне все росла. Еще хуже стало после моих высказываний об СССР, когда я оттуда вернулся. Поэтому я ожидал резкого ответа.

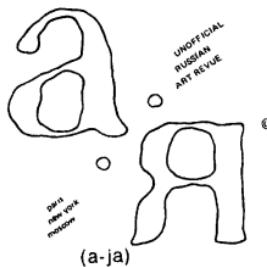
Выступавшие меня уверяли, что у меня неверная информация. Что все домобранцы в лагерях на перевоспитании, а потом их вернут по домам. Что начальники их будут наказаны в строгом соответствии с виной каждого. Заметили мое облегчение, начали подсмеиваться, что, мол, я был бы очень доволен, если бы их всех перебили. А я действительно устыдился после их ответов и благодарил Бога, что Он снял это бремя с моих плеч.

Но вести о побоище становились все настойчивее. Уже появились свидетельства тех, кто избег ада. Для меня было ясно, что пора уходить, но вдруг вышло сообщение Коминформа, поставившее под вопрос само существование Югославии. Отступать тут было бы нечестно. И я решил ждать более подходящего времени. Но обо мне, видимо, стоял вопрос в словенских партийных верхах. Было ясно, что долго правду невозможно скрыть, и они решили отделаться от меня раньше, чем я заявил о своем уходе.

— Как следовало бы, по-вашему, восстановить справедливость по отношению к домобранцам?

— Во-первых, должно иметь смелость покаяться и хоть так облегчить свою совесть. Ответственные лица обязаны нам объяснить, как могла освободительная армия поддаться такому страху перед противником. Обязаны нам сказать, как можно разделить ответственность отдельного человека и ответственность перед историей. Как мы тогда поддались соблазну уничтожения — так это может и повториться. Есть только один путь. Твердо пообещать себе самим, что мы не примем никаких непогрешимых теорий, которые во имя исторической миссии имели бы право выбирать свои жертвы и оправдывать убийство близких. При-

знать свою неправоту — дело всех нас. Мы не изведаем покоя, пока не признаем нашу вину, нашу великую вину. Без этого мы, словенцы, никогда не сможем вступить в чистую и светлую будущность.



Первый журнал, посвященный неофициальному изобразительному искусству.

Номер открывается статьей Б. Грайса «Московский романтический концептуализм».

В разделе «Мастерская» помещен ряд статей московских художников о своем творчестве, а также статьи художественных критиков и интервью.

Под рубрикой «Истоки авангарда» впервые публикуются страницы из дневника К. Малевича 1922 г. «О субъективном и объективном в искусстве».

«Галерея» журнала знакомит с работами художников-эмигрантов, равно как и художников, живущих в Союзе.

Журнал выходит два раза в год и издается на трех языках: русском, английском (параллельный текст) и французском (специальный вкладыш), имеет множество цветных и черно-белых иллюстраций.

Подписка:

во Франции —

I. Chelkovski,
Chapelle de la Villedieu,
F 78310 Elancourt

в других странах —

E. Mühlbach,
P. O. Box 67, CH-1822
1822 Chernex, Switzerland

Стоимость подписки — 70 FF. Стоимость подписки — 35 FS
Цена одного номера — 40 FF. Цена одного номера — 20 FS

РОЖДЕСТВО

На одном из албанцев в тот день была короткая и легкая рабочая блузка. Синие от холода руки с голыми запястьями торчали из рукавов, а из-под чересчур подвернутых брюк высовывались огромные башмаки номера на три больше. Выглядел он жалко, если бы не суровые и резкие черты лица.

Мы договорились первым делом приготовить поесть, и, как только прогудела сирена, печка уже разгоралась. Подтянулись те, кто опоздал к началу перерыва, так что места у печки оставалось мало. Мы нашли печку в укромном уголке, в глубине цеха, и принялись готовить тюрю из черствого хлеба. Пока хлебная тюрьма закипала в котелках, мы грелись, прислонившись к печке, и разговаривали. Я поглядывал в сторону цеховых ворот, опасаясь внезапного появления дежурного надзирателя, тем более, что ни я, ни остальные не знали точно, кто сегодня дежурный. Были среди надзирателей такие, что проходили по цеху, почти не замечая нас, уборщиков: они знали, что это забота вольнонаемного старшего мастера, да и по природе своей были иными, чем некоторые, кто во все совался. Среди таких особенно злобствовал один: весь квадратный, коротконогий, короткошерстий, с водянистыми глазами. Из него так и было желание унизить, изловить, избить, бросить в карцер — под любым предлогом. Мы-то его избегали, да он нас — нет. Грея спину, я о чем-то разговаривал с этим албанцем и глядел сквозь высокие окна, как пуржит на дворе. Рождество. Этот праздник пробуждал далекие воспоминания

Отрывок из книги «Погляди, Господи, на другую сторону». Заглавие публикации дано редакцией.

о детстве, о родителях, друзьях, жене и детях, обо всем, чего вдали ласково касался снег.

Отдавшись воспоминаниям, я едва заметил, что в воротах появился этот самый коренастый надзиратель и пошел прямо к нам. Завидев его, я быстро обернулся, схватил свой котелок и, не поворачиваясь к албанцу, предупредил его. Краешком глаза я увидел, как помрачнело его лицо, услышал, как он выругался. Он и не тронулся с места, а наоборот, повернулся спиной к воротам, помешивая хлеб в котелке. Похоже, что надзиратель заметил это и предчувствовал упрямство и сопротивление: только что он собирался повернуть в другую сторону, как передумал и широкими шагами пошел к албанцу. Прессы гудели и стучали. Все нормально, вроде ничего не происходит, однако все, кто работал на этих машинах, исcosa посматривали, как разовьются события.

Албанец продолжал сидеть лицом к печке. Стражник схватил его за плечо и обернулся к себе. Кинул ему что-то резкое — тот расправился, как пружина, и ответил, глядя прямо в глаза. На мгновение оба умолкли и немо глядели друг на друга, но тут же ладонь надзирателя снова опустилась на плечо албанца и грубо оттолкнула его от печки. Албанец пытался резким движением смягчить его руку, но не сумел, только фуражку свою уронил, и она осталась лежать на грязном полу, как большая черная упрямая слеза.

Я глядел на все это из закутка за прессами, и что-то во мне шевельнулось к этому человеку, какая-то неодолимая потребность следовать за ним во всем, что его ожидает, и, хотя момент был упущен, я пошел за ним. Другие политические подавали мне знаки оставаться на месте. Я не мог. Что-то влекло меня к этому человеку, прямому и смелому, а та скотина в человеческом образе волокла его в это время к заводской канцелярии. Когда они туда подходили, из канцелярии вышел главный инженер, худший, кого только можно

было встретить в этот момент. Старший мастер отделения, как нарочно, был где-то в другом месте. Он, хоть и парторг вольнонаемных, защищал заключенных как только и где только мог. А сейчас перед албанцем стоял этот главный инженер — говорят, русский, сын русского эмигранта, — и шипел на подтянутого человека без фуражки, пока тот не сказал ему спокойно; но громко, достаточно громко, так что и я рассыпал, туда, мол, твою мать русскую ренегатскую. Инженер побледнел и замахнулся левой рукой, но албанец заслонился и оттолкнул его руку, притом скорее неумышленно зацепил его по лицу. Не ожидая такого, инженер шатнулся назад и скрылся за дверью канцелярии, но в следующий момент уже и он и надзиратель схватили храбреца за руки и за шиворот и, как вихорь, не повели, а понесли к центральным воротам цеха.

Люди у ближайших станков приостановили работу, но никто не стронулся с места. Главный инженер вернулся, зашел в канцелярию и принял звонить по телефону. В цех ввалилась дюжина охранников, и работа возобновилась. С лопатой, которая была у меня в руках, я подошел к большим воротам и вышел наружу, на главный двор, у которого два выхода. Один из них — это ворота, отделяющие фабрику от лагерных корпусов, там всегда дежурили охранники, контролировавшие перемещения заключенных. Обычно там проходили заключенные, которых старший мастер посыпал на какие-нибудь работы в корпуса: ремонт, монтаж оборудования и тому подобное. Таких было мало, и они пользовались доверием полиции. Остальные не могли проходить через эти ворота в рабочее время. Только когда работа кончалась, шеренгами по четыре, разделенные по корпусам, рабочие во главе с корпусными командирами могли возвращаться в корпуса. Перед оградой каждого корпуса проходило построение, пересчет и раздача обеда.

И вот здесь, у этих ворот, с их внутренней стороны, обращенной к фабричному двору, стояла горсточка людей, выстроившихся парами, как школьники, без теплой верхней одежды, в блузах и джемперах, так, как вышли на работу в фабричные цеха. Они переминались с ноги на ногу в этой снежной замети, и каждый порыв ледяного ветра ускорял это топтанье на месте, заставлял их все выше натягивать тонкие воротники на шею и уши, обжигаемые ледяным ветром. Я смотрел на этих людей, на этих албанцев, на этих тринацать, как они за того четырнадцатого, меньше десяти минут назад уведенного в камеру, дрожат на морозе и метели, протестуя способом, невиданным в то время ни у политзаключенных, ни у каторжников-уголовников. Эти люди, узнав, что случилось с их другом, без разрешения оставили рабочие места и все до одного вышли к воротам и построились, требуя, чтобы их принял начальник лагеря. Вызванные по телефону охранники появились где требовалось, получили инструкции, а теперь из теплого помещения вахты поглядывали, как эти тринацать дрожат, засыпаемые снегом, карликово крошечные перед гигантскими воротами и высокой серой стеной. Их не хотели разгонять дубинками, ждали, пока замерзнут — с минуты на минуту, из часа в час... А они, всё такие же молчаливые и маленькие среди всего, что их окружало, в этот великий праздник были словно символом человеческой солидарности и любви человека к человеку — всего того, что именно здесь любой ценой ломали, искореняли, уничтожали.

Я ковырял лопатой грязь на дворе и глядел на них, объединившихся в протесте и готовых к спуску в подвалные карцера седьмого корпуса, куда был брошен их друг, — и меня одолевало желание присоединиться к ним, хоть они и не сербы, как я, и не мои единомышленники. Меня так и тянуло стать четырнадцатым в этой промерзшей горстке, проявившей упрямую храб-

рость и открытый протест, разделить страдания, которые они испытывают сейчас и которые их еще ждут. Я огляделся. Никого в той части двора, откуда они видны. Люди сворачивали, чтобы не встретиться с ними взглядом. Когда кто-то уж должен был там пройти, то шел широкими шагами, полуотвернувшись, так, чтобы заметить их разве только уголком глаза, и быстро исчезал, чтобы не попасться на глаза «кому-то» в такой момент. А я стою и стою, но никак не решаюсь присоединиться к ним.

Они — единственная группа заключенных, с которой режим ведет себя жестоко, но с известной умеренностью. Все-таки они, прежде всего, коммунисты и представители национального меньшинства в Югославии. Им разрешается получать в лагере любую марксистскую литературу, даже напечатанную в Албании. Я знал, а наверно, знала и полиция, что они регулярно проводят партийные собрания, где один из них, на свободе писатель и марксистский теоретик, делает доклады. Все это, несмотря на нынешнее происшествие, показывало, что власти не спускают с них глаз, но иначе, нежели с нас остальных, тем более, что недавно их всех собрали в одном корпусе, где они могли встречаться и дискутировать после работы. Сделай я то же, что они, это восприняли бы куда жестче, и ледяной карцер с незастекленными окнами по этой голодной январской поре мог бы меня прикончить. Да, решил я: высок и прекрасен этот жест солидарности и упорства перед лицом тиранов, обладающих здесь неограниченной властью, но идеально эти люди в одних рядах с тиранами. Еще вчера у них был общий язык, и всеми способами они соучастовали в подавлении свободы. Ведь и на каторге они не за то, что выбрали свободу, а за то, что разошлись с титовской партией в том, какие методы эффективнее при ее подавлении. Сходство Мао Цзэ-дуна и Энвера Ходжи не обещало ничего лучшего по сравнению с тем, что творится в моей стране...

И все-таки какая-то легкая дымка затягивала все мои выводы. «Почему они могут и смеют, а мы, несколько сербов, не можем и не смеем? В чем причина? Почему они встают все за одного, хоть веруют в мракобесие, чуждое людской природе, и Бога не ведают; а мы, веря в Бога и в свободу человека, перед любым действием останавливаемся и отступаем? Или людей среди нас больше не осталось, или каким-то, ей одной ведомым чувством моя нация ощутила тщетность всякого сопротивления?»

С такими мыслями отошел я от того места, а там, у ворот, вот уже больше двух часов оставалась эта странная горсточка людей. Никто из начальства, конечно, с ними разговаривать не стал. Развели их наконец по карцерам седьмого корпуса, по пустым одиночным камерам, совсем пустым, ровно без ничего. Все, что там есть, — параша да кувшин с Бог весть когдашней водой. Котелок, обычно немецкий, дают с завтраком, и он годится для сиденья: прямоугольный и с крышкой. А если его не отбирали на ночь, на нем можно было и сидя спать. Окна карцеров, куда в ту субботу посадили албанцев, выходили на север, в них била кошана — северо-восточный ветер с Дуная. Их нарочно загнали туда ждать понедельника — приема у начальника лагеря.

Под вечер этого субботнего рождественского дня я разговаривал с герцеговинцем Джордже и одновременно поглядывал сквозь окно и колючий снег в сторону седьмого корпуса, сострадая тем, кто дрожит от холода там, внизу, безостановочно ходит по камере, на которую уже опустилась ледяная ночь. Я внимательно слушал, что шептал мне на ухо Джордже:

— То, что сделали албанцы, — конечно, смело, нельзя отказать им в храбрости и жертвенности. Но это не предел мужества. История здешних каторжников знает и большую отвагу, и большие жертвы. Мы, несколько нынешних политзаключенных-сербов, — сла-

бый отблеск, малый остаток огромного числа тех, что были тут на каторге после войны. Не было водопровода в корпусах, не было коек. Спали на соломе, стиснутые как сельди в банке. У каждого был обрывок веревки, которым отмеряли место на полу. Когда один ночью во сне поворачивался, его соседу приходилось делать то же самое, а за ними и всем от стенки до стены. Два огромных ряда людей по обе стороны примерно такого помещения, как то, где мы сейчас, — и число их доходило до трехсот. Один большой бак с металлическими ручками без крышки — параша на всех. Смрад стоял от испражнений, гниющей соломы и немытых тел. Двенадцать тысяч людей было в шести корпусах — седьмой служил только для приема этапов и их распределения.

Я перестал думать об албанцах. С этим человеком я сидел уже два года. Я знал, что он никогда не проявил ни малейшего колебания во взглядах, за которые осужден и отбыл уже шесть лет. С ним я мог говорить всегда искренне.

— Откуда ты все это знаешь? — спросил я. — Кто здесь на каторге, после стольких лет, еще знает все это и передает другим поколениям, приходящим двадцатью годами позже? Не может же здесь быть живых свидетелей тех времен!

— Есть, — возразил мне он, — да только они не говорят об этом. Один из них тут «горбит» уже семнадцать лет и ни с кем не говорит. К тому же он изолирован от нас. Спит он в одиночке при бане, а днем убирает корпусной двор и косит траву. Ты его с виду должен знать. Высокий, тощий, мрачный и недружелюбный. С ним и поздороваешься — не ответит. Другой помоложе — скоро лет пятнадцать, как он здесь. Это его вторая каторга. Первый раз ему выпало здесь же просидеть год за членство в молодежном движении Драки Михайловича, но потом его по несовершенолетию помиловали. А позже открыли старое дело

и осудили на двадцать лет. Он надеется, что в этом году его отпустят.

— Это не тот, — заинтересовался я, — что когда-то нашел на своем прессе отрубленные пальцы рабочего из ночной смены и кричал так, чтоб все слышали: «Мясца тебе ночью захотелось, мать божия, так тебя и этак!»?

— Тот самый. Только он редко рассказывает, не доверяет. Политических мало, и не все надежные, об уголовниках и говорить нечего. За эти шесть лет несколько раз мы с ним разговаривали про те времена. Помню, как он описывал одно Рождество, которое они встречали тогда вот в этой самой камере. Было их двести пятьдесят на соломе и на голом полу. Во время работы в литейной они ухитрились тайно испечь праздничную ковригу и где-то достали свечку. Когда их после работы и развода закрыли в камере, они собрались вокруг двух священников, зажгли свечку, и началась литургия громким пением «Рождество Твое, Христе, Боже наш». Все подхватили — голос за голосом, человек за человеком. Некоторые плакали. Слезы сами текли. Немолодые люди, изрезанные морщинами лица: крестьяне, четники, священники — со слезами, что сами текли, пели «Христе, Боже наш» посреди созданной безбожниками каторги, прямые, жесткие и гордые...

И тогда вот эти двустворчатые двери с треском распахнулись от удара сапогом. Ворвался десяток охранников и два пулеметчика со своей «лошадкой». Понеслись приказы и ругань.

— Расходись... вашу мать четницкую! Расходись, стрелять будем!

Пулеметчики установили пулемет на полу. Один лег, целясь в толпу, другой подал ему патронташ. Пулемет щелкнул, и его ствол раззябил пасть на рождественскую ковригу, на свечку, на людей. Люди плотнее сгрудились вокруг священников. Пение не умолкало,

и литургия продолжалась. Несколько охранников, которые прошли в глубину камеры, повернули к дверям. Они были в бешенстве и крыли матом всё: Бога, Христа, Матерь Божию, Рождество, короля, церковь и священников. Вдруг, как по команде, они остановились. Пение слабело. Разрезали ковригу. Был слышен только голос священника: «Благослови люди Твоя и достояние Твое, Господи». Тогда из кучки охранников разнесся громкий крик:

— Огонь! Огонь по бандитам! — Толпа заколыхалась. Некоторые бросились на пол. Края толпы в замешательстве рассасывались, но центр ее со священниками не шелохнулся. Один священник громко выкрикнул: «Христос рождается, братья-сербы!» Все подхватили, в том числе и те, что лежали на полу: «Воистину рождается, отче!» — и толпа начала расходиться. Пулемет молчал, а посредине догорала маленькая еле видная свечечка, из-под ее дрожащего желтого пламени текли восковые слезы, крупные и теплые, как у ребенка, пока грубый сапог охранника не растоптал ее под грязные ругательства. Обломки ковриги летели в лица сидящих, а немногие из стоявших, кто еще остался на месте, за шиворот вышвыривались за двери, и прямо перед порогом их избивали.

— Мы чувствовали, что Бог с нами, — рассказывал мне тот человек с пресса, — но, по Ему только ведомым причинам, попустил нечистую силу. А сила эта, исчисляемая оружием, кулаками и подвалными карцерами, гнала нас в злобе, тяжкой как олово. Того священника, что на крик «Огонь!» громко ответил «Христос рождается, братья-сербы», с десятком крестьян и несколькими четниками бросили в карцера седьмого павильона — по самым лютым морозам. Избивали их там и мучили голодом и холодом. Один из четников не выдержал: когда их рано утром выводили на прогулку, он оторвался от группы и изо всех сил побежал по лестнице, которая вела на крышу

седьмого корпуса. Выводной растерялся, потому что беглец устремился не в сторону стены и проволочных заграждений, но внутрь корпуса. Он знал, что крыша застеклена и что беглецу некуда будет деться. Видимо, рассудил он, это нервный приступ или желание перемены любой ценой. Поэтому он не погнался за беглецом и не дал тревогу, а развел заключенных обратно по карцерам.

— Останетесь сегодня без прогулки, сукины дети, из-за него, и не только сегодня, а еще неделю, — бормотал он, злобно захлопывая двери, — я уж постараюсь об этом перед начальником. — Потом он позвал корпусного старосту из каторжных и погнался за беглецом, грозя избить его до полусмерти. Но на пороге чердака его остановил крик, донесшийся прямо с небес и до нас, тянувшихся двумя рядами по утренней зимней мгле в сторону фабричного двора. Человек стоял на самом краю крыши седьмого корпуса и пошатывался. Позади него — брешь, пробитая в стекле, и ледяное небо. Мы остановились. Охранники разбежались, а он раскинул объятия, словно хотел всех нас обхватить, и выкрикнул что было мочи:

— Да здравствует король Петр! Да здравствует свобода! Долой коммунистов! — Воздел руки к небу, потом внезапно уронил их, перекрестился и на виду у всех нас, онемевших от неожиданности, кинулся вниз, словно птица, резко планирующая к земле. Только руки у него странно затрепыхались. Искривленное в падении человеческое тело заставило застыть и охранников: широко раскрытые глаза, у некоторых и рты разинутые, оцепенелые лица — последний конвой падающего. Секундой позже тело ударилось о смерзшиеся кирпичи, и сквозь тупой удар был слышен резкий хруст, какой бывает, когда ломаешь сырье ветки. Это ломались его ребра и позвонки. И это было всё...

Джордже умолк. Под зарешеченное окно подкра-

лись серые сумерки. Метель улеглась. В камере зажгли свет.

Албанцев выпустили в понедельник, в том числе и того, из-за которого они пошли в карцера. Их принял лично начальник лагеря. В своей теплой канцелярии он некоторое время отчитывал их за их проступок и почти оправдывался, что не принял их в субботу. Разошлись они, по всему судя, по-дружески. Воистину «ворону ворону глаз не выклюет».

КОСТИЧ Радислав (лит. псевдоним Райко Катунац) — родился в 1923 г. в дер. Катун близ Крушевца, в долине Моравы. Участник антифашистского Сопротивления. После войны окончил университет, преподавал. В 1963 г. арестован и осужден на пять с половиной лет за «враждебную пропаганду». В настоящее время живет и преподаает в Нью-Йорке.

ДОБРОВОЛЬНО-ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ

Белградский еженедельник «Нин» (12. 8. 1979) опубликовал большой иллюстрированный репортаж о лагерях «добровольного молодежного труда», в котором фигурирует следующая глубокомысленная констатация: «Народы и нацменьшинства нашей страны и поныне любовно памятают трудовые подвиги добровольцев. Еще не померкли воспоминания о первых днях социалистического строительства. «Мы строим дорогу — дорога строит нас!» — таков был девиз участников первой молодежной стройки Брцко-Бановичи. Немало воды утекло, немало хлеба-соли съедено молодыми участниками народных строек (к нашим дням их число перевалило за два миллиона), давшими стране 80 миллионов бесплатных рабочих дней».

Молодежь действительно активно участвовала как в восстановлении разрушенных зданий, заводов, шоссе, железных дорог, так и в строительстве новых. Началось это сразу же после окончания второй мировой войны, когда новоиспеченная коммунистическая Югославия стала вводить в практику принцип «добровольного труда». Верно и другое: использование неопытной, неквалифицированной молодежи, работающей в основном только летом, стоило немалых затрат. Но тут выполнялась иная, внеэкономическая задача.

Даже взяв власть, компартия оставалась ничтожным меньшинством населения (2%, ныне эта цифра утроилась). Сопротивление режиму, навязанному вооруженной силой, было тем более серьезным, что в стране насчитывается пять основных, весьма отличающихся друг от друга народов, ряд национальных меньшинств и три сильных вероисповедания. Партия сделала ставку на идеологическую обработку молодежи.

Одних учебных программ, хоть и полностью марксистских и атеистических, для этого было недостаточно. Здесь-то и пришли на помощь молодежные «трудовые лагеря», где молодежи всех национальностей предлагалась выработка нового опыта, с тем чтобы прийти к новой, сверхнациональной сознательности и воспламениться «социалистическим патриотизмом».

«Добровольные» лагеря с самого начала служили линии партии — партия «вдохновляет» их и теперь. «Шестидесятилетний юбилей Союза коммунистов Югославии и коммунистических революционных профсоюзов наделил молодежные стройбригады этого года особым вдохновением, — говорит Драгомир Милоевич, председатель Конференции Социалистической лиги трудящихся Сербии. — Эффективная экономическая стабилизация, укрепление политической стабильности нашего общества, дальнейшее развитие структур самоуправления и социалистической демократии — все это означает удовлетворение нужд и интересов широких народных масс и особенно молодежи» («Политика», 11. 6. 1979).

В свете этого вполне естественно, что организация «добровольного молодежного труда» доверена специалистам. Вот что пишет об этом «Нин»: «62 делегата Ассамблеи добровольного молодежного труда, занятой вопросами организации молодежных строек, выдвинуты предприятиями различных областей, органами власти, политическими и общественными организациями».

В стройбригады набирается молодежь из всех республик Югославии — теоретически по принципу добровольности. На деле же, местным властям поручено всеми способами, начиная с психологического давления и кончая прямым шантажом, вовлекать в бригады выходцев из «семей реакционеров». Отказавшегося ехать на стройку ждут самые разные неприятности: плохая характеристика в школе, отказ в стипендии или не-

предоставление общежития в институте. Автор этих строк может служить примером: и в старших классах школы, и в университете он был *обязан* работать добровольно.

Во главе каждой бригады стоят командир, парт орг и десятники — всё лица, «достойные доверия партии». Во главе лагеря стоит начальник лагеря — чаще всего специалист в области пропаганды, занимающий высокий пост в аппарате власти. Он подчиняется непосредственно Ассамблее добровольного молодежного труда.

Прибыв на место работ, бригады расселяются по баракам. Бараки сколочены из фанеры, на скорую руку, тесно уставлены двухэтажными нарами, ничем не отличающимися от обычных лагерных. Начальник лагеря размещается в административном бараке.

Все члены стройбригад получают форму. Вся лагерная жизнь распланирована, как механизм: подъем по сирене, линейка, подъем флага, строем в столовую, строем на работу...

На стройке бригада неумело, наспех выполняет ручные работы под руководством покрикивающих десятников. А тех поторапливает командир. Начальство рук работой не пачкает.

Но обязанности начальства этим не кончаются. Вернувшись в лагерь, десятники отчитываются перед командирами, а те подают ежедневные рапорты начальнику лагеря. За каждым членом бригады ведется строгое наблюдение, а то и прямая слежка, подслушивание разговоров, и все заносится в личную учетную карточку.

Этот учет труда и поведения отзывается эхом позже: разъезжаются члены бригад по домам, и вскоре у многих начинаются неприятности. Значит, местный комитет получил из лагеря отрицательные сведения о том или другом «добровольце»...

Важную роль в этом учете играет не столько сама основная деятельность, т. е. физический труд, сколько участие в общественной работе или уклонение от нее. В лагере постоянно проводятся собрания, лекции, конференции, просмотры агитационно-пропагандистских фильмов, экскурсии. Издается стенгазета, лагерный громкоговоритель передает последние известия. И здесь ты на виду круглые сутки, и во всем надо проявить активность. Рекруты молодежных бригад должны доказать свою способность к послушному исполнению приказов, но, что еще важнее, неустанно «повышать свою политическую подготовку».

Агитационная работа среди молодежи начинается задолго до приезда на стройку. Проводятся многочисленные подготовительные собрания, где молодежь разучивает революционные и патриотические песни, учится скандировать лозунги. Вот как рассказывает об этом белградский студент Зоран Кляич: «В лицее мне довелось участвовать в подготовке к добровольному молодежному труду. На собрании нам дали слова песен, которые надо было выучить наизусть. Каждый из нас получил нагрузку или поручение, и было создано множество разных комиссий. Позже, на собрание в местном комитете, из 250 членов бригады пришло человек десять, и снова всё то же: должности, обязанности, задачи на будущее, всё те же вечные активисты, которые демонстрируют свою работоспособность только на собраниях. И выходит, что стройбригады — это трамплин для карьеристов. Меня это не интересует, поэтому я и не хочу ехать на молодежную стройку» («Нин», 12. 8. 1979).

Чтобы получить награду за труд — медаль ударника, надо действительно не жалеть себя на работе, как знаменитый Аца по прозвищу Трактор. Он вкалывал с таким усердием, что его кирка укоротилась на целых пять сантиметров. Трудовые подвиги тоже помогают в продвижении, а медаль ударника в иерар-

хии наград приравнена к медали за участие в сопротивлении или за особые заслуги перед обществом (это подтверждает загребский «Вестник» в некрологе недавно погибшего мэра Загреба, 2. 12. 1979). Медаль ударника — свидетельство благонадежности в глазах органов власти, она дает членам стройбригад право на стипендию, а позже — на доступ к ответственным постам. Но именно поэтому одними трудовыми подвигами ее не заработкаешь — надо из всех сил проявлять свою любовь к общественной работе. Вполне естественно, что там, где умение произносить речи и выкрикивать лозунги важнее дел, процветает самый худший карьеризм. И еще без одного не обойдешься: надо «заслужить доверие», т. е. попросту сотрудничать, доносить на своих товарищ...»

Сейчас лагеря, предназначенные для идеологической обработки и слежки за молодежью, стали «менее крупными, но более многочисленными» («Нин», 12. 7. 1979). Чтобы повысить их экономическую эффективность, во главе лагерей начали ставить высокооплачиваемых специалистов. По свидетельству сербского журналиста Петара Игни, «начальникам лагерей платят около 12 тысяч динаров», т. е. в три раза больше, чем квалифицированному рабочему в автономном округе Косово, например.

Добровольный молодежный труд сохраняет свое основное значение, свой изначальный политический характер. Изобретенные сначала для внутреннего употребления, сегодняшние трудовые лагеря служат для политической и идеологической обработки детей югославских рабочих-иммигрантов за границей. Так, например, летом 1978 года в работах по расширению железной дороги Самац-Сараево участвовала бригада (39 чел.), набранная руководством «югославских клубов» при консульстве СФРЮ во Франкфурте-на-Майне и «благословленная» в путь генеральным консулом

Югославии в Западной Германии («Арена», Загреб, 30. 8. 1978).

На молодежной стройке «Оток Младости-79», на небольшом островке в Хорватии неподалеку от Шибеника, помимо молодежи из разных республик Югославии, работала «группа детей югославских рабочих в Швеции», представители молодежи 14-ти «не-присоединившихся» стран и молодежный стройотряд из Минска («Политика», 22. 7. 1979). Не заразятся ли молодые минчане югославским вариантом «социализма с человеческим лицом», вариантом, в который кое-кто в СССР еще продолжает верить? Отводя эту возможность, стоит напомнить, что в 50-е годы на молодежных стройках Югославии получал трудовую и политическую закалку будущий палач Камбоджи Пол Пот. Мы уже знаем, как он развил и преобразил полученный им в Югославии опыт...

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЛЯ ПРЕССЫ

28 апреля в СССР в городе Калинине (Тверь) арестован геофизик Иосиф Дядькин. Недавно в своей самиздатской работе он произвел статистическую демографическую оценку неестественной смертности в СССР с 1928 по 1954 год, — тех цифр уничтожения, которые коммунистическая власть тщательно скрывает.

За попытку выяснить их он несет расплату. Его научная работа лишена всякого политического аспекта.

Я призываю независимых ученых Запада, особенно социологов и демографов, вступиться за коллегу. При таких методах подавления мы и никогда не узнаем историческую правду.

Александр Солженицын

14 мая 1980
Кавендиш, Вермонт

ИСТОРИЯ

Александр Некрив

СТАЛИН И НАЦИСТСКАЯ ГЕРМАНИЯ

Чем дальше мы удаляемся от событий 1939 г., тем яснее становится для нас, что заключение пакта о ненападении между социалистическим Советским Союзом и национал-социалистической Германией не было неожиданным поворотом событий. Конечно, общий ход мирового развития способствовал заключению почти военного союза между Германией и Советским Союзом, но в основе его лежали специфические предпосылки, вытекающие не только из геополитического положения обоих государств, их pragматических целей, но из самой природы режимов этих государств.

Оба режима возникли в результате недовольства широких масс существовавшим порядком. Установление тоталитарного господства одной партии было следствием революции в России и политических изменений в Германии. Оба режима, один раньше, так как он возник раньше, другой позже, ставили своей целью изменение существовавшего мирового порядка. Совместная борьба против Версальской системы сплотила их в 20-е годы. Не только политическое, но и военно-экономическое сотрудничество Советского Союза и Германии способствовали созданию военного потенциала как в той, так и в другой стране¹. Советские руководители исходили из неизбежности нового мирового конфликта, в результате которого капиталистическая система должна была погибнуть. Национал-социалистические лидеры также исходили из неизбежности мирового конфликта, в итоге которого должно было быть обеспечено господство «третьего рейха» на века.

Общим были и вражда к буржуазной демократии, и безусловное отрицание моральных норм человеческого общежития.

Начиная с 20-х годов Сталин привык смотреть на Германию как на естественного союзника. В конечном счете Германия, согласно указаниям классиков марксизма-ленинизма и директивам Коминтерна, должна была стать социалистической. Сталина, озабоченного превращением Советского Союза в мощную военную державу и утверждением собственной, никем не оспариваемой диктатуры, устраивала дружественная СССР любая Германия, вне зависимости от ее режима. Национал-социализм даже был лучше, чем любой другой режим, ибо он начисто вымел демократию из Германии. Образ мышления немецкого диктатора был советскому диктатору куда ближе и понятнее, чем государственных деятелей демократического Запада.

Сталин несомненно добивался дружбы и союза с национал-социалистической Германией. Ретроспективное рассмотрение предыстории пакта в 1933—1937 гг. дает достаточное основание для этого вывода.

История советско-германского пакта от 23 августа 1939 года изучена на Западе довольно досконально. Существует обширная литература по этому вопросу². В Советском же Союзе наложено табу на изучение советско-германских отношений в гитлеровский период. Советская официальная историография и в 1980 г. продолжает оперировать теми же аргументами в пользу заключения пакта, какие были утверждены Сталиным при подготовке к печати «всеобъясняющего документа» «Фальсификаторы истории» в 1948 году³.

В этой статье рассматривается отношение Сталина к германскому национал-социализму и первые попытки добиться заключения с нацистской Германией широкого политического соглашения.



В январе 1933 г. к власти в Германии пришла национал-социалистическая партия во главе с Гитлером.

Отношение ВКП(б) (Сталина) к национал-социализму в 1933 г. и в первой половине 1934 г. основывалось на характеристике, данной фашизму Исполкомом Коммунистического Интернационала, как открытой террористической диктатуре финансового капитала, имеющей своей социальной опорой

мелкую буржуазию. С этим была связана и оценка социал-демократии как социал-фашизма и как практический вывод — отказ коммунистов от единого фронта с социал-демократами. XIII пленум ИККИ полагал, что быстро назревающий экономический и социальный кризис перерастет в революционный, что, в свою очередь, приведет к установлению диктатуры пролетариата. Чем скорее это произойдет, тем лучше. Взгляд на фашизм как на своего рода ускорителя революционного процесса был одной из коминтерновских химер⁴.

Жизнь, однако, не подтверждала правильности установок ИККИ. Коммунистическая партия Германии своей борьбой против германской социал-демократии оттолкнула от себя значительную часть рабочего класса в сторону национал-социализма. Раскол в среде рабочего класса Германии, вызванный установками Коминтерна и политикой КПГ, облегчил переход власти в руки национал-социалистической партии Гитлера вполне законным путем — в результате всеобщих выборов, на которых она собрала 11,7 млн. голосов (социал-демократы — 7,2, КПГ — около 6 млн.)⁵.

С приходом Гитлера к власти началось охлаждение, а затем и обострение советско-германских отношений.

На всемирной экономической конференции 1933 года Гугенберг, немецкий министр экономики и сельского хозяйства, объявил Восточную Европу, включая Украину, полем германской экспансии. В Германии штурмовики и эсэсовцы начали нападать на советских граждан. Советские журналисты подвергались гонениям.

Германские нацисты своей программой экспансии на Восток, антисоветскими речами, хулиганскими выходками штурмовиков сделали невозможным в то время осуществление стремления Сталина к широкому политическому урегулированию отношений с Германией.

То, что такое намерение у Сталина действительно было, подтверждается многочисленными фактами. В первой половине мая 1933 г., спустя три месяца после прихода Гитлера к власти, группа высокопоставленных немецких офицеров во главе с генералом фон Бокельбергом посетила Москву по приглашению советского генерального штаба. Нарком обороны Ворошилов в своей речи на приеме в честь немецкой военной делегации специально подчеркнул желание Красной армии сохранить прежние дружественные отношения с рейхс-

вером⁶. Примерно в это же время Сталин прочел русский перевод «Майн Кампф». Если он и не был окончательно убежден в антисоветских планах Гитлера, полагая, вероятно, что изрядная доля высказываний Гитлера является не более чем пропагандой, то во всяком случае должен был как-то реагировать. Сношения с рейхсвером были прекращены, а его сооружения на советской территории закрыты⁷.

Однако вся проблема будущих отношений между Германией и СССР оставалась неопределенной. Советское руководство продолжало надеяться, что после того, как острый период в установлении власти национал-социалистов пройдет, будет возможным восстановление прежней гармонии. Об этом откровенно говорил секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе своему гостю германскому послу в Москве фон Дирксену 16 августа 1933 г. Он говорил это в присутствии других гостей, среди них были двое заместителей наркома иностранных дел — Крестинский и Карабан — и советник германского посольства фон Твардовский.

В течение многих лет Енукидзе был близок к Сталину. По свидетельству посла Германии в СССР фон Дирксена, в 1934 г. Енукидзе был сторонником сохранения дружественных отношений с национал-социалистической Германией⁸. Енукидзе откровенно высказывался в том смысле, что руководящие деятели СССР прекрасно отдают себе отчет в развитии событий в Германии. Им ясно, что после взятия власти «пропагандистские» и «государственно-политические» элементы в партии разделились. Енукидзе подчеркивал, что Германия и СССР имеют крупные общие интересы, заключающиеся в ревизии Версальского договора в Восточной Европе. Енукидзе высказывал надежду, что в скором времени оформится «государственно-политическая линия» и в результате внутриполитического урегулирования германское правительство приобретет свободу действий в сфере внешней политики. Для понимания образа мыслей советского руководства и его оценки национал-социализма особенно важны слова Енукидзе, что подобной свободой внешнеполитических действий «советское правительство располагает уже много лет». Енукидзе таким образом проводил прямую параллель между тем, что происходило в России после революции, и тем, что происходит в Германии после прихода к власти Гит-

лера, т. е. тем, что сами нацисты называли национал-социалистической революцией.

Продолжая эту параллель, Енукидзе сказал, что как в Германии, так и в СССР «есть много людей, которые ставят на первый план партийно-политические цели. Их надо держать в страхе и повиновении с помощью государственно-политического мышления».

«Национал-социалистическая перестройка, — утверждал Енукидзе, — может иметь положительные последствия для германо-советских отношений». Енукидзе явно искал и находил общие линии развития, схожие черты между германским национал-социализмом и советским коммунизмом⁹.

В конце 1933 г. и в начале 1934 г., т. е. как раз в то время, когда советское руководство обсуждало и решало направление советской внешней политики, обращения к Германии с призывом возобновить дружеские отношения настойчиво следуют одно за другим.

24 октября 1933 г. советник немецкого посольства в Москве фон Твардовский сообщает в Берлин о предложении советского «друга» (вероятно, им был ближайший советник Сталина по германским делам Карл Радек) устроить встречу покидающего пост посла в Москве фон Дирксена с Молотовым¹⁰. Цель встречи — прояснение советско-германских отношений. Такого рода предложение могло исходить только с самого «верха».

Прием по случаю празднования годовщины Октябрьской революции 6 ноября 1933 г. используется для того, чтобы пустить «в ход» маршала Тухачевского. Он говорит тому же фон Твардовскому, что «в Советском Союзе политика Раппапорта остается наиболее популярной». Никогда не будет забыто, что рейхсвер был учителем Красной армии в трудный период. Возобновление старого сотрудничества приветствовалось бы в Красной армии особенно сердечно. Надо лишь рассеять опасения, что новое германское правительство ведет против СССР враждебную политику¹¹.

М. Литвинов говорит Муссолини 4 декабря 1933 г.: «С Германией мы желаем иметь наилучшие отношения». Однако СССР боится союза Германии с Францией и пытается парировать его собственным сближением с Францией¹². 13 декабря Литвинов повторяет германскому послу в Москве Надольному: «Мы ничего против Германии не затеваем... Мы

не намерены участвовать ни в каких интригах против Германии...»¹³ Эта же мысль была затем развита Литвиновым в его выступлении на IV сессии ЦИК СССР 6-го созыва 29 декабря 1933 г.¹⁴, вскоре после решения ЦК ВКП(б) о развертывании курса на создание в Европе системы коллективной безопасности¹⁵. Советский Союз входит в Лигу Наций и становится ее активным членом. Однако, несмотря на официальный поворот во внешней политике, Сталин решает проводить и старую ориентацию на Германию, но не прямо, а исподволь.

Накануне XVII съезда ВКП(б) немцы буквально «атакуются» командованием Красной армии. Руководство партии считает, по-видимому, что единственным аргументом для немцев была бы перспектива возобновления военного сотрудничества между рейхсвером и Красной армией. В Москве по-прежнему не отдают себе отчета в том, что дни рейхсвера как самостоятельной политической силы в Германии сочтены, что Гитлер не собирается ни с кем делиться властью, тем более с генералами рейхсвера.

Народный комиссар Ворошилов, начальник генерального штаба маршал Егоров снова и снова повторяют своим немецким собеседникам о желании СССР иметь с Германией наилучшие отношения¹⁶.

В начале января 1934 г. Радек «доверительно» говорит немецким журналистам, что курс на коллективную безопасность вызван напряженным положением на Дальнем Востоке. Но «мы ничего не сделаем такого, что связало бы нас на долгое время. Ничего не случится такого, что постоянно блокировало бы наш путь достижения общей политики с Германией. Вы знаете, какую линию политики представляет Литвинов. Но над ним стоит твердый, осмотрительный и недоверчивый человек, наделенный сильной волей. Stalin не знает, каковы реальные отношения с Германией. Он сомневается. Ничего другого и не могло бы быть. Мы не можем не относиться к нацистам без недоверия». И далее Радек заключает: «Но мы знаем, что Версаль больше не существует. Вы не должны представлять себе, что мы окажемся настолько глупыми, что попадем под колеса мировой истории. Мы знаем кое-что о германских возможностях вооружаться. Политика СССР заключается в том, чтобы продлить мирную передышку»¹⁷.

Высказывания Радека удивительно совпадают по инто-

нации с тем, что заявит спустя две недели Сталин в своем отчетном докладе XVII съезду ВКП(б).

Сталин довольно осторожен в оценке ситуации с Германией. Он обращает внимание на то, что фашизм германского типа «неправильно называется национал-социализмом, ибо при самом тщательном рассмотрении невозможно обнаружить в нем даже атома социализма»¹⁸. Но как быть со второй частью — с национализмом? Сталин оставляет этот вопрос пока открытым. Он только начинает пересматривать традиционно отрицательное отношение партии к национализму вообще, в том числе и к русскому. Вскоре появятся известные замечания Сталина, Кирова и Жданова на макет учебника по истории СССР. Меняется отношение к историческому прошлому СССР и вместе с тем начинается пересмотр и отношения к фашизму, к германскому фашизму в частности.

Согласно партийным оценкам того времени, Сталин рассматривал НСДАП как орудие монополий и рейхсвера. Он не понимал относительно самостоятельного характера нацистского движения. Полагая рейхсвер хозяином положения и имея в виду давнее военное сотрудничество Красной армии с рейхсвером, Сталин не мог оценить всей опасности германского фашизма.

«Мы далеки от того, — говорил Сталин на XVII съезде ВКП(б), — чтобы восторгаться фашистским режимом в Германии. Но дело здесь не в фашизме (выделено мною — А. Н.), хотя бы потому, что фашизм, например, в Италии не помешал СССР установить наилучшие отношения с этой страной»¹⁹.

Сталин повторяет: «...у нас не было ориентации на Германию, так же, как у нас нет ориентации на Польшу и Францию»²⁰. Дверь к соглашению с Германией остается открытой.

В конце февраля 1934 г. в Советский Союз приехал после Лейпцигского процесса Г. Димитров. Находясь в Германии, Димитров воочию убедился в пагубности тактики Коминтерна и КПГ — борьбы против социал-демократов. У него не было сомнений, что эта тактика облегчила национал-социалистам приход к власти законным путем.

7 апреля 1934 г. в разговоре с членами Политбюро ЦК ВКП(б) Димитров поставил вопрос: «...почему в решительный момент миллионные массы идут не с нами, а с социал-

демократией или, скажем, как в Германии, с национал-социализмом?» Димитров полагал, что главная причина кроется в системе коминтерновской пропаганды и в «неправильном подходе к европейским рабочим»²¹. Советские авторы утверждают, что Сталин выразил сомнение в правоте Димитрова и отстаивал известную точку зрения, что компартии не могут завоевать на свою сторону большинство европейских рабочих из-за исторических предпосылок, приведших к связи европейских рабочих масс с буржуазной демократией²².

Однако совершенно игнорировать факты невозможно. Не только события в Германии, но и восстание шуцбунда в Австрии в феврале 1934 г. и антифашистский фронт во Франции подкрепляли взгляд Димитрова на пагубность борьбы против социал-демократических масс.

Вероятно, и Сталина одолевали серьезные сомнения в правильности тактики Коминтерна, если он согласился в конце апреля 1934 г. на избрание Димитрова членом Политической комиссии ИККИ и назначение его руководителем Среднеевропейского секретариата Коминтерна. Впрочем, Сталин относился к Коминтерну довольно презрительно, называя его «лавочкой», а иностранных функционеров Коминтерна считал ни на что не способными наемниками²³.

Расчеты на то, что Гитлер своими репрессиями против немецких коммунистов и рабочего движения прокладывает путь к пролетарской революции и убыстряет ее приближение, оказались бредом. Гитлер очень быстро консолидировал свою власть, ликвидировал не только рабочее движение, но и неугодных генералов, подчинил рейхсвер и физически уничтожил оппозицию в собственной партии.

Сталин сделал свои выводы из этого: теперь, когда Гитлер укрепился внутри страны, не будет ли он более реалистичен в своей внешней политике?

Посол Германии в СССР Надольный, наблюдая политику Сталина, высказал предположение, что политика колективной безопасности, предложенная Литвиновым, полностью Кремлем принята не была²⁴.

Советско-германские отношения в течение 1933 г. и в 1934 г. продолжали ухудшаться. Надольный, поддерживавший идею восстановления «духа Рапалло» в советско-германских отношениях, был вынужден уйти в отставку. Лит-

винов, к которому он пришел с прощальным визитом, сказал послу: «Как он сам, так и другие руководящие лица очень сожалеют о создавшихся плохих отношениях и очень желают восстановления хороших отношений»²⁵. Это заявление, сделанное в середине мая 1934 г., как бы перекликается со сдержанным отношением Сталина к предложению Димитрова пересмотреть оценку германского фашизма и тактику Коминтерна.

В конце мая 1934 г. в связи с предстоящим VII Конгрессом Коминтерна Димитров назначается докладчиком по самому важному пункту повестки дня: о наступлении фашизма и задачах Коминтерна в борьбе за единство рабочего класса. Димитров был достаточно искушен в политических интригах, чтобы считаться с реальностью — Коминтерн зависит от ВКП(б). Решающее слово в определении политики Коминтерна остается за Сталиным. Вероятно, поэтому он обращается лично к Сталину за поддержкой вырабатываемого им нового курса Коминтерна и посыпает ему схему доклада на предстоящем конгрессе²⁶.

В письме в ЦК ВКП(б) от 2 июля 1934 г. накануне начала заседаний подготовительной комиссии Димитров ставит следующие вопросы:

«1. Правильной ли является огульная классификация социал-демократии, как социал-фашизма? Этой установкой мы часто преграждали себе путь к социал-демократическим рабочим.

2. Правильно ли считать социал-демократию везде и при всяких условиях главной социальной опорой буржуазии?

3. Правильно ли считать все левые с.-д. группировки при всяких условиях главной опасностью?

4. Правильной ли является огульная трактовка всех руководящих кадров с.-д. партии и реформистских профсоюзов как сознательных предателей рабочего класса...»²⁷

Письмо Г. Димитрова касалось и других вопросов, в частности, отношения к реформистским профсоюзам. Он предлагал проводить новую политику: политику единых действий не только с рядовыми социал-демократами, с низами, но и с руководителями социал-демократических партий, с верхами. Димитров предлагал также ослабить централизованное руководство коммунистическими партиями из Москвы, дать им больше самостоятельности в решении соб-

ственных специфических проблем, сохраняя лишь общее политическое направление и руководство²⁸.

30 июня 1934 г. Гитлер ликвидировал свою старую гвардию — руководителей штурмовых отрядов, претендовавших на участие во власти. Это событие вызвало у Сталина большой интерес. В Берлин был назначен новый советский полпред Я. З. Суриц, служивший до того в Анкаре. Суриц, который благополучно пережил все «чистки» 30-х и 40-х гг., доверительно рассказывал в начале 50-х гг. о своей беседе со Сталиным по поводу событий 30 июня 1934 г. По словам Сурица, Stalin живо интересовался подробностями «кровавой бани», учиненной в Берлине. Его реплики не были враждебны ни самому Гитлеру, ни другим нацистским руководителям. Больше того, Stalin откровенно выражал свое понимание, если не симпатию, действий Гитлера.

Stalina интересовала эффективность нацистской пропаганды. Он обратил внимание на то, что нацисты ведут ее очень умело и что Геббельс — способный организатор пропаганды. В словах Stalina не было ничего осуждающего Гитлера. Впечатление Сурица находится в полном соответствии с сообщениями Кривицкого и Хильгера в их известных мемуарах²⁹. Хильгер рассказывает, в частности, о конфиденциальных беседах между советскими деятелями, среди них Карл Радек, и профессором Оберлендером, принадлежавшим к окружению гауляйтера Эриха Коха, послом Надольным и другими сотрудниками немецкого посольства в Москве. Высказывания Радека несомненно отражали взгляды кремлевского руководства — Stalina и Молотова. Он действовал по поручению Stalina. Радек не скрывал своего восторга по поводу организационных талантов нацистов, силой их движения и восхищался энтузиазмом германской молодежи. «На лицах немецких студентов, облаченных в коричневые рубашки, — говорил Радек, — мы замечаем ту же преданность и такое же вдохновение, которое озаряли когда-то лица молодых командиров Красной армии, а также добровольцев 1918 года»³⁰.

Радек хвалил штурмовиков и эсэсовцев, называя их «замечательными парнями». «Вы увидите, — воскликнул он, — что они еще будут драться за нас, бросая ручные гранаты»³¹. Между прочим, Гитлер придерживался противоположного

мнения, полагая, что бывший коммунист еще может стать хорошим нацистом, но нацист коммунистом никогда.

Четыре месяца спустя после XVII съезда ВКП(б) Гитлер учинил кровавую расправу над своими старыми соратниками.

Есть много данных, свидетельствующих о том, что Сталин в начале 30-х годов с беспокойством наблюдал растущую оппозицию среди большевистской старой гвардии. Его интерес к событиям в Германии рос в соответствии с его собственными планами ликвидации любых признаков оппозиции к нему персонально. В течение лета-осени 1934 г. он готовился к массовой «чистке» в СССР. 1 декабря 1934 г. Киров, главный соперник Сталина, был убит в Ленинграде. И немедленно волна пропаганды против так называемых «врагов народа» прокатилась по всей стране, точно так же, как это случилось в Германии после убийства Рема и других. Stalin использовал опыт «ночи длинных ножей».

События 30 июня 1934 г. были, вероятно, поворотным пунктом не только для оценки Сталиным германской ситуации, но и его собственных отношений со старой большевистской гвардией, которые давно уже тяготили его, так же как Гитлера тяготили и раздражали претензии «старых товарищей» из командования штурмовыми отрядами.

В расправе, учиненной Гитлером, Stalin усмотрел также окончание «партийного» периода в истории германского национал-социализма и начало «государственного». Прогноз Енукидзе, казалось, оправдывался. Но оставалось серьезное беспокойство. В новом издании «Майн Кампф» сохранилась без всякого изменения программа «Дранг нах Остен», и закрыть глаза на это было просто невозможно.

Карлу Радеку поручается вести кампанию в печати в пользу коллективной безопасности и против агрессивных пополновений нацизма. Сам Радек объяснял с циничной откровенностью руководителю военной разведки в Европе Кривицкому: «Только дураки могут вообразить, что мы когда-нибудь порвем с Германией. То, что я пишу, — это одно, в действительности дело обстоит совсем иначе. Никто не может дать нам того, что дает нам Германия. Для нас порвать с Германией просто невозможно»³².

Радек имел в виду не только военное сотрудничество, но и большую техническую и экономическую помощь, полученную из Германии в годы первой пятилетки. Можно с уверен-

ностью сказать, что иностранная экономическая помощь, и немецкая в частности, сыграла важнейшую роль в строительстве советской промышленности.

Одно за другим появляются предложения СССР Германии: дать совместную гарантию прибалтийским государствам, участвовать в «Восточном пакте», который должен гарантировать любому из его участников безопасность. Оба предложения Гитлером отвергаются.

Курс на организацию коллективной безопасности, т. е. на сближение и на союз с Францией и Англией, усиливается. Теперь у Сталина возникает новая надежда, что боязнь окружения побудит Германию улучшить отношения с СССР.

Довольно прозрачный намек на общность интересов СССР и Германии был сделан Калининым при вручении ему верительных грамот новым германским послом в Москве фон Шуленбургом. Председатель ЦИКа сказал: «Не следует придавать слишком большого значения выкрикам прессы. Народы Германии и Советского Союза связаны между собой многими различными линиями и во многом зависят один от другого»³³. Но в Берлине новому советскому послу Я. З. Сурицу был оказан Гитлером исключительно холодный прием.

Только в конце октября 1934 г. Stalin соглашается с рядом предложений Димитрова об изменении методов работы Коминтерна и его постепенной реорганизации³⁴.

Тактика народного фронта, предложенная Димитровым в начале 1934 г., стала осуществляться компартиями параллельно курсу СССР на коллективную безопасность. (В 1934 г. СССР вступил в Лигу Наций и предложил «Восточный пакт».) Новая политика Коминтерна должна была подкрепить советскую внешнюю политику и особенно была важна для организации выступлений в защиту СССР, если бы оправдались самые худшие предположения и началась бы война с Японией на Дальнем Востоке при одновременной угрозе СССР с запада.

К исходу 1934 г. завершилось формирование новой внешнеполитической концепции СССР. Но это вовсе не означало, что Stalin напрочь отказался от попыток оживления дружественных отношений с Германией Гитлера.

В марте 1935 г. Германия порвала военные установления Версальского договора и ввела всеобщую воинскую повинность. Разрыв Версальского договора воспринимается Stalinым не только с пониманием, но и с одобрением. Бе-

седуя с Иденом 29 марта 1935 г. в Кремле, Сталин говорит: «Рано или поздно германский народ должен был освободиться от Версальских цепей... Повторяю, такой великий народ, как германцы, должен был вырваться из цепей Версая»³⁵. В этой беседе Сталин несколько раз повторяет: «Германцы — великий и храбрый народ. *Мы этого никогда не забываем*»³⁶ (выделено мною — А. Н.). Он говорит не *немцы*, а *германцы*, то есть так, как называли воинственные племена на рубежах Римской империи, и так, как называли немецких солдат русские во время первой мировой войны. В разговоре с Иденом Сталин подчеркивает не культурные достижения немцев, а их воинские качества: германцы «великие» и «храбрые». Именно это импонирует Сталину больше всего. Его ничуть не заботит, что речь идет не о Германии вообще, а о национал-социалистической Германии.

У Сталина в этом разговоре есть, конечно, своя цель: немного попугать английского министра, отвратить Англию от попыток сговориться с Германией за счет СССР — комбинация, которая больше всего беспокоила Сталина. Он сообщает Идену, что переговоры с Германией о кредитах включают «такие продукты, о которых даже неловко говорить: вооружение, химию и т. д.

Иден (с волнением). — Как? Неужели германское правительство согласилось поставлять оружие для Вашей Красной армии?

Сталин. Да, согласилось, и мы, вероятно, в ближайшие дни подпишем договор о займе»³⁷.

Всего три с половиной месяца спустя после визита Идена в Москву в июле 1935 г. Сталин приказывает торгпреду в Берлине Давиду Канделаки прощупать возможность улучшения советско-германских политических отношений. Можно только предположить, почему поручение было дано торгпреду, а не полпреду Сурицу. Это объясняется не только личной близостью Канделаки к Сталину, земляческими или родственными связями, а общей оценкой Сталиным природы германского фашизма. Канделаки вел переговоры о советско-германских экономических отношениях с Хильмаром Шахтом — президентом Рейхсбанка, тесно связанным с германскими финансовыми и промышленными кругами. А по мнению Сталина, монополии суть хозяева Гитлера. Обращаясь к Шахту, он таким образом обращался как бы непосредственно к хо-

зяину. Другим лицом, с которым вел переговоры Канделаки, был Герман Геринг. Его в Москве полагали как бы связующим звеном между германскими монополиями и правительством. Оба, Шахт и Геринг, могли бы оказать решающее воздействие на изменение курса германской политики.

Параллельно разговорам Канделаки с Шахтом и Герингом и как бы в ответ на заявление Шахта, что политические переговоры должны вестись через германский МИД, Тухачевский и Литвинов в Москве³⁸, посол Суриц и советник советского посольства в Берлине Бессонов³⁹ подкрепляют «инициативу Канделаки» собственными настойчивыми призываами к улучшению отношений между Германией и СССР. 21 декабря 1935 г. Бессонов прямо говорит о желательности дополнить Берлинский договор о нейтралитете 1926 г. «дву-сторонним пактом о ненападении между Германией и Советской Россией»⁴⁰.

О том, что в Москве происходил усиленный пересмотр отношения к германскому национал-социализму, мы находим подтверждение в книге известного публициста Е. Гнедина.

Одно из них представляет особенный интерес. «Я вспоминаю, — пишет Гнедин, — как мы, дипломатические работники посольства в Берлине, были несколько озадачены, когда, проезжая через Берлин (кажется, в 1936 году), Элиава, заместитель наркома внешней торговли, в силу старых связей имевший доступ к Сталину, дал понять, что «наверху» оценивают гитлеризм «по-иному», — иначе, чем в прессе и чем работники посольства СССР в Берлине»⁴¹.

Шахт предложил Канделаки обсудить проблему улучшения советско-германских отношений через дипломатические каналы. Шахт обещал также, со своей стороны, информировать германское Министерство иностранных дел о советском запросе⁴².

В течение 1935 и 1936 гг. Stalin продолжал сохранять оптимизм в отношении возможности договориться с Гитлером, несмотря на предупреждения иностранного отдела ОГПУ, что «все попытки СССР умиротворить Гитлера провалились. Главным препятствием для достижения понимания с Москвой является сам Гитлер».

Получение крупного кредитного займа от Германии Stalin расценил как выражение намерения Германии прийти к

соглашению с СССР. На заседании Политбюро Сталин разразил на сообщение ОГПУ следующим образом: «Как Гитлер может воевать против нас, если он предоставляет нам такие займы? Это невозможно. Деловые круги в Германии достаточно могущественны и именно они управляют»⁴³.

Ни конфронтация в Испании, ни заключение германо-японского «атикоминтерновского» пакта в 1936 г. не пошатнули уверенности Сталина в возможности соглашения с Германией.

В конце мая 1936 г. Канделаки и Фридрихсон (заместитель Канделаки) встретились с Герингом, который не только живо интересовался перспективами развития отношений с СССР, но и обещал прояснить ситуацию с Гитлером⁴⁴. В июле того же года советник посольства Бессонов в беседе с высокопоставленным чиновником германского Министерства иностранных дел Хенке обсуждал конкретные обстоятельства заключения советско-германского пакта о ненападении.

Хенке объяснил, что, по мнению германского правительства, пакты о ненападении имеют смысл между государствами, имеющими общую границу⁴⁵. Между СССР и Германией таковой не существует. Это заявление имело кардинальное значение для будущего развития советско-нацистских отношений. В декабре 1936 г. и в феврале 1937 г. Шахт вновь встретился с Канделаки и Фридрихсоном. Шахт сообщает советским эмиссарам, что торговые отношения могут развиваться при условии, если советское правительство даст заверение через своего посла, что оно отказывается от коммунистической агитации за пределами России. Канделаки, согласно записи Шахта, выразил «симпатию и понимание». Самое важное заключалось в том, что Канделаки сообщил Шахту, что он говорил со Сталиным, Молотовым и Литвиновым. По поручению Сталина и Молотова он огласил их мнение, сформулированное в письменном виде. Оно заключалось в следующем: русское правительство никогда не препятствовало политическим переговорам с Германией. Его политика не направлена против немецких интересов и оно готово вступить в переговоры относительно улучшения взаимных отношений.

Шахт предложил Канделаки, чтобы это сообщение было передано официально через советского посла в Берлине⁴⁶.

После подписания советско-германского экономического соглашения Сталин был убежден, что переговоры с Германией идут к благополучному завершению: «Очень скоро мы достигнем превосходного соглашения с Германией»⁴⁷, — сказал он наркомвнуделу Ежову.

Руководителю советской шпионской сети в Западной Европе Кривицкому был дан приказ в декабре 1936 г. прекратить разведывательную работу в Германии⁴⁸.

Запросы со стороны Советского Союза Гитлер использовал для запугивания Англии перспективой советско-германского сближения. В начале 1936 г. такая возможность расценивалась в военных и дипломатических кругах Англии как весьма реальная. Германский военный атташе в Лондоне барон Гейер говорил начальнику имперского генерального штаба Диллу о довольно сильных прорусских тенденциях в германской армии и о том, что германо-советское соглашение может стать скоро свершившимся фактом, если оно не будет предотвращено взаимным пониманием между Англией и Германией.

В Лондоне полагали, что курс на сближение с СССР пользуется поддержкой рейхсвера, Шахта и группы промышленников, заинтересованных в развитии германо-советских экономических отношений, и даже частью нацистской партии, но сам Гитлер решительно выступает против улучшения всяких отношений с СССР, за исключением коммерческих⁴⁹. В английских политических кругах ошибочно полагали, что инициативу в сближении проявляют немцы⁵⁰. В Форин Офисе опасались, что если система коллективной безопасности рухнет, следует ожидать полного изменения советско-германских отношений в сторону сближения. Предотвратить советско-германское соглашение может только политика коллективной безопасности⁵¹.

Между тем положение в Советском Союзе начало быстро меняться к худшему. Шли повальные аресты, развертывался в небывалых масштабах террор. В январе 1937 г. на открытом процессе в Москве Карл Радек, выполнивший роль и обвиняемого и главного свидетеля обвинения, признался в совершенной якобы измене и в шпионаже в пользу Германии. Оболгав себя и других обвиняемых, Радек ненадолго спас свою жизнь⁵². Все переговоры с немцами, которые Радек вел по поручению Сталина (об этом он, разумеется, умолчал), были инкриминированы ему как измена.

Министр иностранных дел Германии фон Нейрат сообщил 11 февраля 1937 г. Шахту, что предложения СССР Гитлером отклонены. Причинами являются советско-французский договор о взаимной помощи и деятельность Коминтерна. Но в то же время Нейрат разъяснил, что, если события в СССР будут и дальше развиваться в сторону установления абсолютного деспотизма, все более зависящего от военных, то в этом случае можно будет вновь обсудить германскую политику по отношению к СССР⁵³.

Гитлер руководствовался не только соображениями неустойчивости положения в СССР и враждебной Германии политикой коллективной безопасности, но и тем, что реакция Англии и Франции на ремилитаризацию Рейнской области и денонсацию Локарнского пакта, проведенную в одностороннем порядке Германией, была настолько слабой, что Германии не следует бояться активного сопротивления ее экспансии со стороны западных держав. Гитлер решил, что пока выгоднее разыгрывать антисоветскую карту.

В апреле 1937 г. слухи о переговорах между СССР и Германией широко дискутировались в европейских политических кругах и в прессе⁵⁴. Но только после решительного опровержения нацистской прессой слухов об изменении германской политики в отношении СССР Литвинов телеграфным циркуляром от 17 апреля предложил советским представителям в Праге и Париже (СССР был связан с Чехословакией и Францией пактами о взаимной помощи) опровергать сообщения о секретных переговорах с немцами. Предлагалось использовать в качестве доказательства факт отзыва и полпреда Сурица, и торгпреда Канделаки из Берлина⁵⁵.

Шахт и Геринг, на обязанности которых лежало создание наиболее благоприятных условий для развития германской экономики, были несколько разочарованы срывом германо-советских секретных переговоров, так как рассчитывали на поставки сырья из СССР. По сообщениям полпреда Сурица из Берлина, Шахт предвидит, «что очень скоро Германия лишится советской нефти и марганца, заменить которые будет «чертовски трудно»⁵⁶. Отказ в поставках Советскому Союзу заказанных и изготовленных фирмой «Цейс» приборов также вызвал неодобрение Шахта⁵⁷.

Несмотря на неудачу советско-германских переговоров, новый советский полпред в Берлине К. Юрненев не упустил

случая подчеркнуть в германском Министерстве иностранных дел, что Советский Союз является сторонником «создания нормальных отношений с Германией и не против хороших. Однако для этого необходимо, чтобы германское правительство прониклось сознанием необходимости конкретного пересмотра своей нынешней политики в отношении нас»⁵⁸.

Почти все, кто принимал по поручению Сталина участие в негласных советско-германских переговорах в 1933—1937 гг., были уничтожены. Последним погиб Бессонов. Его убили в Орловской тюрьме осенью 1941 г. во время массового расстрела заключенных, произведенного НКВД перед эвакуацией города. Лишь один Суриц умер естественной смертью в 1952 г.

Отказ Гитлера заключить с СССР широкое политическое соглашение, хотя и был серьезным ударом по планам Сталина, но не отвратил его от этой мысли.

Пакт с Германией, открывший дорогу войне в Европе, был подписан в Москве 23 августа 1939 г.

* * *

Выбор, который сделал Stalin в пользу союза с Герmaniей, вполне соответствовал его убеждениям и образу мыслей. Он оказался недостаточно смелым и проницательным, чтобы остаться в августе 1939 г. «вне игры», т. е. не заключать соглашений ни с одной из сторон.

Мечты о союзе между революционной Россией и революционной Германией 1918—1919 года, который должен был привести к искоренению капитализма в Европе, получил свое воплощение в советско-нацистском союзе 1939—1941 года, который чуть было не стал концом для советской системы.

Но ностальгия о несбывшемся господстве советско-германского блока в Европе долго не давала покоя Stalinу.

Меньше чем через полгода после вторжения германских армий в Советский Союз, 6 ноября 1941 г. Stalin, пытаясь оправдать заключение пакта с Германией и политику за этим последовавшую, тем, что гитлеровцы были в известный период националистами, говорил: «Пока гитлеровцы занимались собиранием немецких земель и воссоединением Рейн-

ской области, Австрии и т. п., их можно было с известным основанием считать националистами»⁵⁹. В устах Сталина, главного теоретика идеологии «пролетарского интернационализма», это прозвучало скорее не как осуждение, а как одобрение. Почему одобрение? Потому что и сам Stalin занимался «собиранием» земель бывшей империи Романовых: прибалтийские государства, Западная Украина и Западная Белоруссия, а заодно Закарпатская Украина и Северная Буковина — осколки Габсбургской монархии. Впрочем, Stalin не случайно добавил небрежное «и т. п.» Оно могло относиться и к Судетской области, и к Польскому Коридору, судьба которых, как впрочем и всех «и т. д.» областей, должна была решаться в будущем.

Ностальгические нотки у Сталина вновь зазвучали в совсем иной исторической ситуации. В поздравительной телеграмме Пику и Гротеволю от 13 октября 1949 г. по случаю образования Германской Демократической Республики он писал: «Опыт последней войны показал, что наибольшие жертвы в этой войне понесли германский и советский народы, что эти два народа обладают наибольшими потенциями в Европе для свершения больших акций мирового значения»⁶⁰.

Бедные другие народы Европы, не обладающие такими потенциями!

Что в действительности имел в виду Stalin, говоря о «свершении больших акций мирового значения», поведала нам его дочь Светлана Аллилуева:

«Он не угадал и не предвидел, что пакт 1939 г., который он считал своей большой хитростью, будет нарушен еще более хитрым противником. Именно поэтому он был в такой депрессии в самом начале войны. Это был его огромный политический просчет: «Эх, с немцами мы были бы непобедимы (выделено мною — А. Н.), — повторял он, уже когда война была окончена... — Но он никогда не признавал своих ошибок»⁶¹.

Все же Stalin иногда делал выводы из них. Главный практический вывод, который он сделал после войны — был отказ от общей границы с Германией. В июне 1941 г. наличие общей границы открыло Советский Союз для германского нападения на широком фронте.

После второй мировой войны Stalin отгородил Советский Союз от Германии, в конечном объединении которой

он вряд ли сомневался, новым «санитарным кордоном» — кордоном из «братьских» социалистических государств. Таким образом он вернулся к старинной мудрой геополитической концепции: не иметь на своих границах сильного соседа.

За время, прошедшее от совершенной Сталиным ошибки и до ее исправления, Советский Союз потерял 20 млн. человек.

ЛИТЕРАТУРА

1. О советско-германском сотрудничестве в донацистский период см.: *Blucher, W. Deutschlands Weg nach Rapallo*. Wiesbaden, 1951; *Carsten, F. L. The Reichswehr and the Red Army 1920-1933: «Survey»*, Oktober, 1962; *G. Castellan. Reichswehr et Armee Rouge 1930—1939*, in: *J. B. Duroselle. Les relations germano-soviétiques de 1933 à 1939*, Paris, 1954; *Dirksen, Herbert V. Moskau—Tokio—London*. Stuttgart, 1949; *Harvey Leonhard Dyck. Weimar Germany and Soviet Russia 1926—1933*. New York, 1966; *Fisher, Ruth. Stalin und der deutsche Kommunismus*. Frankfurt, 1948; *Gustav Hilger, Alfred G. Meyer. The Incompatible Allies*. New York, 1953; *Karlheinz Niclaus. Die Sowjetunion und Hitlers Machtergreifung*. Bonn, 1966; *Kurt Rosenbaum. Community of fate*. Syracuse, New York, 1965; *Thomas Weingarten. Stalin und der Aufstieg Hitlers*. Berlin, 1970.

2. Назовем лишь несколько исследований и воспоминаний: *Абдурахман Авторханов. Закулисная история пакта «Риббентроп—Молотов»*. «Континент», № 4, 1975. *Philipp W. Fabry. Die Sowjetunion und das Dritte Reich*. Stuttgart, 1971; *Margarete Buber-Neumann. Potsdam-Moscow*. Stuttgart, 1957; *Klaus Hildebrand. Deutsche Außenpolitik 1933—1945*. Stuttgart, 1971; *Kordt, Erich. Wahn und Wirklichkeit*. Stuttgart, 1948; *W. G. Krivitsky. In Stalin's Secret Service*. New York, 1939; *Nadolny, Rudolf. Mein Beitrag*. Wiesbaden, 1955; *Kleist, P. Zwischen Hitler und Stalin. 1939—1945*. Göttingen, 1961; *Walter Laquer. Russia and Germany*. Boston, 1965; *G. L. Weinberg. Germany and the Soviet Union. 1939—1941*. Leiden, 1954.

3. Фальсификаторы истории. (Историческая справка), М., 1948.

4. XIII пленум ИККИ (декабрь 1933 г.) ориентировал коммунистические партии на новый революционный подъем в Германии, который якобы уже начался (см. «XIII пленум ИККИ», стр. 591).

5. Подробно о политике Коминтерна и германской политике Советского Союза см. *Thomas Weingartner. Stalin und der Aufstieg Hitlers*. Walter de Gruyter & Co., Berlin, 1970.

6. *Gustav Hilger, Alfred G. Meyer. The Incompatible Allies*. New York, Macmillan, 1953, p. 256.

7. Там же, стр. 257.

8. *Herbert von Dirksen*. Moskau, Tokio, London. Stuttgart, 1950, S. 128.
9. *Karlheinz Niclaus*. Die Sowjetunion und Hitlers machtergreifung. Bonn, 1966, S. 120-121.
10. DGFP. Serie C, vol. 2, No. 24, p. 40.
11. Там же. №. 47, р. 83.
12. Внешняя политика СССР, т. XVI, № 405, стр. 714.
13. Там же, № 424, стр. 743.
14. Там же, стр. 793.
15. История Коммунистической партии Советского Союза. М. 1959, стр. 453.
16. DGFP. Serie C, vol. 2, No. 176, pp. 338-339. Посол *Надольный* — МИДу. Москва, 11 января 1934 г., № 181, стр. 352-353. *Надольный* — МИДу, 13 января 1934 г.
17. Там же, №. 173, pp. 333-334. Посол в СССР (*Шулленбург*) — МИДу, Москва, 10 января 1934 г.
18. *И. Сталин*. Соч., т. 13, стр. 293.
19. Там же.
20. Там же.
21. *Б. М. Лейбзон, К. К. Шириня*. Поворот в политике Коминтерна, М., 1975, стр. 93.
22. Там же, стр. 91.
23. *W. G. Krivitsky*. In Stalin's Secret Service. Harper & Brothers Publishers, New York, 1939, p. 74.
24. *Hilger*. Цит. соч., р. 267.
25. DGFP. Serie C, vol. 2, No. 447, p. 815. Посол *Надольный* — МИДу. Москва, 12 мая 1934 г.
26. *Георгий Димитров*. Биографический очерк. М., 1973, стр. 133.
27. Там же.
28. *Георгий Димитров*. Письма. 1905—1949. София, 1962, № 156, стр. 197-299.
29. *Krivitsky*. Цит. соч., р. 183. В. Г. Кривицкий — глава советской разведки в Западной Европе, ставший невозврашаем в конце 1937 г. Г. Хильгер — советник германского посольства в Москве.
30. *Gustav Hilger, Alfred G. Meyer*. The Incompatible Allies. N. Y., Macmillan, 1953, pp. 267-268.
31. Там же.
32. *Krivitsky*. Цит. соч., р. 10.
33. DGFP. Serie C, vol. 3, No. 229, p. 455. Посол *Шулленбург* — МИДу. Москва, 3 октября 1934 г.
34. *Б. М. Лейбзон, К. К. Шириня*. Цит. соч., стр. 96-97.
35. Внешняя политика СССР, т. XVIII. М., 1937, стр. 249.
36. Там же, стр. 250.
37. Там же..
38. DGFP. Serie C, vol. IV, No. 383, pp. 778-779. Посол *Шуллен-*

бург — статс-секретарю Бюлову. Москва, 28 октября 1935 г. № 407, стр. 811-813. Шулленбург — Кёпке. Москва, 11 ноября 1935 г.

39. Там же, №. 453, р. 897. Меморандум фон Твардовского. Берлин, 10 декабря 1953 г. № 472, стр. 931-933. Меморандум Рёдигера. Берлин, 21 декабря 1953 г.

40. Там же, стр. 933.

41. Е. Гнедин. Из истории отношений между СССР и фашистской Германией. «Хроника», Нью-Йорк, 1977, стр. 37.

Е. Гнедин — сын Парвуса, многолетний сотрудник иностранного отдела газеты «Известия», а затем Министерства иностранных дел СССР. В течение ряда лет и вплоть до своего ареста в июле 1939 г. Е. Гнедин был заведующим отделом печати МИДа СССР.

42. DGFP. Serie C, vol. IV, No. 211, pp. 453-454. Заметки президента Рейхсбанка Х. Шахта о беседе с Канделаки и Фридрихсоном. 15 июля 1935 г.

43. Krivitsky. Цит. соч., р. 15.

44. Письмо Герберта Л. В. Геринга о беседе его отца, Германа Геринга с Канделаки и Фридрихсоном, 28 мая 1936 г.

45. Заметки Хенке о беседе с Бессоновым, Берлин, 3 июля 1936 г.

46. Заметки Шахта о беседе с Канделаки и Фридрихсоном, Берлин, 6 февраля 1937 г.

47. Krivitsky. Цит. соч., р. 215.

48. Там же, стр. 214.

49. Foreign Office, No. 371. File 20346, 1936. Soviet Union, No. 4771g. Коллер — Чилстону, 29 января 1936 г.

50. Manchester Guardian, 7 February 1936.

51. F.O. No. 371. File 20346, 1936. Soviet Union. No. 90/6/36. 11 February 1936.

52. Сведения о судьбе Радека разноречивы. Он был убит либо в лагере, либо в тюрьме в 1939—1940 гг.

53. Фон Нейрат — Шахту. Берлин, 11 февраля 1937 г.

Кривицкий утверждает в своих мемуарах, что в апреле 1937 г. Канделаки в сопровождении представителя ОГПУ в Германии возвратился в Москву и привез «проект соглашения с нацистским правительством. Он был принят Сталиным, который полагал, что он наконец-то достиг желанной цели» (Krivitsky. Цит. соч., р. 21). Однако это утверждение Кривицкого пока не подтверждается другими источниками и находится в противоречии с установленными фактами.

54. Внешняя политика СССР, т. XX, № 98, стр. 164.

55. Там же, № 110, стр. 174-175.

56. Там же, № 143, стр. 234-235. Телеграмма Сурица НКИД. Берлин, 9 мая 1937 г.

57. Там же, № 128, стр. 204. Суриц — Литвинову. Берлин, 27 апреля 1937 г.

58. Там же, № 273, стр. 429-430. Запись беседы полпреда СССР в Германии К. Юренева с заведующим политического отдела германского МИДа Вейцзекером. Берлин, 30 июля 1937 г.
59. Внешняя политика Советского Союза в период Отечественной войны, т. I, М., 1953, стр. 43.
60. Внешняя политика Советского Союза. 1949 год. М., 1953, стр. 28.
61. Светлана Аллилуева. Только один год. Харпер энд Роу. 1970 г., стр. 339-340.

НЕКРИЧ Александр Моисеевич — родился в 1920 г. Окончил исторический факультет МГУ в 1941 г. В 1942—45 гг. был на фронте. С 1950 по 1976 работал в Институте истории АН СССР, с 1963 — доктор ист. наук. Среди его работ по истории СССР, Великобритании, международных отношений — вышедшая в 1965 г. и вскоре раскритикованная и изъятая из библиотек книга «1941, 22 июня». В 1967 г. автор был исключен из партии (в которую вступил на фронте), практически лишен возможности публиковаться. В 1976 г. эмигрировал, живет в США, работает в Русском исследовательском центре Гарвардского университета. За границей выпустил написанную в СССР работу «Наказанные народы» о сталинской депортации малых народов в конце второй мировой войны (изд. «Хроника») и автобиографические записки «Отрещись от страха» (изд. «Оверсиз»).

**CHALIDZE — PUBLICATIONS
505 Eight Avenue
New York, N.Y. 10018**

Несколько лет назад в США на английском языке вышли нашумевшие мемуары Н. Хрущева, подлинность которых доказана экспертами.

Теперь,
впервые по-русски
выпущены

ВОСПОМИНАНИЯ НИКИТЫ ХРУЩЕВА

В книгу вошли наиболее ценные и исторически интересные части записей мемуаров. Вот заголовки некоторых глав:

Договор с Гитлером о начале войны; Варшавское восстание; Дело врачей; Смерть Сталина; О семье Сталина; О генерале Власове; Арест Берии; Кубинский кризис.

В книге 300 страниц, цена — 12.00 долл.

* * *

Также в продаже:

Уникальная

ИСТОРИЯ ТЕЛЕСНЫХ НАКАЗАНИЙ В РОССИИ

(переиздание с книги 1906 года)

автор: известный русский публицист —

Н. ЕВРЕИНОВ

в книге 234 страницы с многочисленными иллюстрациями, цена — 15.00 долл.

КОРАН, 490 стр., 20.00 долл.

Пожалуйста, пришлите чек или мони-ордер с Вашим заказом.

ИСТОКИ

Виктор Каган

В ДВУХ ЗОНАХ

Два генерала

Е. А. Беркалов и П. А. Гельвих работали в одном учреждении. Оба были крупнейшими специалистами по внешней баллистике. Оба были в прошлом генералами царской армии. Оба имели ромбы, соответствовавшие их прежним генеральским погонам. Оба в 1939 году очутились на Лубянке. И оба по окончании следствия услышали от Берия одно и то же:

— Я ознакомился с вашим делом. Оно не такое уж страшное. Вы будете работать в нашей системе, выполнять правительственные спецзадание. А через год мы вас освободим.

Бывшие генералы ответили по-разному, и с этого момента их судьбы пошли разными путями.

* * *

Беркалов поверил слову наркома, и его немедленно отправили в только что организованный IV спецотдел. Через год на «шарашку» приехал адъютант начальника IV спецотдела, передал Беркалову привет от своего шефа, справился о его здоровье и сообщил, что по чисто формально техническим причинам его освобождение откладывается на год и чтобы он не беспокоился. Так он приезжал три раза.

... В 1943 году на совещании в Главном артиллерийском управлении Сталин вдруг спросил:

— А где этот старичок, который занимался высокими начальными скоростями? — Увидя общее замешательство, он заговорил с Берия по-грузински...

... На шарашке в Перми Беркалова вдруг срочно взяли «с вещами» и отправили самолетом в Москву. И сам он, и друзья его думали, что это пересмотр дела и расстрел. Но на Кузнецком мосту ему вручили генеральский мундир и ключи от квартиры в фешенебельном многоэтажном доме на улице Володарского. Солдаты-конвоиры отнесли ему чемоданы, и теперь уже им понадобилась его протекция у военного коменданта на вокзале, чтобы суметь выехать из Москвы обратно в Пермь.

Вдова Е. А. Беркалова, Т. В. Беркалова, показывала мне документ, отпечатанный на узкой полоске бумаги:

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР**

Слушали: ходатайство НКВД о помиловании Беркалова Е. А.

Справка: Беркалов Е. А. осужден по ст. 58 (далее перечислены пункты, означавшие участие в организации, шпионаж, вредительство, террор).

Постановили: Помиловать Беркалова Е. А. со снятием судимости.

Формально Беркалова представили к помилованию за разработку новой полевой пушки. На самом деле руководителем проекта был другой человек, которого, правда, тоже освободили и годом-двумя позже даже наградили.

Е. А. Беркалов умер от рака в возрасте около 75 лет, помнится, в 1952 году. Он был генерал-лейтенан-

том, действительным членом Академии артиллерийских наук и умирал в Кремлевской больнице.

* * *

Гельвих ответил:

— После того, что со мной произошло, я не верю никаким обещаниям. Если вы хотите, чтобы я работал, — освободите меня. Тем более, вы сам говорите, что дело не страшное.

Берия, понятно, вскипал:

— Вы, военный человек, отказываетесь выполнять оборонное задание правительства? Вы понимаете, что это значит?

Но Гельвих остался непреклонен:

— Я не мальчик и прежде, чем принимать решение, взвесил все возможные последствия. Я уже пожилой человек и жил довольно.

Гельвиха освободили. Он вернулся на свою прежнюю работу. Несколько лет спустя он получил Сталинскую (по-теперешнему Государственную) премию, которая тогда считалась высшей премией, как потом Ленинская. А еще несколько лет спустя Гельвиха взяли снова и отправили в спецлагерь на Тайшет. После смерти Сталина он был реабилитирован. Он не пожелал выходить на волю в лагерном тряпье и потребовал, чтобы ему вернули его генеральский мундир. В момент освобождения Гельвиху было 80 лет. Не помню, сколько он еще прожил на воле.

* * *

Историю двух генералов мне рассказал В. В. Палячек, мой товарищ по шарашке, бывший начальник прокатного цеха на Мотовилихе. Он был хорошо зна-

ком с Беркаловым, с которым работал вместе в начале своей арестантской карьеры. Важное подтверждение его рассказа — факт, что Гельвих не попал в IV спецотдел.

О том, как Гельвих выходил на волю, и кое-что о его жизни в Тайшете рассказало в «Повести о пережитом» Б. Дьякова. Свидетельство Дьякова о гордом, независимом поведении Гельвиха подкрепляет рассказ Палячека. Его рассказ о «советском патриотизме» Гельвиха, который будто бы тяжело переживал, что Сталин умер, так и не узнав о его невиновности, требует критического отношения. Это либо просто выдумка Дьякова, либо свидетельство, что Гельвих (справедливо!) считал его провокатором и держался так, чтобы не дать повода для доноса. Т. В. Беркалова, хорошо знавшая Гельвиха, нисколько не сомневалась насчет его истинного отношения к Сталину и к советской власти.

ДВЕ ПРОТЕКЦИИ

Т. В. Беркалову взяли вскоре вслед за мужем. Первый следователь только уговаривал ее подписывать и однажды устроил ей «экскурсию», чтобы показать, к чему может привести ее упорство.

...Дверь в коридор отворилась, и она увидела спину в белом халате. Человек волоком вытаскивал что-то из камеры. Он разогнулся, обернулся, и она увидела, что весь перед халата в крови...

...Потом у нее переменилось несколько следователей. Ее били, приводили в чувство и снова били. В конце концов она «созналась», что выкрадывала секретные документы из учреждения, где работал ее муж, и передавала их эстонскому консулу.

— Уж хоть бы английскому или японскому, а то ведь какая-то картофельная республика!

Ей бы нужно было суметь незамеченной пройти мимо трех вооруженных часовых и на глазах у четвертого открыть сейф, но следователей такая версия не смущала. Вместе с нею в камере ждала своей участии молодая девушка, японовед. У той в обвинении значилось, что она спускала под откос поезда где-то на Дальнем Востоке, хотя она там никогда не бывала.

...Берия приехал инспектировать шарашку, и Е. А. Беркалов обратился к нему с личной просьбой: его жена, его единственный близкий человек, арестована, и это очень его угнетает. Нельзя ли хоть как-то облегчить ее участь? Берия ответил просто:

— Хорошо, я ее освобожжу.

...Ее вызвали «с вещами». Везли в автомобиле, потом в поезде, потом снова в автомобиле. Ввели в кабинет. За столом сидел Берия и перелистывал ее дело.

— Послушайте, зачем вы подписали всю эту чепуху?

— Если бы к вам применили такие меры, как ко мне, вы бы это тоже подписали.

Он засмеялся и похлопал ее по плечу.

— Ладно, ладно, хорошо... Уведите ее!

...В Ленинграде ее привели в кабинет уже не на пятом, а на первом этаже. Обращение почти галантное. Переследствие. Она рассказала все, как было. Следователь, вызванный на очную ставку, все отрицал. Он вышел, и начальник сказал ей:

— Вот ведь мерзавец, как врет все.

На следующий день ее снова подняли на пятый этаж. Какой-то новый следователь сразу заорал на нее и стал снимать ремень. Она закричала, что не даст себя бить, что вчера на первом этаже с ней говорили совсем иначе. Он стал звонить по телефону, затем отправил ее обратно в камеру. Это был сбой системы.

Потом ее снова вызывали на первый этаж. Потом ей вручили справку, что дело прекращено за недостат-

ком улик, и отпустили. Через некоторое время ее, уже вольную, вызвали в «большой дом». В кабинет ввелоκли одного из бывших ее следователей. Руки его были скручены проволокой за спиной. Он делал вид, будто не знает ее, но его заставили вспомнить. Составили протокол очной ставки и выволокли его вон.

— Мы надеемся, вы удовлетворены?

Она ответила, что ей все это отвратительно. Больше ее не беспокоили. Из всех бывших ее следователей уцелел только первый. Она узнала об этом, случайно встретя его на улице.

* * *

Н сидел в корпусе для осужденных, ожидая отправки на пересылку. Дни были жаркие, и кормушки в камерах были открыты. Когда его вели на прогулку, из соседней камеры кто-то крикнул:

— Мужик, кинь чего-нибудь пожрать!

В следующий раз, идя на прогулку, он перебросил соседу две пайки хлеба.

...На пересылке его встретил бывший сосед Женька, вор в законе, верховод в камере, здоровенный малый. Встретил, как родного. Делился едой, обул, одел с ног до головы и дал с собой денег, когда Н уходил на этап.

...Его привезли в лагерь в каком-нибудь часе езды от пересылки. Этапников сразу окружили местные воришки. Один пристал к нему, чтобы сыграл в карты на ботинки. Он отказался. Воришко, подкравшись сзади, ударил его поленом по голове. Пришлось пойти в санчасть, сделать перевязку. Но он не пожаловался. Вечером пришел новый этап и в том этапе двое блатных, которые были на пересылке в одной камере с ним и с Женькой.

— Что у тебя с головой?

Он рассказал.

Ночью его привели в пустой недостроенный барак. Там были двое блатных с пересылки и воришкой, ударивший его поленом. «Правилка».

— Рассказывай, как было.

Он рассказал. Заикнулся было, что это непорядок, но его сразу оборвали.

— Сами разберемся, — и к воришке: — Так было, как он рассказал?

Тот стал было что-то объяснять.

— Все ясно.

Один из блатных со всего размаха ударил воришку по голове куском водопроводной трубы, а второй дважды пырнул упавшего ножом в спину.

— Ну вот, если где встретишь Женьку, скажи, что мы не остались в стороне.

* * *

Эти две истории мне рассказали два протеже.

Январь 1980. Иерусалим

**ОБЩЕСТВЕННЫЙ КУЛЬТУРНЫЙ ФОНД
«МОСКВА — ИЕРУСАЛИМ»
КНИГОТОВАРИЩЕСТВО «МОСКВА — ИЕРУСАЛИМ»
издает «22»**

либеральный нон-конформистский журнал, открытый для свободных дискуссий, не связанный ни с какой идеологической доктриной, кроме доктрины нравственности и добра; литература, искусство, документально-исторические хроники, психология масс, философия, религия, проблемы современного еврейства, тоталитаризма, демократии, взаимоотношения личности и государства; Израиль—Россия—Запад—Восток, критические и публицистические эссе, рецензии, публикации забытого и замолчанного, политические портреты, переводы лучших израильских и западных авторов.

**В БЛИЖАЙШИХ НОМЕРАХ НЫНЕШНЕГО ГОДА —
проза:**

Ст. Лем. «Футурологический конгресс». Л. Гиршович. «О теле и духе». Ю. Милославский. «Верста Коломенская», рассказы. Я. Цигельман. «Дуэль». С. Островский. «О Боливаре Павидлове». М. Шавельсон. «Одннадцатая заповедь».

поэзия:

Анри Волохонский, Илья Бокштейн, Лия Владимирова, Михаил Гендевлев, Борис Камянов.

публистика:

Р. Конквест. «Интеллигенция и политика»; Э. Эфрат. «Израиль в 2000 году»; М. Каганская. «Диссиденты — революционеры или охранители?»

публикации:

М. Гершензон. «Судьбы еврейского народа»; Ю. Маргolin. «О лжи».

дискуссии:

«Вокруг романа Э. Лимонова». «Поиски третьего пути». «Религия и государство в современном мире».

Выходят шесть книг в год.

Подписная цена: на год — 24 долл., на полгода — 14 долл., одна книга — 6 долл.

Пересылка морем включена в стоимость журнала.
Авиапочтой: Европа — 2 долл., США и Канада — 2,5 долл.

«22», Р.О.В. 7045, Ramat-Gan, Israel.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: д-р Рафаил Нудельман

Литературный архив

Даниил Хармс

ПРОЗА

Публикация и предисловие Ильи Левина

МИР ВЫМЫШЛЕННЫЙ И МИР СОЗДАННЫЙ

В январе 1976 года в «Комсомольской правде» появилась статья Н. Халатова под заголовком «Поэт с улицы Маяковского». Статья была напечатана в связи с семидесятилетием со дня рождения Даниила Хармса, и основная ее мысль заключалась в том, что когда-то в Ленинграде на улице Маяковского жил детский поэт Даниил Хармс, чьи стихи были не хуже детских стихов самого Маяковского. Все это правда: действительно, жил там такой поэт, и детские стихи его были не только не хуже детских стихов Маяковского, но и неизмеримо лучше. И все же основная мысль статьи Н. Халатова была лживой. Дело в том, что числить Хармса исключительно по ведомству детской литературы столь же резонно, как, скажем, о Пушкине вспоминать только в связи с историей отечественной журналистики: издатель «Современника». Хармс был автором блестящих стихов и рассказов для детей, однако место их в его творчестве вполне исчерпывается определением, данным его другом Александром Введенским собственным детским сочинением: «сумма прописью», средство литературного заработка. Не они составляли главное в творчестве Хармса. Но факт остается фактом: если не считать нескольких случайных публикаций в периодике, из всех произведений Даниила Хармса в СССР изданы только те, что написаны для детей. Основные же его произведения не изданы до сих пор. «Не изданы», впрочем, не означает «не известны»: с середины шестидесятых годов стали циркулировать машинописные подборки «взрослых» стихов и прозы Хармса. На основе этих подборок, оказавших значительное влияние на развитие новой русской прозы, был составлен сборник

«Даниил Хармс. Избранное», вышедшее в 1974 году в ФРГ. Настоящая публикация включает произведения, не вошедшие ни в этот сборник, ни в иные издания.

Даниила Хармса часто называют «обэриутом», что, строго говоря, не вполне точно, так как его литературная деятельность отнюдь не ограничена коротким временем существования ОБЭРИУ, «Объединения реального искусства». Эта литературная группа, состоявшая из Даниила Хармса, Александра Введенского, Николая Заболоцкого, Игоря Бахтерева, Константина Вагинова, Бориса (Дойвбера) Левина, Юрия Владимирова и Александра Разумовского, возникла в Ленинграде осенью 1926 года и просуществовала до весны 1930 года (первый год под названием «Левый фланг»). Надо сказать, что существование ОБЭРИУ, провозгласившего своей поэтической задачей «столкновение словесных смыслов» (*Афиши Дома Печати*, №2, Л., 1928), совершенно очевидно не соответствовало литературно-политической обстановке, сложившейся в Советской России к концу 20-х годов. На это несоответствие и было указано в статье «Реакционное жонглерство (об одной вылазке литературных хулиганов)», помещенной 9 апреля 1930 года в ленинградской газете «Смена». Автор статьи, подписавший псевдонимом «Л. Нильевич»*, утверждал, что «бессмысленная поэзия» обэриутов представляет собой не что иное, как протест против диктатуры пролетариата. На этом существование ОБЭРИУ, входившего в ленинградский Дом Печати на правах творческой секции, пришло к концу. В конце следующего, 1931 года Хармс, Введенский и Бахтерев были арестованы вместе с группой сотрудников Детиздата по обвинению в «создании антисоветской монархической организации в области детской литературы». На допросах утверждалось, что обэриуты намеренно выступали с бессмысленными стихами, чтобы отвлечь трудящихся от строительства социализма. Времена, однако, были еще относительно либеральны, и дело кончилось административной высылкой. Хармс был в 1932 году выслан в Курск, и в том же году ему удалось вернуться назад в Ленинград (не без помощи отца, известного народовольца И. П. Ювачева).

* Говорят, что статья в «Смене» была написана Н. В. Лесючевским, впоследствии весьма набившим руку на борьбе с русской литературой и ставшим директором издательства «Советский писатель».

В тридцатые годы, уже после возвращения из ссылки, Хармс пишет свою лучшую прозу, в том числе цикл «Случаи» (1936–39) и повесть «Старуха» (1939). Язык его прозы чрезвычайно экономен. Характерна одна из дневниковых записей Хармса: «Все слова должны быть обязательны». Во многих своих вещах этого периода он вскрывает бессмыслицу слов-штампов, утерявших свое значение, пародирует идиотизм обывательского словоупотребления. Показательны в этом отношении известные «Анекдоты из жизни Пушкина». Менее известен короткий рассказ без названия, написанный в год Первого Съезда советских писателей. Привожу его полностью:

Ольга Форш подошла к Алексею Толстому и что-то сделала. Алексей Толстой тоже что-то сделал.

Тут Константин Федин и Валентин Стенич выскочили на двор и принялись разыскивать подходящий камень. Камня они не нашли, но нашли лопату. Этой лопатой Константин Федин съездил Ольгу Форш по морде.

Тогда Алексей Толстой разделся голым и, выйдя на Фонтанку, стал ржать по-лошадиному. Все говорили: «Вот ржет крупный современный писатель». И никто Алексея Толстого не тронул*.

Иного характера пародию мы находим в рассказе «Рыцарь», персонаж которого сочиняет «революционную песню»:

*На баррикады
мы все пойдем!
За свободу
мы все покалечимся и умрем!*

За легким парафразом здесь без труда угадывается знакомое:

*Смело мы в бой пойдем
За власть Советов
И, как один, умрем
В борьбе за это!*

Пародия звучит, пожалуй, даже несколько гуманнее пародируемого текста: там все умрут, а здесь одни умрут, а другие

* Этот рассказ опубликован в *Soviet Union/Union Sovietique* (Arizona State University, 1980), vol. 7, parts 1-2.

просто «покалечатся». Мы, однако, совершим ошибку, если подвергнемся соблазну усмотреть здесь некие сатирические намерения со стороны автора. Сатириком Хармс не был, более того — считал сатику низшим родом литературы. О своем отношении к литературе он так говорит в одном из писем, датированных 1933 годом:

... Но, Боже мой, в каких пустяках заключается истинное искусство! Великая вещь «Божественная комедия», но и стихотворение «Сквозь волнистые туманы пробирается луна» — не менее велико. Ибо там и там одна и та же чистота, а, следовательно, одинаковая близость к реальности, т. е. к самостоятельному существованию. Это уже не просто слова и мысли, напечатанные на бумаге, это вещь, такая же реальная, как хрустальный пузырек для чернил, стоящий передо мной на столе. Кажется, эти стихи, ставшие вещью, можно снять с бумаги и бросить в окно, и окно разобьется. Вот что могут сделать слова!

Но, с другой стороны, как те же слова могут быть беспомощны и жалки! Я никогда не читаю газет. Это вымыселный, а не созданный мир. Это только жалкий, сбитый типографский шрифт на плохой занозистой бумаге...

Хармс считал, что смысл и назначение человеческой жизни составляет вера в чудо. Без этой веры жизнь превращается в дурную бесконечность бессмысленной жестокости и насилия. В прозе Хармса перед нами предстает бессмыслица зла в мире, лишенном веры в чудо — и, одновременно, присутствие чуда в повседневной реальности. При всей своей фантастичности, мир, созданный Хармсом, вполне конкретен и носит характерные приметы Ленинграда тридцатых годов. Так же, как сейчас приезжим показывают «Петербург Достоевского», когда-нибудь будут показывать «Ленинград Хармса»: вот здесь был Мальцевский рынок, «где, говорят, одному слепому подарили вязаную шаль», вот здесь, на углу Знаменской и Бассейной, был «Гастроном» с кассиршей, положившей, что «семь идет после восьми в том случае, когда восемь идет после семи», вот Таврический Сад, куда убежал измученный бессонницей персонаж рассказа «Сон дразнит человека», вот Фонарный переулок, где из окон вываливались старухи, вот проспект Володарского (Литейный), где распевал свою замечательную песню «доблестный рыцарь и патриот» Алексей Алексеевич Алексеев, за что и был увезен в крытой машине «куда-то по направлению

к Адмиралтейству», а вот и четырехэтажный дом на углу Ковенского переулка, где жил сам Даниил Иванович Хармс...

Мандельштам, как известно, делил все произведения мировой литературы на разрешенные и написанные без разрешения. При чтении Хармса у нас возникает странное и радостное подозрение, что, может быть, к миру, созданному им, классификация Мандельштама не подходит. Хармс писал так, словно ситуации, когда надо спрашивать разрешения, не существует вовсе. И тем самым спасал честь русской литературы в один из самых тяжелых периодов ее существования.

Д. И. Хармс был арестован у себя дома 23 августа 1941 года. 4 февраля 1942 года его жене сообщили, что 2 февраля он умер в тюремной больнице.

Илья Левин

РЫЦАРЬ

Алексей Алексеевич Алексеев был настоящим рыцарем. Так например, однажды, увидя из трамвая, как одна дама запнулась о тумбу и выронила из кошельки стеклянный колпак для настольной лампы, который тут же и разбился. Алексей Алексеевич, желая помочь этой даме, решил пожертвовать собой и, выскочив из трамвая на полном ходу, упал и раскроил себе о камень всю рожу. В другой раз, видя, как одна дама, перелезая через забор, зацепилась юбкой за гвоздь и застряла так, что не могла двинуться ни назад, ни вперед, Алексей Алексеевич начал так волноваться, что от волнения выдавил себе языком два передних зуба. Одним словом, Алексей Алексеевич был самым настоящим рыцарем, да и не только по отношению к дамам. С небывалой лёгкостью Алексей Алексеевич мог пожертвовать своей жизнью за Веру, Царя и Отечество, что и доказал в 14-ом году, в начале германской войны, с криком «За Родину!» выбросившись на улицу из окна третьего этажа. Каким-то чудом Алексей Алексеевич остался жив, отдавшись только несерьёзными ушибами, и вскоре, как столь редкостно-ревностный патриот, был отослан на фронт.

На фронте Алексей Алексеевич отличался небывало возвышенными чувствами и всякий раз, когда произносил слова «стяг», «фанфара» или даже просто «эполеты», по лицу его бежала слеза умиления.

В 16-ом году Алексей Алексеевич был ранен в чресла и удалён с фронта.

Как инвалид I категории, Алексей Алексеевич не служил и, пользуясь свободным временем, излагал на бумаге свои патриотические чувства.

Однажды, беседуя с Константином Лебедевым, Алексей Алексеевич сказал свою любимую фразу: «Я пострадал за Родину и разбил свои чресла, но существую силой убеждения своего заднего подсознания».

— И дурак! — сказал ему Константин Лебедев. — Наивысшую услугу родине окажет только ЛИБЕРАЛ.

Почему-то эти слова глубоко запали в душу Алексея Алексеевича, и вот, в 17-ом году, он уже называет себя либералом, чреслами своими пострадавшим за отчизну.

Революцию Алексей Алексеевич воспринял с восторгом, несмотря даже на то, что был лишён пенсии. Некоторое время Константин Лебедев снабжал его тростниковым сахаром, шоколадом, консер-

вированным салом и пшённой крупой. Но, когда Константин Лебедев вдруг неизвестно куда пропал, Алексею Алексеевичу пришлось выйти на улицу и просить подаяния. Сначала Алексей Алексеевич протягивал руку и говорил: «Подайте, Христа ради, чреслами своими пострадавшему за родину». Но это успеха не имело. Тогда Алексей Алексеевич заменил слово «Родину» словом «революцию». Но и это успеха не имело. Тогда Алексей Алексеевич сочинил революционную песню и, завидя на улице человека, способного, по мнению Алексея Алексеевича, подать милостыню, делал шаг вперед и, гордо, с достоинством, откинув назад голову, начинал петь:

На баррикады
мы все пойдём!
За свободу
мы все покалечимся и умрём!

И лихо, по-польски притопнув каблуком, Алексей Алексеевич протягивал шляпу и говорил: «Подайте милостыню, Христа ради». Это помогало, и Алексей Алексеевич редко оставался без пищи.

Всё шло хорошо, но вот, в 22-ом году, Алексей Алексеевич познакомился с неким Иваном Ивановичем Пузырёвым, торговавшим на Сенном рынке подсолнечным маслом. Пузырёв пригласил Алексея Алексеевича в кафе, угостил его настоящим кофеем и сам, чавкая пирожными, изложил ему какое-то сложное предприятие, из которого Алексей Алексеевич понял только, что и ему надо что-то делать, за что и будет получать от Пузырёва ценнейшие продукты питания. Алексей Алексеевич согласился, и Пузырёв тут же, в виде поощрения, передал ему под столом два цыбика чая и пачку папирос «Раджа».

После этого Алексей Алексеевич каждое утро приходил на рынок к Пузырёву и, получив от него какие-то бумаги с кривыми подписями и бесчисленными печатями, брал саночки, если это происходило зимой, и, если это происходило летом, — тачку и отправлялся по указанию Пузырёва, по разным учреждениям, где, предъявив бумаги, получал какие-то ящики, которые грузил на свои саночки или тележку и вечером отвозил их Пузырёву на квартиру. Но, однажды, когда Алексей Алексеевич покатил свои саночки к пузырёвской квартире, к нему подошли два человека, из которых один был в военной шинели, и спросили его: «Ваша фамилия — Алексеев?» Потом Алексея Алексеевича посадили в автомобиль и увезли в тюрьму.

На допросах Алексей Алексеевич ничего не понимал и всё только говорил, что он пострадал за революционную родину. Но несмотря на это, был приговорен к 10 годам ссылки в северные части своего отечества. Вернувшись в 28-ом году обратно в Ленинград, Алексей Алексеевич занялся своим прежним ремеслом и, встав на углу пр. Володарского, закинул с достоинством голову, притопнул каблуком и запел:

На баррикады
мы все пойдём!
За свободу
мы все покалечимся и умрём!

Но не успел он пропеть это и два раза, как был увезён в крытой машине куда-то по направлению к Адмиралтейству. Только его и видели.

Вот краткая повесть жизни доблестного рыцаря и патриота Алексея Алексеевича Алексеева.

(1934—1936?)

КАРЬЕРА ИВАНА ЯКОВЛЕВИЧА АНТОНОВА

Это случилось еще до революции.

Одна купчиха зевнула, а к ней в рот залетела кукушка.

Купец прибежал на зов своей супруги и, моментально сообразив в чем дело, поступил самым остроумным способом.

С тех пор он стал известен всему населению города, и его выбрали в Сенат.

Но, прослужив года четыре в Сенате, несчастный купец однажды вечером зевнул, и ему в рот залетела кукушка.

На зов своего мужа прибежала купчиха и поступила самым остроумным способом.

Слава об ее находчивости распространилась по всей губернии, и купчиху повезли в столицу показывать митрополиту.

Выслушивая длинный рассказ купчихи, митрополит зевнул, и ему в рот залетела кукушка.

На громкий зов митрополита прибежал Иван Яковлевич Григорьев и поступил самым остроумным способом.

За это Ивана Яковлевича Григорьева переименовали в Ивана Яковлевича Антонова и представили царю.

И вот теперь становится ясным, каким образом Иван Яковлевич Антонов сделал себе карьеру.

8 января 1935 года

О ЯВЛЕНИЯХ И СУЩЕСТВОВАНИЯХ

№ 1

Художник Миккель Анжело садится на груду кирпичей и, подперев голову руками, начинает думать. Вот проходит мимо петух и смотрит на художника Миккеля Анжело своими круглыми, золотистыми глазами. Смотрит и не мигает. Тут художник Миккель Анжело поднимает голову и видит петуха. Петух не отводит глаз, не мигает и не двигает хвостом. Художник Миккель Анжело опускает глаза и замечает, что глаза что-то щиплет. Художник Миккель Анжело трет глаза руками. А петух не стоит уж больше, не стоит, а уходит, уходит за сарай, за сарай на птичий двор, на птичий двор к своим курам.

И художник Миккель Анжело поднимается с груды кирпичей, отряхивает со штанов красную кирпичную пыль, бросает в сторону ремешок и идет к своей жене.

А жена у художника Миккеля Анжело длинная-длинная, длиной в две комнаты.

По дороге художник Миккель Анжело встречает Комарова, хватает его за руку и кричит: «Смотри!»

Комаров смотрит и видит шар.

«Что это?» — шепчет Комаров.

А с неба грохочет: «Это шар».

«Какой такой шар?» — шепчет Комаров.

А с неба грохот: «Шар гладкоповерхностный!»

Комаров и художник Миккель Анжело садятся в траву, и сидят они в траве, как грибы. Они держат друг друга за руки и смотрят на небо. А на небе вырисовывается огромная ложка. Что же это такое? Никто этого не знает. Люди бегут и запираются в своих домах. И двери запирают, и окна. Но разве это поможет? Куда там! Не поможет это.

Я помню, как в 1884-ом году показалась на небе обыкновенная комета величиной с пароход. Очень было страшно. А тут — ложка! Куда комете до такого явления.

Запирать окна и двери!

Разве это может помочь? Против небесного явления доской не загородишься.

У нас в доме живет Николай Иванович Ступин, у него теория, что все — дым. А по-моему, не все дым. Может, и дыма-то никакого нет. Ничего, может быть, нет. Есть одно только разделение. А может быть, и разделения-то никакого нет. Трудно сказать.

Говорят, один знаменитый художник рассматривал петуха. Рассматривал, рассматривал, и пришел к убеждению, что петуха не существует.

Художник сказал об этом своему приятелю, а приятель давай смеяться. Как же, говорит, не существует, когда, говорит, он вот тут вот стоит, и я, говорит, его отчетливо наблюдаю.

А великий художник опустил тогда голову, и как стоял, так и сел на груду кирпичей.

ВСЕ

18 сентября 1934 года

Даниил Дандан

О ЯВЛЕНИЯХ И СУЩЕСТВОВАНИЯХ

№ 2

Вот бутылка с водкой, так называемый спиртуоз. А рядом вы видите Николая Ивановича Серпухова.

Вот из бутылки поднимаются спиртуозные пары. Посмотрите, как дышит носом Николай Иванович Серпухов. Поглядите, как он облизывается, и как он щурится. Видно, ему это очень приятно, и главным образом потому, что спиртуоз.

Но обратите внимание на то, что за спиной Николая Ивановича нет ничего. Не то, чтобы там не стоял шкаф или комод, или вообще что-нибудь такое, — а совсем ничего нет, даже воздуха нет. Хотите верьте, хотите не верьте, но за спиной Николая Ивановича нет даже безвоздушного пространства, или, как говорится, мирового эфира. Откровенно говоря, ничего нет.

Этого, конечно, и вообразить себе невозможно.

Но на это нам плевать, нас интересует только спиртуоз и Николай Иванович Серпухов.

Вот Николай Иванович берет рукой бутылку со спиртуозом и подносит ее к своему носу. Николай Иванович нюхает и двигает ртом, как кролик.

Теперь пришло время сказать, что не только за спиной Николая Ивановича, но впереди, — так сказать, перед грудью, — и вообще кругом нет ничего. Полное отсутствие всякого существования, или, как острили когда-то: отсутствие всякого присутствия.

Однако, давайте интересоваться только спиртуозом и Николаем Ивановичем.

Представьте себе, Николай Иванович заглядывает вовнутрь бутылки со спиртуозом, потом подносит ее к губам, запрокидывает бутылку донышком вверх и выпивает, представьте себе, весь спиртуоз.

Вот ловко! Николай Иванович выпил спиртуоз и похлопал глазами. Вот ловко! Как это он!

А мы теперь должны сказать вот что: собственно говоря, не только за спиной Николая Ивановича, или спереди и вокруг только, а также и внутри Николая Ивановича ничего не было, ничего не существовало.

Оно, конечно, могло быть так, как мы только что сказали, а сам Николай Иванович мог при этом восхитительно существовать. Это, конечно, верно. Но, откровенно говоря, вся штука в том, что Николай Иванович не существовал и не существует. Вот в чем штука-то.

Вы спросите: А как же бутылка со спиртуозом? Особенно, куда вот делся спиртуоз, если его выпил несуществующий Николай Иванович? Бутылка, скажем, осталась. А где же спиртуоз? Только что был, а вдруг его и нет. Ведь Николай Иванович не существует, говорите вы. Вот как же это так?

Тут мы и сами теряемся в догадках.

А впрочем, что же это мы говорим? Ведь мы сказали, что как внутри, так и снаружи Николая Ивановича ничего не существует. А раз ни внутри, ни снаружи ничего не существует, то, значит, и бутылки не существует. Так ведь?

Но, с другой стороны, обратите внимание на следующее: если мы говорим, что ничто не существует ни внутри, ни снаружи, то является вопрос: изнутри и снаружи чего? Чего-то, видно, все

же существует? А, может, и не существует. Тогда для чего же мы говорим «изнутри» и «снаружи»?

Нет, тут явно тупик. И мы сами не знаем, что сказать.
До свидания.

18 сентября 1934 года

Даниил Дандан

* * *

Калиндов стоял на цыпочках и заглядывал мне в лицо. Мне это было неприятно. Я отворачивался в сторону, но Калиндов обегал меня кругом и опять заглядывал мне в лицо. Я попробовал заслониться от Калиндора газетой. Но Калиндов перехитрил меня: он поджег мою газету, и, когда она вспыхнула, я уронил ее на пол, а Калиндов начал опять заглядывать мне в лицо. Я, медленно отступая, ушел за шкаф, и тут несколько мгновений я отдыхал от назойливых взглядов Калиндора. Но отдых мой был не длителен: Калиндов на четвереньках подполз к шкафу и заглянул на меня снизу. Терпение мое кончилось, я зажмурился (и) сапогом ударил Калиндора в лицо.

Когда я открыл глаза, Калиндов стоял передо мной со своей окровавленной рожей и рассеченным ртом и по-прежнему заглядывал мне в лицо.

(1930?)

ПРАЗДНИК

На крыше одного дома сидели два чертежника и ели гречневую кашу.

Вдруг один из чертежников радостно вскрикнул и достал из кармана длинный носовой платок. Ему пришла в голову блестящая идея — завязать в кончик платка двадцатикопеечную монетку и швырнуть это все с крыши вниз на улицу, и посмотреть, что из этого получится.

Второй чертежник, быстро уловив идею первого, доел гречневую кашу, высморкался и, облизав себе пальцы, принялся наблюдать за первым чертежником.

Однако внимание обоих чертежников было отвлечено от опыта с платком и двадцатикопеечной монеткой. На крыше, где сидели оба чертежника, произошло событие, не могущее быть незамеченным.

Дворник Ибрагим приколачивал к трубе длинную палку с выцветшим флагом.

Чертежники спросили Ибрагима, что это значит, на что Ибрагим отвечал: «Это значит, что в городе праздник». — «А какой же праздник, Ибрагим?» — спросили чертежники.

«А праздник такой, что наш любимый поэт сочинил новую поэму», — сказал Ибрагим.

И чертежники, устыженные своим незнанием, растворились в воздухе.

9 января 1935

ШАПКА

Отвечает один другому: «Не видал я их». — «Как же ты их не видал, — говорит другой, — когда сам же на них шапки надевал?» — «А вот, — говорит один, — шапки на них надевал, а их не видел». — «Да возможно ли это?» — говорит другой, с длинными усами. — «Да, — говорит первый, — возможно, — и улыбается синим ртом. Тогда другой, который с длинными усами, пристаёт к синеротому, чтобы тот объяснил ему, как это так возможно — шапки на людей надеть, а самих людей не заметить. А синеротый отказывается объяснять усатому и качает своей головой, и усмехается своим синим ртом.

— Ах ты, дьявол ты этакий, — говорит ему усатый. — Морочишь ты меня, старика! Отвечай мне и не заворачивай мне мозги: видел ты их или не видел?

Усмехнулся еще раз другой, который синеротый, и вдруг исчез, только одна шапка осталась в воздухе висеть.

— «Ах, так вот кто ты такой!» — сказал усатый старик и протянул руку за шапкой, а шапка в сторону. Старик за шапкой, а шапка от него, не даётся в руки старику. Летит шапка по Некрасов-

ской улице, мимо булочной, мимо бань. Из пивной народ выбегает, на шапку с удивлением смотрит и обратно в пивную уходит. А старик бежит за шапкой, руки вперед вытянул, рот открыт; глаза у старика остекленели, усы болтаются, а волосы перьями торчат во все стороны.

Добежал старик до Литейной, а там ему наперерез уж милиционер бежит и еще какой-то гражданин в сером костюмчике. Схватили они безумного старика и повели его куда-то.

А шапка повернула направо и полетела по направлению к Неве.

Один человек ее видел на углу Пантелеймоновской, а уж на углу Фурштатской ее никто не видел.

21 июля 1938 года

* * *

Господин невысокого роста с камушком в глазу подошел к двери табачной лавки и остановился. Его чёрные, лакированные туфли сияли у каменной ступенечки, ведущей в табачную лавку. Носки туфель были направлены вовнутрь магазина. Еще два шага, и господин скрылся бы за дверью. Но он почему-то задержался, будто нарочно для того, чтобы подставить голову под кирпич, упавший с крыши. Господин даже снял шляпу, обнаружив свой лысый череп, и, таким образом, кирпич ударил господина прямо по голой голове, проломил черепную кость и застрял в мозгу. Господин не упал. Нет, он только пошатнулся от страшного удара, вынул из кармана платок, вытер им лицо, залепленное кровавыми мозгами, и, повернувшись к толпе, которая мгновенно собралась вокруг этого господина, сказал:

— Не беспокойтесь, господа: у меня была уже прививка. Вы видите, — у меня в правом глазу торчит камушек. Это тоже был однажды случай. Я уже привык к этому. Теперь мне всё трин-трава!

И с этими словами господин надел шляпу и ушел куда-то в сторону, оставив смущенную толпу в полном недоумении.

(1939—1940)

ТЕТРАДЬ

Мне дали пощёчину.

Я сидел у окна. Вдруг на улице что-то свистнуло. Я высунулся на улицу из окна и получил пощёчину. Я спрятался обратно в дом. И вот теперь на моей щеке горит, как раньше говорили, несмываемый позор. Такую боль обиды я испытал раньше один только раз. Это было так: одна прекрасная дама, незаконная дочь короля, подарила мне роскошную тетрадь. Это был для меня настоящий праздник, так хороша была тетрадь! Я сразу сел и начал писать туда стихи. Но когда эта дама, незаконная дочь короля, увидела, что я пишу в эту тетрадь черновики, она сказала: «Если бы знала я, что вы сюда будете писать свои бездарные черновики, никогда бы не подарила я вам этой тетрадки. Я ведь думала, что эта тетрадь вам послужит для списывания туда умных и полезных фраз, вычитанных вами из различных книг». Я вырвал из тетради записанные мной листки и вернул тетрадь даме.

И вот теперь, когда мне дали пощёчину через окно, я ощутил знакомое мне чувство. Это было то же чувство, какое я испытал, когда вернул прекрасной даме её роскошную тетрадь.

12 октября 1938 года

О ТОМ, КАК МЕНЯ ПОСЕТИЛИ ВЕСТНИКИ

В часах что-то стукнуло, и ко мне пришли вестники. Я не сразу понял, что ко мне пришли вестники. Сначала я подумал, что попортились часы. Но тут я увидел, что часы продолжают идти и, по всей вероятности, правильно показывают время. Тогда я решил, что в комнате сквозняк. И вдруг я удивился: что же это за явление, которому неправильный ход часов и сквозняк в комнате одинаково могут служить причиной? Раздумывая об этом, я сидел на стуле около дивана и смотрел на часы. Минутная стрелка стояла на девяти, а часовая около четырех, следовательно, было без четверти четыре. Под часами висел отрывной календарь, и листки календаря колыхались, как будто в комнате дул сильный ветер. Сердце мое стучало, и я боялся потерять сознание.

«Надо выпить воды», — сказал я. Рядом со мной, на столике стоял кувшин с водой. Я протянул руку и взял этот кувшин.

«Вода может помочь», — сказал я и стал смотреть на воду.

Тут я понял, что ко мне пришли вестники, но я не могу отличить их от воды. Я боялся пить эту воду, потому что, по ошибке, мог выпить вестника. Что это значит? Это ничего не значит. Выпить можно только жидкость. А вестники — разве жидкость? Значит, я могу выпить воду, тут нечего бояться. Но я не мог найти воды. Я ходил по комнате и искал ее. Я пробовал сунуть в рот ремешок, но это была не вода. Я сунул в рот календарь — это тоже не вода. Я плюнул на воду и стал искать вестников. Но как их найти? На что они похожи? Я помнил, что не мог отличить их от воды, — значит, они похожи на воду. Но на что похожа вода? Я стоял и думал.

Не знаю, сколько времени стоял я и думал, но вдруг я вздрогнул.

«Вот вода!» — сказал я себе. Но это была не вода, это просто зачесалось у меня ухо.

Я стал шарить под шкапом и под кроватью, думая хотя бы там найти воду или вестника. Но под шкапом я нашел, среди пыли, только мячик, прогрызенный собакой, а под кроватью какие-то стеклянные осколки.

Под столом я нашел недоеденную котлету. Я съел ее, и мне стало легче. Ветер уже почти не дул, а часы спокойно тикали, показывая правильное время: без четверти четыре.

«Ну, значит, вестники уже ушли», — сказал я себе и начал переодеваться, чтобы идти в гости.

ВОСПОМИНАНИЯ ОДНОГО МУДРОГО СТАРИКА

Я был очень мудрым стариком.

Теперь я уже не то, считайте даже, что меня и нет. Но было время, когда любой из вас пришел бы ко мне, и, какая бы тяжесть не томила его душу, какие бы грехи не терзали его мысли, я бы обнял его и сказал: «Сын мой, утешься, ибо никакая тяжесть души твоей не томит, и никаких грехов не вижу я в теле твоем», — и он убежал бы от меня, счастливый и радостный.

Я был велик и силен. Люди, встречая меня на улице, шарахались в сторону, и я проходил сквозь толпу, как утюг.

Мне часто целовали ноги, но я не протестовал: я знал, что достоин этого. Зачем лишать людей радости почитать меня? Я даже сам, будучи чрезвычайно гибким в теле, попробовал поцеловать себе свою собственную ногу. Я сел на скамейке, взял в руки свою правую

ногу и подтянул ее к лицу. Мне удалось поцеловать большой палец на ноге. Я был счастлив. Я понял счастье других людей.

Все преклонялись передо мной! И не только люди, даже звери, даже разные букашки ползали передо мной и виляли своими хвостами. А кошки! Те просто души во мне не чаяли и, каким-то образом скрепившись лапами друг с другом, бежали передо мной, когда я шел по лестнице.

В то время я был действительно очень мудр и все понимал. Не было такой вещи, перед которой я встал бы в тупик. Одна минута напряжения моего чудовищного ума, и самый сложный вопрос разрешался наипростейшим образом. Меня даже водили в Институт Мозга и показывали ученым профессорам. Те электричеством измерили мой ум и просто опустили. «Мы никогда ничего подобного не видали», — сказали они.

Я был женат, но редко видел свою жену. Она боялась меня: колоссальность моего ума подавляла ее. Она не жила, а трепетала, и, если я смотрел на нее, она начинала икать. Мы долго жили вместе, но потом она, кажется, куда-то исчезла; точно не помню.

Память, это вообще явление странное. Как трудно бывает что-нибудь запомнить и как легко забыть! А то и так бывает: запомнишь одно, а вспомнишь совсем другое. Или: запомнишь что-нибудь с трудом, но очень крепко, а потом ничего вспомнить не сможешь. Так тоже бывает. Я бы всем советовал поработать над своей памятью.

Я был всегда справедлив, и зря никого не бил, потому что, когда кого-нибудь бьешь, то всегда шалеешь, и тут можно переборщить. Детей, например, никогда не надо бить ножом или вообще чем-нибудь железным, а женщин — наоборот: не следует бить ногой. Животные, те, говорят, выносливы. Но я производил в этом направлении опыты и знаю, что это не всегда так.

Благодаря своей гибкости я мог делать то, чего никто не мог сделать. Так например, мне удалось достать рукой из очень извилистой фановой трубы заскочившую туда случайно серьгу моего брата. Я мог, например, спрятаться в сравнительно небольшую корзинку и закрыть за собой крышку.

Да, конечно, я был феноменален!

Мой брат был полная моя противоположность: во-первых, он был выше ростом, а во-вторых, глупее.

Мы с ним никогда не дружили. Хотя, впрочем, дружили и даже очень. Я тут чего-то напутал: мы именно с ним не дружили, а всегда были в ссоре. А поссорились мы с ним так. Я стоял около магазина:

там выдавали сахар, и я стоял в очереди и старался не слушать, чего говорят кругом. У меня немножечко болел зуб, и настроение было неважное. На улице было очень холодно, потому что все стояли в ватных шубах и все-таки мерзли. Я тоже стоял в ватной шубе, но сам не мерз, а мерзли мои руки, потому что то и дело приходилось вынимать их из карманов и поправлять чемодан, который я держал, зажав ногами, чтобы он не пропал. Вдруг меня ударил кто-то по спине. Я пришел в неописуемое негодование и с быстротой молнии стал обдумывать, как наказать обидчика. В это время меня ударили по спине вторично. Я весь насторожился, но решил голову назад не поворачивать и сделать вид, будто я ничего не заметил. Я только, на всякий случай, взял чемодан в руку. Прошло минут семь, и меня в третий раз ударили по спине. Тут я повернулся и увидел перед собой высокого пожилого человека в довольно поношенной, но все еще хорошей военной шубе.

— Что вам от меня нужно? — спросил я его строгим и даже слегка металлическим голосом.

— А ты чего не оборачиваешься, когда тебя окликают? — сказал он.

Я задумался над содержанием его слов, когда он опять открыл рот и сказал:

— Да ты что? Не узнаешь, что ли, меня? Ведь я твой брат.

Я опять задумался над его словами, а он снова открыл рот и сказал:

— Послушай-ка, брат. У меня не хватает на сахар четырех рублей, а из очереди уходить обидно. Одолжи-ка мне пятерку, а мы с тобой потом рассчитаемся.

Я стал раздумывать о том, почему брату не хватает четырех рублей, но он схватил меня за рукав и сказал:

— Ну, так как же, одолжишь ты своему брату немного денег?

— и с этими словами он сам расстегнул мне мою ватную шубу, залез ко мне во внутренний карман и достал мой кошелек.

— Вот, — сказал он, — я, брат, возьму у тебя взаймы некоторую сумму, а кошелек, вот смотри, я кладу тебе обратно в пальто.

— И он сунул кошелек в наружный карман моей шубы.

Я был, конечно, удивлен, так неожиданно встретив своего брата. Некоторое время я молчал, а потом спросил его:

— А где же ты был до сих пор?

— Там, — ответил мне брат и махнул куда-то рукой.

Я задумался: где это «там», но брат подтолкнул меня в бок и сказал:

— Смотри: в магазин начали пускать.

До дверей магазина мы шли вместе, но в магазине я оказался один, без брата. Я на минутку выскочил из очереди и выглянул через дверь на улицу. Но брата нигде не было.

Когда я хотел опять занять в очереди свое место, меня туда не пустили и даже постепенно вытолкали на улицу. Я, сдерживая гнев на плохие порядки, отправился домой. Дома я обнаружил, что брат взял из моего кошелька все деньги. Тут я страшно рассердился на брата, и с тех пор мы с ним никогда больше не мирились.

Я жил один и пускал к себе только тех, кто приходил ко мне за советом. Но таких было много, и выходило так, что я ни днем, ни ночью не знал покоя. Иногда я уставал до такой степени, что ложился на пол и отдыхал. Я лежал на полу до тех пор, пока мне не делалось холодно; тогда я вскакивал и начинал бегать по комнате, чтобы согреться. Потом я опять садился на скамейку и давал советы всем нуждающимся.

Они входили ко мне друг за другом, иногда даже не открывая дверей. Мне было весело смотреть на их мучительные лица. Я говорил с ними, а сам едва сдерживал смех.

Один раз я не выдержал и рассмеялся. Они с ужасом кинулись бежать — кто в дверь, кто в окно, а кто и прямо сквозь стену.

Оставшись один, я встал во весь свой могучий рост, открыл рот и сказал:

— Прин тим прам.

Но тут во мне что-то хрустнуло, и с тех пор, можете считать, что меня больше нет.

(1935—1937?)

ПОМЕХА

Пронин сказал:

— У вас очень красивые чулки.

Ирина Мазер сказала:

— Вам нравятся мои чулки?

Пронин сказал:

— О, да. Очень. — И схватился за них рукой.

Ирина сказала:

— А почему вам нравятся мои чулки?

Пронин сказал:

— Они очень гладкие.

Ирина подняла свою юбку и сказала:

— А вы видите, какие они высокие?

Пронин сказал:

— Ой, да, да.

Ирина сказала:

— Но вот тут они уже кончаются. Тут уже идет голая нога.

— Ой, какая нога! — сказал Пронин.

— У меня очень толстые ноги, — сказала Ирина. — А в бедрах я очень широкая.

— Покажите, — сказал Пронин.

— Нельзя, — сказала Ирина, — я без панталон.

Пронин опустился перед ней на колени.

Ирина сказала:

— Зачем вы встали на колени?

Пронин поцеловал ее ногу чуть повыше чулка и сказал:

— Вот зачем.

Ирина сказала:

— Зачем вы поднимаете мою юбку еще выше? Я же вам сказала, что я без панталон.

Но Пронин все-таки поднял ее юбку и сказал:

— Ничего, ничего.

— То есть как же это так, ничего? — сказала Ирина.

Но тут в двери кто-то постучал. Ирина быстро одернула юбку, а Пронин встал с пола и подошел к окну.

— Кто там? — спросила Ирина через двери.

— Откройте дверь, — сказал резкий голос.

Ирина открыла дверь, и в комнату вошел человек в черном пальто и в высоких сапогах. За ним вошли двое военных, низших чинов, с винтовками в руках, и за ними вошел дворник. Низшие чины встали около двери, а человек в черном пальто подошел к Ирине Мазер и сказал:

— Ваша фамилия?

— Мазер, — сказала Ирина.

— Ваша фамилия? — спросил человек в черном пальто, обращаясь к Пронину.

Пронин сказал:

— Моя фамилия Пронин.

— У вас оружие есть? — спросил человек в черном пальто.

— Нет, — сказал Пронин.

— Сядьте сюда, — сказал человек в черном пальто, указывая Пронину на стул.

Пронин сел.

— А вы, — сказал человек в черном пальто, обращаясь к Ирине, — наденьте ваше пальто. Вам придется с нами проехать.

— Зачем? — спросила Ирина.

Человек в черном пальто не ответил.

— Мне нужно переодеться, — сказала Ирина.

— Нет, — сказал человек в черном пальто.

— Но мне нужно еще кое-что на себя надеть, — сказала Ирина.

— Нет, — сказал человек в черном пальто.

Ирина молча надела свою шубку.

— Прощайте, — сказала она Пронину.

— Разговоры запрещены, — сказал человек в черном пальто.

— А мне тоже ехать с вами? — спросил Пронин.

— Да, — сказал человек в черном пальто. — Одевайтесь.

Пронин встал, снял с вешалки свое пальто и шляпу, оделся и сказал:

— Ну, я готов.

— Идемте, — сказал человек в черном пальто.

Низшие чины и дворник застучали подметками.

Все вышли в коридор.

Человек в черном пальто запер дверь Ирининой комнаты и запечатал ее двумя бурными печатями.

— Даешь на улицу, — сказал он.

И все вышли из квартиры, громко хлопнув наружной дверью.

12 ноября 1940 года

ВСЕСТОРОННЕЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Ермолов: Я был у Блинова, он показал мне свою силу. Ничего подобного я никогда не видал. Это сила зверя! Мне стало страшно. Блинов поднял письменный стол, раскачал его и отбросил от себя метра на четыре.

Доктор: Интересно бы исследовать это явление. Науке известны такие факты, но причины их непонятны. Откуда такая мышечная сила — ученые еще сказать не могут. Познакомьте меня с Блиновым. Я дам ему исследовательскую пиллюлю.

Ермолаев: А что это за пилюля, которую вы собираетесь дать Блинову?

Доктор: Как пилюля? Я не собираюсь давать ему пилюлю.

Ермолаев: Но вы же сами только что сказали, что собираетесь дать ему пилюлю.

Доктор: Нет, нет. Вы ошибаетесь. Про пилюлю я не говорил.

Ермолаев: Ну уж извините, я-то слышал, как вы сказали про пилюлю.

Доктор: Нет.

Ермолаев: Что — нет?

Доктор: Не говорил!

Ермолаев: Кто не говорил?

Доктор: Вы не говорили.

Ермолаев: Что я не говорил?

Доктор: Вы, по-моему, чего-то не договариваете.

Ермолаев: Я не понимаю. Чего я не договариваю?

Доктор: Ваша речь очень типична. Вы проглатываете слова, не договариваете начатой мысли, торопитесь и заикаетесь.

Ермолаев: Когда же я заикался? Я говорю довольно гладко.

Доктор: Вот в этом-то и есть ваша ошибка. Видите? Вы даже от напряжения начинаете покрываться красными пятнами. У вас еще не похолодели руки?

Ермолаев: Нет. А что?

Доктор: Так. Это мое предположение. Мне кажется, вам уже тяжело дышать. Лучше сядьте, а то вы можете упасть. Ну вот. Теперь вы отдохните.

Ермолаев: Да зачем же это?

Доктор: Тсс. Не напрягайте голосовых связок. Сейчас я вам постараюсь облегчить вашу участь.

Ермолаев: Доктор! Вы меня пугаете.

Доктор: Дружочек милый! Я хочу вам помочь. Вот возьмите это. Глотайте.

Ермолаев: Ой! Фу! Какой гадкий отвратительный вкус! Что это вы мне дали?

Доктор: Ничего, ничего. Успокойтесь. Это средство верное.

Ермолаев: Мне жарко, и всё кажется зеленого цвета.

Доктор: Да, да, да, дружочек милый, сейчас вы умрете.

Ермолаев: Что вы говорите? Доктор! Ой, не могу! Доктор! Что вы мне дали? Ой, доктор!

Доктор: Вы проглотили исследовательскую пилюлю.

*Ермолаев: Спасите. Ой. Спасите. Ой. Дайте дышать. Ой. Спас...
Ой. Дышать...*

*Доктор: Замолчал. И не дышит. Значит, уже умер. Умер, не
найдя на земле ответов на свои вопросы. Да, мы, врачи, должны
всесторонне исследовать явление смерти.*

21 июня 1937 года

ВЛАСТЬ

Фаол сказал: «Мы грешим и творим добро вслепую. Один стряпчий ехал на велосипеде и вдруг, не доехав до Казанского собора, исчез. Знает ли он, что дано было сотворить ему: добро или зло? Или такой случай: один артист купил себе шубу и якобы сотворил добро той старушке, которая, нуждаясь, продала ему шубу, но зато другой старушке, а именно своей матери, которая жила у артиста и обыкновенно спала в прихожей, где артист вешал свою шубу, он сотворил, по всей видимости, зло, ибо от новой шубы столь невыносимо пахло каким-то формалином и нафталином, что старушка, мать того артиста, однажды не смогла проснуться и умерла. Или еще — как-то один графолог надрызгался водкой и натворил такое, что тут, пожалуй, и сам полковник Дибич не разобрал бы: что хорошо, а что плохо. Грех от добра отличить очень трудно».

Мышин, задумавшись над словами Фаола, упал со стула.

— Хо-хо, — сказал он, лежа на полу, — че-че.

Фаол продолжал: «Возьмем любовь. Будто хорошо, а будто и плохо. С одной стороны, сказано: возлюби, а с другой стороны, сказано: не балуй. Может, лучше вовсе не возлюбить? А сказано: возлюби. А возлюбишь — набалуешь. Что делать? Может, возлюбить, да не так? Тогда зачем же у всех народов одним и тем же словом изображается — возлюбить — и так, и не так? Вот один артист любил свою мать и одну молоденкую полненькую девицу. И любил он их разными способами. Он отдавал девице большую часть своего заработка. Мать частенько голодала, а девица пила и ела за троих. Мать артиста жила в прихожей на полу, а девица имела в своем распоряжении две хорошие комнаты. У девицы было четыре пальто, а у матери одно. И вот артист взял у своей матери это одно пальто и перешел из него девице юбку. Наконец, с девицей артист баловался, а со своей матерью не баловался и любил ее чистой любовью. Но

смерти матери артист побаивался, а смерти девицы — артист не побаивался. И когда мать умерла, артист плакал, а когда девица вывалилась из окна и тоже умерла, артист не плакал, и завел себе другую девицу. Выходит, что мать ценится, как уника, вроде редкой марки, которую нельзя заменить другой».

— Шо-шо, — сказал Мышин, лежа на полу. — Хо-хо.

Фаол продолжал:

— И это называется чистая любовь! Добро ли — такая любовь? А если нет, то как же возлюбить? Одна мать любила своего ребенка. Этому ребенку было два с половиной года. Мать носила его в сад и садила на песочек. Туда же приносили своих детей и другие матери. Иногда на песочке накапливалось до сорока маленьких детей. И вот однажды в этот сад ворвалась бешеная собака, кинулась прямо к детям и начала их кусать. Матери с воплями кинулись к своим детям, в том числе и наша мать. Она, жертвуя собой, подскочила к собаке и вырвала у нее из пасти, как ей казалось, своего ребенка. Но вырвав ребенка, она увидела, что это не ее ребенок, и мать кинула его обратно собаке, чтобы схватить и спасти от смерти лежащего тут же рядом своего ребенка. Кто ответит мне: согрешила она или сотворила добро?

— Сю-сю, — сказал Мышин, ворочаясь на полу.

Фаол продолжал: «Грешит ли камень? Грешит ли дерево? Грешит ли зверь? Или грешит только один человек?»

— Млям, млям, — сказал Мышин, прислушиваясь к словам Фаола, — щуп-щуп.

Фаол продолжал: «Если грешит только один человек, то значит, все грехи мира находятся в самом человеке. Грех не входит в человека, а только выходит из него. Подобно пище: человек съедает хорошее, а выбрасывает из себя нехорошее. В мире нет ничего нехорошего, только то, что прошло сквозь человека, может стать нехорошим».

— Умняф, — сказал Мышин, стараясь приподняться с пола.

Фаол продолжал: «Вот я говорил о любви, я говорил о тех состояниях наших, которые называются одним словом «любовь». Ошибка ли это языка, или все эти состояния едины? Любовь матери к ребенку, любовь сына к матери и любовь мужчины и женщины — быть может, все это одна любовь?»

— Определенно, — сказал Мышин, кивая головой.

Фаол сказал: «Да, я думаю, что сущность любви не меняется от того, кто кого любит. Каждому человеку отпущена известная величина любви. И каждый человек ищет, куда бы ее приложить, не скидывая своих фузеляжек. Раскрытие тайны перестановок и мел-

ких свойств нашей души, подобной месиву опилок...»

— Хветь! — крикнул Мышин, вскакивая с пола. — Сгинь!

И Фаол рассыпался к(ак) плохой сахар.

29 сентября 1940 года

ХАРМС (ЮВАЧЕВ) Даниил Иванович (1905 — 1942) — поэт, прозаик, драматург. В конце 1920-х гг. член группы ОБЭРИУ. В 1930-е гг. публиковал только детские произведения. Арестован в августе 1941 г., умер в ленинградской тюрьме от голода.

РУССКИЕ КНИГИ

- КЛАССИКИ
- САМИЗДАТ
- ЛИТЕРАТУРА ЗА РУБЕЖОМ
- РЕДКИЕ ПЕРЕИЗДАНИЯ
- СЛАВИСТИКА

Свыше 1500 титулов на складе.

Требуйте каталоги

Представительство журнала

«КОНТИНЕНТ»

Subscription inquiries
should be addressed to



A. Neimanis • Buchvertrieb

8 München 40 Bauerstr. 28 • Germany

Литература и время

Марк Поповский

ИДЕАЛЬНЫЙ СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ

*Константин Симонов — итоги жизни
(1915 — 1979)*

Пятого сентября 1979 года «Литературная газета» посвятила целую полосу кончине Константина Симонова. Советские читатели смогли узнать из опубликованных статей, что Симонов был «сильный, красивый, благородный человек» (Эдуардас Межелайтис), что он был «истинно партийный человек» (Александр Кривицкий), что он был также «неутомимым общественным деятелем» (Ираклий Абашидзе). Из статьи Алексея Суркова выясняется, что Симонов «умел держать руку на пульсе времени, там, где история совершает важные повороты» (sic!). С писателями полностью согласились товарищ Брежnev, а также товарищи Андропов, Гришин, Громыко, Кириллин, Косыгин, в алфавитном порядке подписавшие партийно-правительственный некролог. Они добавили, что покойный «отдавал много сил благородной борьбе за мир» и что стихи его «воодушевляли на подвиги, вселяли непоколебимую веру в победу».

Было бы преувеличением сказать, что газета дала своим читателям избыточную информацию о жизни и творчестве знаменитого писателя и поэта. Но читатели жаловаться не станут, ибо знают: по советским общественным традициям человеку, занимающему такое положение, как Симонов, засекреченность полагается в той же степени, в какой и государственные похороны.

Был он на иерархической лестнице советских чинов выше министра, а потому и воспоминания о нем не могут и не должны выходить за пределы форм служебного панегирика.

Между тем итоги жизни Константина Симонова достаточно важны и интересны для современников. И вовсе не то важно, что, как вспоминает Алексей Сурков, 40 с лишним лет назад поэт «получил боевое крещение под огнем в знойной степи Монголии у реки Халхын-Гол». И не то интересно, что во время второй мировой войны Симонов спускался на подводной лодке и летал на бомбардировщике. В ту пору было много летавших и плававших. Гораздо важнее понять, благодаря какому секрету удавалось Симонову столько лет быть любимцем трех поочередно сменившихся советских диктаторов. И почему при всем том была у него в среде столичной интеллигенции слава либерала? Что сам он думал о себе и что реально представляла собой деятельность поэта и чиновника, драматурга и дипломата, прозаика и политика? Уяснить это желательно потому еще, что вместе с официальными легендами советского производства начинают возникать мифы о Симонове на Западе. В воспоминаниях г-жи Ум-Эль-Банин о Бунине («Время и мы» №41) Симонов выведен как рыцарь без страха и упрека: и умен, и красив, и благороден. То же любование чувствуется в статье моего коллеги и товарища Анатолия Гладилина в газете «Русская Мысль» (13 сентября 1979). А. Гладилину показалось недостаточно назвать Симонова советским Хемингуэем (у них-де и герои одинаковые: мужественные и одинокие), он выдвинул гипотезу, по которой этот высокопоставленный партийный чиновник жил двойной жизнью. «Вдруг, — мечтает Гладилин, — через несколько лет всплынет новая неопубликованная книга Константина Симонова, которую он, как говорится, писал «в стол», и в которой он смог проявить всю силу своего литературного таланта. И, может, тогда на-

чнется неожиданная, посмертная слава писателя Константина Симонова». Мы еще вернемся к этой гипотезе. И к другим гипотезам, с помощью которых мои современники пытались разгадать «секрет» симоновской служебной удачливости и вместе с тем его либерализма. Но сначала об одном эпизоде, свидетелем которого я был в дни моей журналистской юности.

I

Свой первый очерк в «Литературную газету» я принес осенью 1949 года. Очерк напечатали, я стал постоянным автором отдела науки. В «Литературке» в ту пору дышалось более свободно, чем в любой из советских газет. В системе партийной пропаганды она исполняла (как, впрочем, и сейчас) роль витрины, обращенной на Запад. Ей предназначалась роль этакого интеллектуального дезинформатора. Впрочем, мы, молодые журналисты, прошедшие войну и пробовавшие свои силы в литературном деле, тогда об этом не думали. Мы радовались возможности широко печататься, выезжать в командировки в любую точку страны, только бы тема для очередной статьи была придумана позанятнее. Мы старались привозить из наших командировок как можно больше «социалистических достижений», ибо, несмотря на свое особое положение, «Литературка», как и другие газеты страны, обязана была показывать только успехи и достижения. Мы гордились своей принадлежностью к «Литературке», самой читаемой, самой интересной газете. Она представлялась нам даже самой порядочной, самой правдивой. Этот обман зрения в известной степени объяснялся тем, что с 1950 года редактором газеты стал Константин Симонов. Вся редакция была влюблена в него. Его любили как поэта, как героя войны, как красивого, эффектно выглядящего мужчину, наконец как шефа,

способного шутить с сотрудниками и откликаться улыбкой на чужую шутку. Отвергая материал, он никогда не оскорблял личности журналиста, а хваля, всегда подчеркивал личные качества автора. Нам нравилась его грассирующая речь, скопой, мужественный жест. Но, пожалуй, больше всего наше почтение вызывала его головокружительная карьера. В первый раз он был назначен редактором «Литературной газеты» в 1938-м, когда ему было всего 23 года! Этот пример кое-кому кружил голову: чем чёрт не шутит...

Итак, мы работаем у Симонова, а погода на дворе стоит самая что ни на есть скверная. Конец сороковых: идут массовые аресты так называемых «повторников», поднимается волна государственного антисемитизма. Наша пища, одежда, жилье до крайности скучны. Только работа компенсирует тяготы жизни. В других газетах что ни день печатают антисемитские фельетоны, у нас — нет, в других редакциях аресты, разгоны, разгромы, у нас спокойная, деловая, дружеская атмосфера. Вот что значит иметь редактором любимца товарища Сталина! И вдруг в одночасье все перевернулось...

Это случилось в январе или феврале 1953-го. Утром Симонов, как обычно, прошел по редакционному коридору, провожаемый восторженными взглядами машинисток, редакторш и уборщиц. Приказал секретарше срочно собрать редколлегию. Приветливо улыбаясь и грассируя, произнес свое любимое: «Садитесь, едколеги...» Подождал, пока все рассядутся и утихнут. Начал говорить в обычном своем тоне: полууштя, полу всерьез. «Я что-то не пойму, друзья, есть у нас в газете отдел фельетонов или нет? Есть? А кто же им заведует? И где продукция этого отдела? Рудольф Бершадский заведует? А где он? Не член редколлегии? Ну, позовите сюда этого Бершадского». Заведующий отделом фельетонов Рудольф Бершадский, коммунист-еврей, человек не слишком большого ума и ортодокс

до мозга костей, прихрамывая (фронтовое ранение), вошел в кабинет. К его приходу Симонов уже успел изложить свою точку зрения: в редакцию пробрались люди, которые злостно мешают разоблачать корни буржуазного национализма. (Какой именно национализм имелся в виду, национализм какого народа, он упустил.) Эти втершиеся в доверие руководства газеты люди тормозят публикации важнейших газетных материалов, срывают серьезное мероприятие партии.

Затем начался допрос насмерть перепуганного Рудольфа Бершадского. Заведующий отделом фельетонов клятвенно заверял, что он, боевой фронтовой офицер, ни к какому национализму отношения не имеет, он и не еврей почти. А фельетоны — пожалуйста, сколько угодно, просто до сих пор для фельетонов места на полосе не давали. И не было соответствующей команды. Он так и сказал насчет команды, давая понять, что действовал по прямому распоряжению главного редактора. Но на это никто не обратил внимания. Члены редколлегии записали в протоколе, что в редакции имело место притупление бдительности, что буржуазный национализм поднял голову в отделе фельетонов, но был разоблачен и пресечен.

В следующие дни Бершадского исключили из партии, сняли с работы и арестовали. А на страницах «Литературной газеты» один за другим появились два разухабистых антисемитских фельетона, ничуть не уступающих тем, что публиковали в те месяцы «Правда», «Известия», «Крокодил» и другие партийные издания*.

У нас, молодых сотрудников и авторов «Литературки», эта история вызвала шок. Мы не были наивными детьми и знали примерный механизм таких ред-

* В книге Григория Свирского «На лобном месте» («Новая литературная библиотека», Лондон, 1979) этот эпизод описан более детально (стр. 87 — 88).

коллегий. Ясно, что где-то наверху (на самом верху!) заметили, что «Литературная газета» не идет в ногу, не поддерживает развязанную ЦК антисемитскую кампанию. На Симонова гаркнули. Требовалась немедленная жертва, и он эту жертву принес. Он поступил точно так же, как на его месте поступил бы редактор журнала «Знамя» Вадим Кожевников или редактор журнала «Москва» Евгений Поповкин. И случись им предать своего сотрудника, никто бы не удивился. Предать младшего и таким образом спасти себя — это дважды два должности любого главного редактора. Но Симонов... Наш Константин Михайлович...

Может статься, мы не были бы настолько изумлены, если бы знали, что задания такого рода для нашего Главного совсем не редкость. Много лет спустя услыхал я рассказ очевидца о том, как осенью 1946 года совершилась в Ленинграде гражданская казнь Михаила Зощенко. В истории советской значится эта расправа под кодовым названием «партийное постановление о журналах 'Звезда' и 'Ленинград'». Его, это постановление, до сих пор еще в школах проходят. Но вот детали, которые, очевидно, в школьные учебники не попали.

Выкручивание рук поручено было ленинградским литературным вождям (Друзину и другим). А на помощь им послали из Москвы Симонова. Дело все-таки было ответственное, о неудаче не могло быть и речи. Как всегда в таких случаях, Москва требовала «активности масс», писатели Ленинграда должны были «выразить свое возмущение» и проголосовать за исключение Зощенко из Союза писателей. На судилище собраны были в Дом литераторов все члены СП (явка обязательна!). Призван был и Зощенко. Назначенный обкомом партии ленинградский докладчик в самых черных красках нарисовал творческий и общественный портрет писателя-ренегата. Чтобы подчеркнуть растленную сущность Зощенко и дополнительно накалить ярость

зала, докладчик (кажется, это был Друзин) сказал, что во время войны офицер Зощенко, вместо того чтобы сражаться с гитлеровцами, отсиделся в тылу.

«Отсиживался» Зощенко не в тылу, а в блокадном Ленинграде, где едва не погиб от голода. Но он не стал говорить об этом, как не стал обсуждать с трибуны свои литературные взгляды. Когда ему дали слово, он сказал очень коротко, что в советскую армию его не призвали из-за плохого здоровья, поскольку в первую мировую войну был он отравлен газом, контужен и вывезен с фронта калекой. Тогда же был он за боевые заслуги награжден Георгиевским крестом. Сказал и сошел с трибуны. Зал молчал, но было видно, что эта сухая справка произвела на присутствующих впечатление взорвавшейся бомбы. Если неправда, что Зощенко «отсиживался в тылу», то, может быть, и другие обвинения столь же недостоверны... В президиуме началась паника, там хорошо понимали, что сделают с ними в обкоме партии, если они провалят мероприятие ЦК. Вся надежда была только на Симонова.

Он поднялся на трибуну в своем военном мундире, со множеством орденских планок на груди, овеянный боевой и литературной славой. Он был символом всего лучшего, всего самого благородного в только что отгремевшей войне. И заговорил он не о Зощенко, а на любимую свою тему: о фронтовом товариществе. А потом как-то так повернулся, что вот все здесь сидящие в зале — фронтовые друзья, все едины, а тот, Зощенко, откололся, зарвался, чуждого духа набрался и вот дошел до предательства. А потом так же проникновенно и мужественно говорил Константин Симонов о необходимости партийной и профессиональной дисциплины, что сталинский ЦК со своей орлиной высоты лучше видит общую пользу, чем каждый из нас, чей кругозор сужен личными интересами. И если сталинский ЦК принимает такое решение, то, значит, так оно и есть; все мы должны за честь считать, что живем в такое

счастливое время, когда всё ясно, когда всё справедливо и правильно. И в заключение, уже без лирики, заявил представитель Москвы, что всякий упорствующий становится на опасный путь и у партии есть много средств одернуть тех, кто не понимает другого языка.

После такой речи ленинградским писателям не осталось ничего другого, как сдаться, поднять руки за исключение отщепенца Зощенко. Проголосовали единогласно, партийцы отрапортовали в Москву: всё в порядке. И началась для Михаила Михайловича Зощенко череда лет, полных нищеты и забвения. Мы в 1953-м не знали о том, как выполнил свое партийное задание Константин Михайлович в 1946-м. Да и откуда было знать? О таких эпизодах газеты не пишут, энциклопедии умалчивают. И учебники литературы не сообщают.

II

Вскоре после смерти Сталина, в эпоху так называемой «оттепели», Илья Эренбург сказал одному моему знакомому: «У Константина Михайловича слабые сфинкторы: он всегда одну секунду недодерживает». На языке медиков сфинкторами называются мускульные механизмы, запирающие выход прямой кишки и мочевого пузыря. Имея в виду историю с Бершадским в 1953 году, Эренбург хотел сказать, что Симонов, может быть, и желал сохранить порядочность, но не сумел, не смог удержаться от антисемитских фельетонов. А ведь всего месяц — два оставалось ждать до смерти Сталина, до окончания «дела врачей». Но вот сфинкторы подвели...

Думаю, что Эренбург, который сам достаточно преданно служил Сталину, был несправедлив. Для того, чтобы удержаться на уровне порядочности, человек должен, очевидно, предпринимать какие-то усилия,

попытки. Между тем, Константин Симонов с юности поставил себе совсем иные жизненные задачи. Я знал его мать, пожилую даму из дворян, которая любила рассказывать про то, как она воспитывалась в Смольном институте благородных девиц; знал и его отчима — отставного генерала, который в Первую мировую войну служил в чине полковника русской армии. Отчим усыновил Константина, когда тому шел четвертый год. Старики были (в дореволюционном смысле этого выражения) порядочными людьми, то есть исповедывали те немудреные добродетели, без которых, как они полагали, жить нельзя. Нарушителя отлучали от дома, ему не подавали руки. Предательство в той системе ценностей считалось делом наиболее преступным и позорным. Симонов-сын в начале 30-х годов отверг «буржуазные взгляды» родителей. Он покинул дом в эпоху коллективизации и индустриализации и несколько лет прожил в заводских и студенческих общежитиях. В роковом для многих миллионов людей 1937 году Константин Симонов был замечен самим Сталиным, обласкан и с тех пор при всех сменах власти оставался любимцем Кремля.

На тысячах страниц своей весьма многословной прозы и сотнях страниц опубликованных дневников Симонов ни слова не говорит о своих первых шагах по коридорам власти. И это, думается мне, не из скромности. Для того, чтобы в 1937 году войти в доверие к Сталину и в 1938-м возглавить «Литературную газету», надо было совершить какие-то действия. Мы не знаем, что это за действия, чем именно Симонов вызвал доверие вождя. Но известно, что каждый поднимаемый на щит официальный писатель 30-х годов чем-то платил за это. Фадеев подписывал «характеристики» на тех, кого бросали в тюрьмы, Илья Ильф и Евгений Петров сочиняли заказные пасквили на русскую интеллигенцию, Илья Эренбург, живя большую часть времени за границей, совращал интеллектуалов

Запада, Федин и Катаев, наоборот, предавали ближних дома, Вишневский, Лавренев, Павленко, Горбатов открыто сотрудничали с ЧК-ОГПУ-НКВД-НКГБ. Повторяю: мы не знаем, что именно сделал Симонов, чтобы оказаться в числе этих обогреваемых сталинской улыбкой деятелей литературы, но доподлинно известно, что за семь лет с 1942 по 1949 получил он за свои произведения пять Сталинских премий. Больше него наград этого рода имел только создатель военных самолетов авиаконструктор Яковлев. Денежная часть премий составила миллион рублей. Книги, кинофильмы и пьесы принесли значительно больше.

И еще известно: став ландскнехтом Сталина, Константин Симонов никогда не изменял ему. Не изменил и его преемникам. Я пользуюсь словом «ландскнехт» вовсе не для того, чтобы уязвить память поэта. Наоборот. В середине века, когда наемный солдат, ландскнехт, продавал государю свою снаровку, военную выучку и свое оружие, он считал, что все это, и в том числе его жизнь, полностью окупается королевским жалованием. Деньги ландскнехтам действительно платили немалые, и за деньги эти, к примеру, швабские наемники клялись нанимателю в абсолютной верности. И клятву эту не нарушали: держались в бою твердо, на сторону неприятеля не переходили. Симонов унаследовал эту традицию своих предшественников по оружию. Он был благодарен вождям за ордена и звания, за издание многотомных собраний сочинений, за сталинские и ленинские премии, за машины, дачи, цековские пайки и заграничные командировки на государственный счет. С ним рассчитывались щедро, он считал оплату справедливой и служил честно.

Мы не находим в его стихах и прозе ни единого отступления от линии партии, точнее — той линии, которой партийная верхушка считала удобным придерживаться в каждый данный день и час. Симонов очень рано понял, что в советском климате отте-

пель — дело временное и ненадежное: мороз для России состояние наиболее естественное. И он всегда ориентировался на холода. Эта установка спасала его от ошибок. Когда в 1954-м Илья Эренбург опубликовал свою «Оттепель», Симонов, несмотря на неопределенность тогдашней политической ситуации, расстрелял книгу в упор, израсходовав полную обойму: шесть полных подвалов в «Литературной газете». И с точки зрения своей карьеры, он оказался прав. Другой верный слуга трона Борис Слуцкий после смерти Сталина дал волю своим истинным чувствам, опубликовав несколько антисталинских стихов. А молодой Евгений Евтушенко, тот и вовсе пустился во все тяжкие, специализируясь и спекулируя на антисталинской теме. Симонов же проводил вождя-благодетеля хотя и вымученным, но вполне благонамеренным стихотворением «Как Вы учили», клятвенно заверяя, что он и впредь будет верен Сталину и его «железному ЦК». Железный ЦК это заверение принял во внимание. Назначенный Сталиным в 1952 году кандидатом в члены ЦК, Константин Симонов оставался на этом высочайшем для писателя посту до 1956 года, а затем до конца дней своих был членом Центральной ревизионной комиссии КПСС и депутатом Верховного совета.

Надо пояснить, что служить ландскнехтом в середине XX столетия было значительно тяжелее, чем в XV-XVII веках. Тогда нанятый на службу вооруженный воин присягал только на срок договора: от трех месяцев до года. В другое время он был волен делать и думать что угодно. Да и в свободные от службы часы ничто не мешало наемнику пойти в церковь, в кабак или в публичный дом, напиться или влюбиться, давая выход своим истинным чувствам. В наше время не то. Служба Константина Симонова советским вождям продолжалась более сорока лет и не прерывалась ни на минуту. Я видел его на собраниях, в его рабочем

кабинете, на пирушке в честь дня Победы, на похоронах коллег — он всегда оставался в образе. Это был образ верного солдата партии.

Симонов создал для себя маску этакого честного служаки, искреннего человека, от которого, однако, ничего не зависит. Роль эта содержала очень мало красок. Она складывалась из застывшего выражения лица, изредка освещаемого простой солдатской улыбкой, набора грубоватых шуток; иногда в ход шли задушевные слова: «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины...» Еще требовалась выправка, красивая седина и тяжелая походка, в которой окружающим чудилось поскрипывание армейских сапог и ремней. Всем этим нехитрым набором приемов Симонов владел в совершенстве. Никому из тех, кого я знал в Москве, никогда не удавалось застать его без этого застегнутого на все пуговицы психологического мундира. Роль эта предназначалась, естественно, не нам, людям незнатным, а ваялась для больших хозяев из ЦК. Поза верного поэта-солдата там очень нравилась. Это было то, что они хотели бы видеть в каждом интеллектуале: дары духа, упакованные в хаки военного образца. Что же касается самого Симонова, то после 30-40 лет ношения маска так пристала к его лицу, что едва ли он сам различал, что в его поступках естественно, а что — театр. Вся его жизнь была жизнью на театре. И всегда в одной роли.

Честного наёмника Симонова наёмники бесчестные даже возмущали. Когда после кровавых событий в Венгрии (1956) американский писатель Говард Фаст разочаровался в коммунистических идеалах и выступил с разоблачительными статьями, Симонову было поручено «проучить» перебежчика. В «Литературной газете» появилась огромная, довольно водянистая и мало убедительная статья, в которой Симонов демонстративно избивал чучело Фаста. Но было в той статье одно место, где читатель мог почувствовать под-

линную страсть, живое негодование автора. Симонов с искренним возмущением сообщал, что хотя обычно советские издательства иностранным авторам не платят, Фасту, за его изданные в СССР произведения, платили *в долларах* (!) и довольно много. А он, неблагодарный, в ответ на заботу партии и правительства переметнулся в стан реакции! Эта безнравственность Фаста, видимо, потрясла Симонова до глубины души.

После Сталина служить стало труднее: внизу дисциплина ослабела, да и наверху не было единства. Верный солдат, Симонов любил порядок и чтил субординацию. В 1956 г., будучи редактором «Нового мира», он опубликовал в журнале роман Дудинцева «Не хлебом единым». По своей ориентации роман полностью соответствовал позиции, которую занял на XX съезде партии Никита Хрущев. Хрущев, разоблачая Сталина, все время повторял, что партия не боится смотреть правде в глаза и разоблачения «культы личности» только укрепляют ее. Симонов, публикуя роман «Не хлебом единым», был убежден, что ни в чем не отступил от желаний нового хозяина. На обсуждениях романа Константин Михайлович охотно говорил о «благородном мужестве издателя», которое ставил в один ряд с мужеством писателя. В действительности никакого особенно мужества не требовалось ни от редактора Симонова, ни от автора Дудинцева. Можно говорить лишь о сговоре между ними.

По «совету» Симонова Дудинцев дописал четвертую часть романа. После того, как читатель узнал, что герой, талантливый изобретатель, предложивший очень важный метод для советской индустрии, оболган и арестован, писатель сочинил продолжение, в котором происходят события совершенно недостоверные. Тот самый следователь, что закатал ученого-изобретателя в тюрьму, вдруг понял, что его подследственный не виноват, и начал борьбу за то, чтобы (при Сталине!) освободить его из лагеря. Эта фальши-

вая сюжетная ситуация поворачивает дело так, что во всех бедах ученого виноваты только его личные враги. А честный партийный следователь во всем разобрался и спас героя. В результате усилий автора и редактора Симонова роман «Не хлебом единым» вполне вписался в литературу социалистического реализма и его стало возможно напечатать в «Новом мире». Интересно, что несколько лет спустя, в 60-х, роман издали отдельной книгой и советские читатели решительно не обратили никакого внимания на этот бестселлер 50-х годов.

Но в 1956-м в ЦК нашлась группа сталинцев, которая искала возможности остановить хрущевскую разоблачительную деятельность. Они избрали книгу Дудинцева своим жупелом. «Вот, дескать, после антисталинских речей уже и писатели выходят из подчинения...» Вхожий в верха Симонов внимательно следил за возникшей дискуссией. В какой-то момент он увидел, что Хрущев уступил своим противникам, его антисталинский порыв ослабел. В таких случаях нужна немедленная ритуальная жертва. Если ЦК всегда прав, значит, неправ кто-то другой. И он должен быть тотчас наказан. Симонов точно учゅял этот момент. В редакции «Нового мира» всё повторилось по сценарию 1953 года. Как когда-то в «Литературной газете», главный редактор собрал членов редакколлегии и голосом, полным изумления, вопросил, кто это разрешил печатать в журнале политически безграмотное (он любил слово *политический* и умел им пользоваться) и литературно беспомощное произведение Дудинцева. После этой редакколлегии Владимира Дудинцева на несколько лет отлучили от литературы, от заработков, поносили, оскорбляли, довели до полного ничтожества.

Современников поразил не только сам факт преследования, но и то, как точно главный редактор «Нового мира» рассчитал время, когда следовало отречься

от своего автора. И поспел тютелька в тютельку за миг до того, как на него наверняка бы обрушились начальственные громы.

Едва ли Симонов получил специальное распоряжение бить Дудинцева. Говорили о его интуиции. Но, как шутят московские журналисты: «Мать интуиции — информация». Симонов обладал великолепно развитым политическим нюхом, но важнее другое: со сталинских еще времен были у него в ЦК дружки, снабжавшие его конфиденциальной информацией. Именно эта осведомленность и выводила его многажды из-под удара. Эренбург был неправ: со сфинкторами у Константина Михайловича было всё в порядке. Он это снова доказал, когда властям понадобилось утопить Бориса Пастернака.

III

Роман Пастернака «Доктор Живаго» долго лежал в редакции «Нового мира». Симонов рукопись читал и даже обещал автору, что при некоторой доработке книгу он опубликует. С публикацией, однако, не спешил, выжидал, как повернутся дела в верхах, продлит ли Хрущев свое сталиноборство или даст команду «всем поворот кругом». Но случилось непредвиденное: рукопись попала на Запад, итальянцы ее напечатали. Хрущев взбеленился. Симонову пришлось срочно сочинять длинное письмо Пастернаку. Письмо опубликовала «Литературная газета», а затем его напечатали в «Новом мире» № 11 за 1958 год. Каждый, кто читал это многословное послание, мог понять, что адресовано оно вовсе не Пастернаку, а должно служить оправдательным документом для самого Симонова и его редколлегии. Сводилось письмо к следующему:

«... Пафос вашего романа — пафос утверждения, что Октябрьская революция, гражданская война и связанные с ними последую-

щие социальные перемены не принесли народу ничего, кроме страдания, а русскую интеллигенцию уничтожили или физически, или морально... Как люди, стоящие на позиции прямо противоположной Вашей, мы, естественно, считаем, что о публикации Вашего романа на страницах журнала «Новый мир» не может быть и речи».

Своим письмом Симонов давал понять, что не ЦК, не цензура отвергли роман, а сами коллеги отказываются публиковать его. Таким образом, власти были освобождены от ответственности за возникший скандал, чего они более всего желали. Просто оказалось, что в писательской среде есть две точки зрения на книгу Пастернака. А власти тут ни при чем... За эту дружескую услугу партийные хозяева простили Константину Михайловичу его прегрешение. Тем более, что события развивались стремительно: книга Пастернака получила Нобелевскую премию, пропагандисты из ЦК принялись в очередной раз нагнетать ярость масс против интеллигенции, и уже не до «Нового мира» тут было.

Итак, предательство за предательством: Михаил Зощенко, Рудольф Бершадский, Владимир Дудинцев, Борис Пастернак. А скольких преданных мы поименно не знаем? Ведь за то время, что Константин Симонов состоял в руководстве Союза писателей, десятки членов этой организации были исключены, арестованы, подвергнуты проработке. Откуда же в таком случае взялась симоновская слава либерала? К «левым» относила его вся литературная, театральная, кинематографическая Москва (только ленинградцы после «дела Зощенко» были осторожнее). Даже такой строгий аналитик, как А. Солженицын, причислял Симонова к либералам. В книге «Бодался теленок с дубом», описывая заседание Секретариата Союза писателей СССР 22 сентября 1967 года, когда почти все присутствующие требовали запретить печатание его книг, Солженицын отметил особое поведение Салынского и Симонова: «это — не вполне враги, это — полунаши». В

устах Солженицына «полунаши» — оценка почти положительная.

Итак, откуда же она, симоновская слава либерала? Бороться за эту славу Константин Михайлович начал давно. Еще тогда, когда Леонид Леонов и Валентин Катаев, не задумываясь над своим литературным будущим, сочиняли по нужде сего дня романы про власть советов и про лысенковский русский лес. Еще Бубенов и Бабаевский ходили в героях и роман «Алитет уходит в горы» почитался советской классикой. Еще казалось, что конца не будет сталинской нончи, а дальновидный Симонов уже тогда, в конце сороковых, в самом начале пятидесятых постиг простую истину: литература соцреализма — и не литература вовсе; это не искусство, а куча хорошо оплаченного мусора. Под той кучей в свой черед сгинут имена сталинских трубадуров, всех этих Долматовских, Бабаевых и Софроновых. И его, Симонова, имя будет похоронено в той же куче. Симонов прозорливо увидел свой роковой конец еще при Сталине, в сороковых, пребывая в расцвете литературной славы и общественного преуспеяния. Прозрел и задумался.

От хлеба с маслом и икрой отказываться он вовсе не собирался. Но ведь и впрямь: «Не хлебом едим...» От века желает на Руси человек, чтобы в добавление ко всем жизненным благам его бы еще и уважали. Эта подспудная жажда уважения вечно унижающего народа рвется из уст каждого пьяного: «Ты меня уважаешь?.. Я тебя уважаю...» Константин Симонов возжелал для себя того дефицитного уважения, о котором другие его коллеги и помыслить не могли. Не служебного, не приказного, а настоящего человеческого. Захотел он, чтобы его, наемника, искренно уважали коллеги и потомки. Чтобы остался он в истории советского общества и в истории литературы как порядочный человек.

Ради этого, как уже было говорено, вовсе не собирался он оставлять выгодную придворную должность. Не способен он был по натуре своей и к литературному раздвоению (очень распространенная позиция многих литераторов 60-70-х годов, когда писалось на продажу одно, а в стол другое). Симонову с его затверженной ролью «верного солдата» интеллектуальные игры такого рода не подходили. Да и хватало у него ума понять, что не дал ему Бог того таланта, что делает писателя читаемым и чтимым посмертно. Книгами своими не откупиться ему было от неизбежной мусорной кучи; стихами утешающими — «Жди меня и я вернусь...» — не надеялся он отмыться от грязи своей эпохи. Оставалось одно: выстроить, придумать вторую биографию, биографию порядочного писателя, бившегося в тисках долга и царской службы.

Делалась эта вторая биография старательно и долго, и при всем том «без отрыва от производства». С одной стороны, в разгар холодной войны отправился Симонов по прямому сталинскому заданию в Америку, сочинил пропагандную пьесу «Русский вопрос» и сборник стихов того же назначения (Сталинские премии 1947 и 1949 годов). Портреты его с орденами и медалями что ни день появлялись в газетах. Но одновременно набрасывал он первые штрихи другого своего портрета. В конце 40-х, во время откровенно антисемитской травли группы театральных критиков (Юзовский, Борщаговский, Данин и другие), особенно досталось Александру Борщаговскому. Его лишили не только хлеба насущного, но даже из квартиры выгнали. Симонов за Борщаговского и других еврейских писателей не вступился, этого устав службы делать ему не позволял. Но, когда экзекуция закончилась, он от своих миллионов дал бедолаге Борщаговскому взаймы 5 тысяч рублей, специально для работы над новым романом.

Слух о филантропическом жесте тотчас распространился по Москве. Факт был из редких. В глазах запуганной столичной интеллигенции Константин Симонов сразу вошел в число благородных личностей. Нареканий со стороны властей за свой жест он не боялся: знал, что затравленный Борщаговский напишет именно то, что от него ждут. И действительно, года два спустя вышел в свет толстенный роман про то, как англичане во время Крымской войны бросили свою эскадру на русский Дальний Восток и как героически отбили эту атаку русские люди. Назывался роман А. Борщаговского «Русский флаг» и по своей направленности мало чем отличался от симоновского «Русского вопроса». В пору «холодной войны» именно таких сочинений в ЦК и желали. Власти остались довольны, прощенный Борщаговский — счастлив, но самые большие дивиденды получил Симонов: за ним прочно установилась репутация благородного, отзывчивого человека, друга гонимых.

Он не раз потом прибегал к тому же приему. Однако деньгами помогал не всякому и не каждому, его помочь всегда носила неожиданный характер, всегда рассчитана была на сенсацию. В 1958 году душили голодом талантливого поэта и писателя Александра Яшина. Крестьянский сын Яшин провинился тем, что в сборнике «Литературная Москва» опубликовал рассказ «Рычаги» о крестьянах-партийцах, оглушенных, превращенных в рычаги государственной машины. Симонов, по обыкновению своему, за преследуемого коллегу не вступился, но позже, узнав, что семья Яшина бедствует, передал жене поэта тысячу рублей. И снова шепот восхищения и удивления пронесся по литературным рядам, и старики из молчаливого меньшинства Союза писателей многозначительно кивали, начисляя Константину Михайловичу еще один балл за поведение.

Впрочем, чаще пользовался Симонов не личным достоянием, а теми возможностями, которые предоставляло ему его должностное положение: напечатал Дудинцева, пообещал опубликовать роман Пастернака, выпустил в свет еще два-три небанальных произведения поменьше масштабом. Особенно памятной осталась нам статья Владимира Померанцева «Об искренности в литературе», опубликованная в пору симоновского редакторства в «Новом мире» (1955). Ходили слухи (слухи, слухи...), что именно он добился опубликования романа «Мастер и Маргарита» в журнале «Москва». Так и росла его слава либерала. Когда же вслед за тем совершил он очередное предательство или откатывался вместе с линией партии далеко направо, среди современников всегда находились голоса сочувствующих: «Бедняга Симонов, вот и опять ему в ЦК выкручивают руки...»

Большой успех принесла ему в середине 60-х газетная дискуссия о псевдонимах. В статье «С опущенным забралом» Михаил Шолохов публично заявил тогда, что честному писателю псевдоним не нужен, честный не станет скрывать от читателя своего имени. Такое заявление в 60-х звучало анахронизмом. Шолохову хотелось воскресить недоброй памяти послевоенные годы и кампанию «бездонных космополитов». Но по тактическим причинам антисемитский призыв в ЦК в тот момент поддержки не получил. Симонов тотчас использовал возникшую заминку, чтобы опубликовать в «Комсомольской правде» статью в защиту носителей псевдонимов. Он помянул о псевдонимах вождей революции, о псевдонимах Пушкина, Горького и Салтыкова-Щедрина. А также кокетливо сообщил, что сам он, Константин Симонов, в каком-то смысле тоже носит псевдоним: его настоящее имя Кирилл. Помню, с какой благодарностью восприняла эту статейку московская интеллигентная публика. На фоне того, что выплескивали в те годы на своих страницах черносо-

тельные журналы «Огонек», «Октябрь» и «Молодая Гвардия», заметка о псевдонимах представлялась чудом либерализма. Не удивительно, что и Солженицын в ту пору оценил Симонова как «полунашего».

Случалось, правда, что либеральная репутация Константина Михайловича падала до весьма низкой отметки. Если арест Р. Бершадского и антисемитские фельетоны 1953 года были сочтены неизбежностью, продажа Дудинцева вызвала споры и даже сочувствие к редактору «Нового мира», то с Пастернаком все происходило на виду. В литературных кругах заговорили о «приемах Симонова». Из уст в уста передавали едкую шутку Михаила Светлова: «Симонов — человек порядочный. Делая вам подлости, он не испытывает удовольствия». После «дела Пастернака» молчаливое меньшинство, которому Константин Михайлович так хотел понравиться, уже не находило ему никакого оправдания. В небольшую эту группу никак организационно между собой не связанных людей входили Паустовский, Каверин, Вас. Гроссман, Твардовский, А. Бек, Степан Злобин, К. Чуковский, еще два-три писателя и несколько режиссеров. В 50-е годы, в эпоху до Сахарова и Солженицына, молчаливое меньшинство служило нравственным камертоном начинавшей мыслить России. К их слову прислушивались, на них равнялись молодые интеллигенты. Потеряв после «дела Пастернака» уважение этих стариков, Симонов увидел, что его «второй биографии» грозит смертельная опасность: сегодня эти люди — совесть эпохи — создают общественное мнение, завтра засядут за ме-муары... Надо было во что бы то ни стало вернуть к себе расположение «молчаливых». Симонов придумал, как это сделать.

Как бы невзначай, при встрече с наиболее видными литераторами, он стал жаловаться на то, что утомлен писательскими дрязгами и давлением сверху (о давлении намекал очень тонко, без имен и фактов).

К чёрту всё! Он уезжает в глушь, будет заниматься только литературой. С мужественной интонацией, которая так шла ему, тоном человека много повидавшего и много понявшего, он говорил коллегам: «Писатель должен писать. Прочее же — от нечистого!» Прочего было довольно много: кроме нескольких партийных и общественных постов, Симонов оставался также заместителем Генерального секретаря Союза писателей СССР и главным редактором «Нового мира». Он расстался только с журналом, тут же приняв солидную должность корреспондента газеты «Правда» по Средней Азии, и уехал в Ташкент.

От Ташкента до Москвы — три часа лета, но Симонов несколько лет продолжал играть в «жизнь в глупи». Он даже на Третий съезд писателей не поехал: «Писатель должен писать!» И, надо сказать, трюк этот ему полностью удался: помню сочувственные разговоры о бедном изгнаннике, «на котором ЦК выспался за Пастернака», о Константине Михайловиче, который хотел как лучше, «а гады из ЦК...»

Вернулся Симонов через год или через полтора после смерти Бориса Пастернака, когда толки о трагедии великого поэта замолкли. Встретили корреспондента «Правды» в столице вполне дружелюбно: очень скоро он оказался членом Ревизионной комиссии Центрального комитета КПСС.

IV

...Семьдесят лет назад Ленин похвалил роман Горького «Мать». «Очень своевременная книга», — написал он. Прийдя к власти, большевики (хотя и не сразу) создали своевременную литературу, литературу, назначение которой в том только и состоит, чтобы своевременно откликаться на команды хозяев страны. Те, кто не научились сочинять «свое-

временные» книги: Бабель, Булгаков, Зощенко, Платонов, Мандельштам, Ахматова, Пастернак — пошли под нож. Симонов, начинавший с искренних лирических стихов, быстро смекнул что к чему и переучился. Каждый год в нескольких издательствах выходят его произведения. И в каком бы жанре он ни выступал, книги его всегда своевременны, всегда соответствуют политической нужде сего дня.

Был ли он талантлив? Об этом трудно судить. Законы и критерии «своевременной литературы» настолько отличаются от критериев литературы вообще, что нет возможности сравнивать их между собой, как невозможно сравнивать рисунок на папиросной коробке с полотнами Рембрандта. У них разное назначение, разная судьба. Сочиненные в пору холодной войны пьесы «Чужая тень» и «Русский вопрос» нельзя исследовать по законам драматургии уже по одному тому, что сам автор не рассматривал их с этой точки зрения. То же самое можно сказать и о многих сборниках симоновских стихов и в том числе томике «Друзья и враги». Последний имеет несравненно большее отношение к дипломатическим нотам и газетным шпилькам эпохи Сталина и Трумена, нежели к сфере, где обитают поэтические музы.

О военных романах Симонова будущим литератороведам говорить будет еще труднее.

Константин Михайлович романы свои не писал. Он наговаривал текст на пленку, затем сотни и тысячи метров пленки передавал своему то ли литературному секретарю, то ли соавтору Евгению Воробьеву. Воробьев, очень средний московский литератор, имел полномочия делать из этой болтовни готовые литературные произведения. Несколько моих знакомых вынуждены были редактировать эти рукописи. Они рассказывали, что в наговоренном на пленку тексте концы то и дело не сходились с концами, сюжет рвался и расползался, белокурые герои к концу книги начи-

нали кивать смоляными чубами, а мягкие козловые сапожки на ногах героини вдруг ни с того ни с сего начинали грубо скрипеть и стучать каблуками. В тех случаях, когда редакторы обращались по этому поводу с недоуменными вопросами, Симонов отдельывался короткой фразой: «Спросите Воробьев!» Воробьев ворожил над чубами и сапогами, что-то выстригал, что-то вставлял, и все шло в типографию, где размножалось в миллионах экземпляров. Я как-то не вижу смысла анализировать такого рода синтетическую литературу...

Впрочем, оговорюсь: беда военных романов Симонова вовсе не в том, что их наговаривал на пленку один, а писал другой. В конце концов, это романы его, и только он несет за них ответственность. Непоправимая же беда этих книг в том, что у автора нет сколько-нибудь четкого нравственного подхода к описываемым событиям. Можно придумать завязку, кульминацию сюжета и развязку, но невозможно имитировать авторскую совесть, подлинное авторское чувство. Без совести же нет литературы. Без нее между книгой и читателем не пробегает искры истинного доверия. В то время как белорусский писатель Василь Быков каждой строкой своей открывает читателю трагическую правду войны, Симонов по сути равнодушен к трагедии прошлого. Он только царапает, бередит воспоминаниями ноющие раны старых воинов, делает вид, что понимает тоску и обиду своих читателей, намекает, что как писатель сочувствует им. Кое-кто из живущих в провинции старых солдат еще клюет на лже-сочувствие, но уже сейчас видно, что книги эти не намного переживают своего автора. Что же до симоновских опубликованных дневников, то отсутствие искренности убивает их полностью. Знакомая редакторша, вынужденная читать эти «Дневники» по долгу службы, однажды со вздохом процитировала мне

строку из чьих-то стихов: «Знать столько слов и все для лжи!..»

Симонов любил говорить о своей особой верности военной теме. Он десятилетиями цеплялся за эту тему, громоздил продолжения и ответвления своих романов. Но ни привязанности, ни любви во всем этом не было. Был расчет.

Автор военных полотен в отличие от своего коллеги, пишущего на современные темы, свободен от тяжелой необходимости как-то объяснять современникам уродливый мир послесталинской эпохи. Он может сделать вид, что за тридцать с лишним лет в стране вообще не произошло ничего сколько-нибудь значительного. Это очень удобная позиция, которая надежно укрывает писателя от глаз надзирающих над литературой чиновников. Военная тема позволяла Константину Симонову последние тридцать пять лет безо всяких забот общаться со своими читателями и издастелями.

Военная тема в Советском Союзе всегда своеевременна, она является даже основой «своевременной» литературы. Она самая выгодная, самая обильно кормящая. Впрочем, тот, кто владеет мастерством сочинения «своевременных» книг, всегда сыт. У этого типа деятельности есть лишь один недостаток: такая служба убивает душу и талант. Писатель, даже самый малоодаренный, в общем-то, как правило, любит свой народ. И подлинное искусство отличает от подделки. Но несколько раз в жизни мне случалось видеть коллег, откровенно равнодушных к писательскому делу. И это всегда были мастера своеевременной литературы.

Одного из них я встретил в коридоре подмосковного Дома творчества. Время было обеденное. Знаменитый детский писатель, выйдя из своей комнаты в тапочках и мятых пижамных штанах, брел по направлению к столовой. Перед лестницей, ведущей в ниж-

ний этаж, он остановился, потянулся всем своим рано разжиревшим телом и произнес с тоской в голосе: «Скучища какая... Как они мне надоели, эти мои дети...» Речь шла не о детях писателя, а о его литературных героях, сельских мальчиках и девочках. За повести о пионерах-колхозниках мой коллега получил в начале 50-х годов Сталинскую премию. Сочинения его были тошнотворно неправдоподобны, и сам он не хуже других знал это, ненавидел и прославивших его героев и самую свою профессию-кормилицу. Опустошенный, несчастный, он даже не скрывал, что видит в писательском деле только заработок.

Вторая встреча, казалось бы, не имела ничего общего с первой, но оставила у меня такое же точно чувство. В Центральном доме литераторов в Москве проходил вечер памяти Михаила Булгакова (1891—1940). Шедевры затравленного, умершего в нищете Мастера наконец-то были извлечены из небытия, и их начали публиковать. Власти спешили объявить Булгакова своим, советским. Как бы то ни было, для меня и моих друзей этот вечер был праздником: актеры читали отрывки великолепной булгаковской прозы, современники вспоминали о шутках и проказах гениального автора «Мастера и Маргариты». Только один человек весь вечер оставался равнодушным к происходящему. Это был председательствующий Константин Симонов. Ему, как всегда, поручили провести очередное «взрывоопасное» мероприятие, и он сделал все, чтобы погасить восторг зала. Из его вступительного слова явствовало, что, действительно, жил в Москве писатель Булгаков, жил-поживал да и умер от естественных причин. Партия же и правительство заботливо сохранили его бумаги, и вот кое-что из того, что автор не успел издать, теперь выходит в свет. Все это Константин Михайлович произнес мертвенным голосом, глядя поверх голов мертвыми глазами. Тем же голосом и тем же взглядом сопровождал он каждый

номер, каждого выступающего. В зале это заметили. «Ему, очевидно, приказали испортить нам настроение», — предположила моя соседка. «Никто ему ничего не приказывал, — ответила другая, — Симонову просто давно уже надоели все и всякие литературные игры». В антракте я услышал, как старик-писатель заметил: «Похоже, что Михаил Булгаков сегодня выглядит более живым, чем Константин Симонов». — «Ну, что вы хотите от Константина Михайловича, — иронически пожал плечами его спутник, — сейчас уже десятый час вечера, а Костя все еще на работе...»

V

Симонов до конца дней своих оставался в партийной обойме. Отдыхал в закрытых санаториях ЦК, лечился в кремлевской больнице, присутствовал на совещаниях, куда нет допуска обычным смертным. Но реальное его значение как международного агента и пропагандиста-совратителя год от года сходило на нет. Были когда-то у Константина Михайловича шикарные поездки по заграницам. Сразу после войны специально посыпали его во Францию уговаривать Бунина вернуться в СССР. Бунина он не уговорил, но кое-кого помельче обольстил. Большая часть этих русских возвращенцев в конце 40-х годов попали в лагеря. Советские власти успешно торговали симоновским псевдо-либерализмом и позднее, в пятидесятые годы. Это продолжалось до тех пор, пока не выехали на Запад настоящие либералы и подлинные диссиденты, защитники прав человека. Информационный поток о реальной жизни в СССР в 60-е годы резко возрос, и Симонов-порученец потерял для западной публики свою привлекательность.

Пала и его слава писателя. В свое время его много переводили. Розовые и красные университетские интел-

лектуалы из Лондона, Парижа, Брюсселя и Вашингтона искали в симоновских книгах объяснения советских побед в войне, советской послевоенной трагедии. Но вот появились в Европе и Америке стихи Окуджавы, Галича, проза Синявского и Даниэля, Беликова, Войновича, Надежды Мандельштам, Георгия Владимова, и Симонов как писатель поблек, померк. А тут еще грянул Солженицын... Можно сказать, что зарубежная слава Симонова, слава его как объясниителя правды о России, умерла лет за десять до того, как сам он сошел в могилу.

...Власти в Советском Союзе панически боятся похорон. Близость смерти, реальность высшей, надгосударственной и надпартийной силы ослабляет страх гражданина перед властью. Особенно чреваты взрывом прощания с крупной личностью, видным писателем, художником. Вожди это знают и обставляют публичные похороны мощными милицейскими кордонами. Но у государственной безопасности есть и другие методы. Публичным похоронам сопутствуют пустые речи доверенных ораторов на траурном митинге, поток фальшивых статей в газетах. Назначение этих словес — задавить всякое живое чувство к почившему. Чиновники стремятся к тому, чтобы гипс их тонированных под бронзу речей застывал как можно быстрее, дабы никто из живых не успел, пользуясь трагичностью момента, произнести у гроба правдивые слова.

Похороны Константина Симонова в этом отношении мало чем отличались от других таких же государственных мероприятий. По чину ему полагалось Новодевичье кладбище со строго определенной церемонией. В своем завещании, однако, поэт просил положить его прах рядом с могилой матери на Немецком кладбище. Не позволили. Все должно делаться так, чтобы исключить любые кривотолки: верному солдату полагается над могилой залп из винтовок и залп речей.

И в газетных статьях тоже не должно быть никаких отклонений. «Он вошел в зал Политехнического, скинул пропахшую порохом, на фронтовых дорогах запыленную шинель и поднялся на трибуну — молодой, красивый и необычайно суровый», — так по стандартам эпохи пишет об одной из встреч с Симоновым в военные годы Эдуардас Межелайтис. В этом описании нет человека, есть памятник. Что и требуется.

Интересно, что при жизни именно Константину Симонову поручали проводить в Союзе писателей подобные операции. Он хоронил Паустовского, Эренбурга, Александра Бека и многих других и всегда блистательно лавировал между возникающими подводными камнями. В симоновских речах Константин Паустовский, подписавший в последние годы жизни немало адресованных властям писем-протестов, превращался в чистого художника, творца буколических акварелей. А жизненный путь Ильи Эренбурга, наоборот, невероятным образом распрямлялся, становился неправдоподобно чистым и гладким.

Думаю, что Симонов любил выполнять эти деликатные поручения. Похороны знаменитых коллег помогали наращивать общественный авторитет. Талантливый Александр Бек чуть ли не десять лет пытался опубликовать свой роман «Последнее назначение». Он умер, так и не увидев книгу напечатанной. Скрыть на его похоронах этот факт было невозможно: роман ходил по рукам, его многие читали. Симонов правильно оценил обстановку: почти всю свою речь он посвятил этой замечательной, как он сказал, книге. «Спи спокойно, дорогой Александр Альфредович, — патетически воскликнул он, стоя у гроба Бека в Дубовом зале ЦДЛ, — мы издадим твой труд, чего бы нам это ни стоило!» Издавать разоблачительное произведение из жизни высших сталинских чиновников никто в Советском Союзе, конечно, не собирался, но Симонов после похорон оказался именинником. Его благодарили, ему

пожимали руку, его авторитет вновь подскочил на несколько пунктов. А неизданный роман Бека ушел за границу и был в 1971 году издан в «Посеве»...

По советской традиции привыкли мы разделять лиц исторических на либералов и реакционеров. К Константину Симонову ни тот, ни другой ярлык не подходит. Я не стал бы, к примеру, утверждать, что периоды ужесточения режима были ему милее кратких наших оттепелей. Вполне возможно даже, что в глубине души предпочитал он времена более либеральные. Облик «благородного джентльмена» легче поддерживать и укреплять в пору потепления. Безопаснее. Больше того, всякий раз, когда тучи над Россией начинали слегка рассеиваться, никто иной, как Симонов спешил сообщить публике благую весть. По этому поводу в Москве (об этом напомнил недавно в своей книге Григорий Свирский) говорили: «Симонов всегда первым выскакивает на разминированное поле»*. Нет, слово «реакционер» в случае с нашим героем ничего не открывает. Просто операции, в которые его посылали, он не разделял на справедливые и несправедливые. Шел туда, куда велели, и рубил тех, кого ему указывали. А потом, при первом же перемирии, давал понять поверженной стороне, что он только рядовой солдат («А если что не так — не наше дело / Как говорится, родина велела...») и всякий другой на его месте врезал бы еще сильнее.

Сказать, что Симонов — человек безнравственный, нельзя. Общественное поведение его попросту не включало в себя понятия мораль, нравственность. Мысль о необходимости примата этики над прямой пользой казалась ему излишней. «Я не нуждаюсь в этой гипотезе», — мог бы он повторить слова астронома Лапласа. Даже тогда, когда, казалось, он делал добро,

* Григорий Свирский. «На любом месте. Литература нравственного сопротивления (1946 — 1976)». London, 1979.

совесть его в деле не участвовала. Этические весы его были раз навсегда заклиниены.

На этом можно было бы завершить наш рассказ. Но вот еще один штрих к портрету героя, маленький эпизод, о котором узнал я недавно от живущего на Западе бывшего киевского журналиста. Журналист этот был в 1972 году в командировке в Одессе. Поместили его в гостиничном номере вдвоем с пожилым человеком, бухгалтером из Смели. Бухгалтер оказался человеком тихим и вдобавок любителем хороших книг. Жаловался на то, что не может у себя в Смеле достать произведений любимых авторов — Булгакова и Ахматовой. Соседи по номеру расположились друг к другу, разговорились и за традиционной поллитровкой стали вспоминать книги то одного, то другого писателя. Как-то боком затронули Симонова. «Сложный человек», — насупился бухгалтер. «Вы встречались?» — «Нет, не пришлось. Но в каком-то смысле столкнулись». Оказалось, что старый бухгалтер любил не только ранние стихи Константина Симонова, но и его публистику, не только любил, но вырезал из газет статьи любимого писателя. Так в 1948 или 1949-м попала в его коллекцию статья, в которой Симонов последними словами клял предателя и кровавую собаку фашизма Тито. Симонов описывал в той статье, как во время войны летал к югославским партизанам, вспоминал бои и потери тех лет и делал вывод, что, перебежав в стан империалистов, Тито предал дело югославского народа. То была одна из многих статей, отражавшая ненависть Сталина к независимому руководителю Югославии.

Несколько лет спустя Хрущев помирился с Тито и в той же газете «Правда» появилась другая статья Симонова. Он опять вспоминал свою поездку к югославским партизанам, но теперь этот факт нужен был ему для того, чтобы выразить его, Симонова, восхи-

щение перед вождем югославского народа, настоящим коммунистом-ленинцем Иосипом Броз Тито.

Сличив две статьи любимого писателя, бухгалтер из Смели пришел в уныние. Разочарование подсказало ему шаг несколько необдуманный: он положил в конверт обе статьи и отправил их Симонову в Москву. В сопроводительной записке раздосадованный читатель просил объяснить, когда писатель говорил правду: тогда ли, когда называл Тито фашистской собакой, или теперь, объявляя его истинным коммунистом и героем югославского народа? Письмо было порывом оскорбленного в своих чувствах человека. Но при всем том бухгалтер был достаточно искушен, чтобы не подписывать свое письмо. Обратного адреса он также не указал. И даже более того: опустил конверт не в Смеле, а в Киеве, во время очередной командировки.

И все-таки ответ настиг его. Полгода спустя бухгалтера вызвали в Черкассы в областное управление КГБ. Разговаривал с ним подполковник, начальник управления. Он положил на стол злополучное письмо. «Вы писали Симонову?» — «Да, письмо мое». — «Зачем вам это понадобилось?» — «Хотел знать правду». Очевидно, подполковник из Черкасс расположился к провинциальному любителю литературы, да и время стояло либеральное, 1958 год, так что разговор у них пошел самый что ни на есть сердечный. «Милый мой, — сказал подполковник, — умоляю вас, никогда не пишите ничего подобного. Сейчас мы за это не сажаем, но за будущее не поручусь. Езжайте-ка в свою Смело, дорогой друг, и помалкивайте». И еще сказал доброжелательный подполковник, что был из Москвы строжайший приказ разыскать автора письма. На этом настаивал сам Симонов. И хоть долго пришлось искать среди 50 миллионов граждан Украины, но славные органы приказ выполнили и предупредили автора письма по всей строгости.

«Вот он каков, Константин Михайлович Симонов, — закончил свой рассказ бухгалтер из Смели. — И вот кто его друзья. Возмутился, видите ли, что кто-то вспомнил о его нечистой совести. В другую пору меня бы за это письмо упекли по 58-й статье как миленького. Отсидел бы свою десятку...»

На этом закончился разговор в одесской гостинице. Остановимся и мы.

Конечно, можно и сегодня мечтать, как мечтает Анатолий Гладилин, что сыщется когда-то втайне написанный Симоновым роман, в котором все будет сиять правдой и талантом. Можно, как это делает И. Шенфельд на страницах «Русской Мысли» (18 октября 1979 г.), утверждать, что «Симонов... всегда разрывался между желанием быть либералом, в то же время не отступать от обязывающей линии партии». Но подлинная жизнь Константина Симонова, недавно дописанная Временем, не оставляет места для иллюзий. Он не разрывался. Он был цельным и вполне советским человеком, идеальным советским писателем.

ПОПОВСКИЙ Марк Александрович — родился в 1922 г. в Одессе. Учился в Военно-медицинском училище и Военно-медицинской академии в Ленинграде. Пережил Ленинградскую блокаду. В качестве медика принимал участие в войне: дошел с советской армией до Бреслау (Вроцлав). После войны заочно окончил филологический факультет Московского университета. Опубликовал более 500 очерков и корреспонденций в советской прессе, выпустил в СССР 14 книг биографического и публицистического характера («Когда врач мечтает...», «Судьба доктора Хавкина», «Над картой человеческих страданий», «Люди среди людей», «Панацея, дочь Эскулапа», «Тысяча дней академика Вавилова» и др.). Член Союза писателей с 1961 года. Весной 1977 г. известил Секретариат Союза писателей о своем выходе из ССП в связи с преследованиями Л. Копелева и В. Корнилова. Эмигрировал в США в октябре 1977 года. На Западе вышли его книги «Управляемая наука» (на четырех языках), «Жизнь и житие Войно-Ясенецкого, архиепископа и хирурга» и др. Участник (автор и публикатор двух первых выпусков самиздатского исторического сборника «Память».

ЧИТАЙТЕ
СВОБОДНЫЙ МОСКОВСКИЙ ЖУРНАЛ

«ПОИСКИ»

ЕДИНСТВЕННЫЙ «ТОЛСТЫЙ» ЖУРНАЛ САМИЗДАТА

Сегодня журнал подвергается жестким репрессиям со стороны КГБ. Три члена редколлегии **Валерий Абрамкин, Юрий Гrimm и Виктор Сокирко** находятся в Лефортовской тюрьме в ожидании суда.

Но «Поиски» продолжают выходить!

Журнал предоставляет свои страницы широкому спектру бесцензурной культуры современной России — это и общественно-политические темы, и проза, и драматургия, и поэзия, и, разумеется, проблемы нравственности и религии, без которых немыслима никакая культура.

На страницах журнала вы встретитесь с такими прозаиками, как широко известный писатель **Домбровский**, поэт **Борис Чичибабин**, поэтесса и прозаик **Юлия Вознесенская**, философ и литературовед **Григорий Померанц**. Вы сможете познакомиться и с новыми именами, такими, как драматург **Лиядов** и поэт **Андрей Седов**.

В журнале читатель найдет наряду с художественной литературой философские работы, злободневную публицистику, новости культурной жизни, голоса из-за колючей проволоки. Словом, журнал дает почву для размышлений и споров, эстетического наслаждения и справедливого негодования.

В журнале 380 стр.

Цена 12 долл. Пересылка за счет заказчика.

Заказы с приложением чека или почтового перевода

направлять по адресу:

**A. GRIGORENKO
43-30 48 St. Apt. D1
Long Island City, N. Y. 11104 USA**

Чеки и почтовые переводы выписывать
на **Détinett Publishing Corp.**

ИСКУССТВО

Пьер Литеz

ОЛЕГ ГУДКОВ, или СХВАТКА ПЛОТИ С СЕРДЦЕМ

В средневековой дозорной башне французского города Дрё Олег Гудков в декабре 1979 года выставил скульптуры, созданные им в последние десять-двенадцать лет, после его выставки в парижской галерее Брето в конце 1966 г.

Заглавной буквой, исходной точкой этих размышлений я выбрал бы А «Архангела» — он занял бы это место с той же справедливостью, с какой занимал его в первом зале дозорной башни, подсказывая нам, на какую высоту возводить взоры.

Он один представлял на этой выставке поколение крупноразмерных скульптур 60-х годов — чьи имена «Схватка сердца с плотью», «С раскрытым сердцем», «Мудрая дева» и т. д., — тяжеловесный и тяготеющий к самому себе, но открытый, он напоминает «Ангела, нашу первойшую заботу» — стихотворение Рене Шара. Обращенный к нашему Востоку, куда, согласно Гельдерлину, обращают поэты свое вдохновение, он скорее соотносится с ассирийским Херубом — хотя и бескрылый, обломавший, видимо, крылья в том падении человека, о коем говорит Ориген, — или с Серафом, этим жгучим пустынным ветром, нежели с херувимами и прочими серафимами, христианскими уменьшениями Ангела.

Обращенный к нашему Востоку, он сбивает нас с толку, ибо — да, он открыт, но высеченная в нем вертикальная брешь открывает взгляду лишь другую обо-

лочку архангела, и нет никакого намека на то, что мы обнаружим что-то «за» этим, а мы ведь всегда идем «за» чем-то. Образ ли это эпохи, когда белый человек «расплавил» реальность, «разложил» действительность, чтобы подменить ее иллюзорной упорядоченностью, основанной на его воле к власти» (термины, которые Гудков использует в неизданном эссе «Буржуазная а-культура и революция» — инвективе против нынешней буржуазной эпохи и крайнего ее выражения, «паранойи марксистской утопии»)? Нельзя не сделать существенного замечания: скульптуры Гудкова запрещают себе что бы то ни было иллюстрировать, не желают что бы то ни было высказать, о чем недвусмысленно уведомляет их автор.

Это, однако, не помешает нам бросить взгляд на эпоху, в которую живет скульптор, и на его жизнь — в той степени, в которой они иллюстрируют его творчество. На эпоху, когда, как известно, бальзам торговцев «иллюзорностью» имеет бешеный успех на ярмарках истории, где пестрые лотки крепятся на устоях идеологий и отечеств. Кто не поддавался на эти зазывы? Кто не искал в них прибежища? С Олегом Гудковым случилось то же, что со многими другими. Он родился в 1926 году, и его взросление припало на самый взлет господствовавшей тогда идеологии — марксизма, который вовлек его в ряды своих последователей, завербовал его. «Завербованность», столь превозносимая в те времена, — клетка, что рыщет в поисках птицы, — ее надо знать изнутри, чтобы понять, как идеи, которые вас вовлекают, замыкаются вокруг вас клеткой, как внутреннее становится внешним, как общее в конечном счете заточает и душит частное. Гудкову очень скоро представился случай пощупать все это, куда конкретней, чем кому другому: французское правительство изгнало его за железный занавес, и он смог прикоснуться к этой перепонке, отделявшей его от того, что представлялось ему самым задушевным его благом.

Родившийся, правда, во Франции, но в русской семье первой эмиграции, наделившей его своим языком, он не потратил много времени на то, чтобы уловить тоталитарную природу доставшейся ему новой родины — пребывание в тюрьме, а затем работа в советской военной администрации помогли ему в этом. Перед ним открывалась карьера скульптора-инженера человеческих душ в Восточном Берлине — там уже учились чеканить сталинские бюсты, — но это обеспеченное будущее, со всеми его почестями и привилегиями, не перевесило в его глазах соцреалистического уныния. Маятник вернулся в другую сторону, Гудков — на Запад, в другую Германию. После нескольких лет жизни в Мюнхене он возвращается в 1955 г. в Париж.

Итак, он вернулся, возвращенец откуда-то, возвращенец от идеологий, возвращенец от отечеств. Вероятно, надо быть возвращенцем, чтобы вновь обрести универсальное. Вернуться и все обнажить. Позже, в «Буржуазной а-культуре и революции», он напишет: «Любая тоталитарная система, стремящаяся дать конечное объяснение исторической эволюции обществ и человеческих групп, — недоумочное осуждение, произвольное и обманное упрощение реального содержания этой эволюции, так же как недоумочна и обманна всякая попытка указать ее конечную цель». Александр Пятигорский, философ, которого Гудков знает лично и почитает, в своем выступлении на коллоквиуме «Культура и коммунистическая власть» (июнь 1979) описывает, как устанавливается тоталитарная система у нас в голове: «... тоталитаризм вписывается в индивидуальное сознание, как механизм, который нашел свое место... и который неустанно тянет индивидуальное сознание к внешнему, к цели, к общему» («Recherches», No. 39, p. 72). Это — зло, которое продвигается без большого шума и никого не щадит в наше время. Пятигорский предъявляет обви-

нение, в частности, Сартру, этой идеальной модели тоталитарного мышления: «Мысль его вращается лишь в категориях общего: народы, страны, группы, партии, классы, идеи... его интеллектуальная грамматика не знает единственного числа». (Мы можем припомнить Сартра в недавнем фильме: «Следуйте за массами, они — вот конкретное общее».) Для Пятигорского «философ никого не представляет и ничего не истолковывает. Он всего лишь 'думает ночь напролет'. Точно так же и писатель (и в этом существенная разница между Кафкой и Брехтом)». Упомянутый здесь Кафка, еще один фактический апатрид, безродный, еврей среди немцев и немец среди чехов, этой своей диплопией, болезнью зрения, управляемого разными законами, был приучен предстоять перед Законом. Закон «всегда открыт» навстречу деревенскому жителю, покинвшему свои края, чтобы предстать перед Законом в своей единичности, — открыт, как Архангел, если мы соотнесем, выравняем в уравнении (не сей мир исчисляющих цифр) то, чем мы являемся, и то, в чем Закон нас превосходит.

Такова значительность, которую я признаю за «Архангелом»: он в себе несет свое преодоление, пустоту, непрестанно предлагаемую нам как символ, символом которой и мы можем быть, если согласимся на бесконечные возможности метаморфозы, которой он является и которая в пределе нас освобождает. Кафка считал свою болезнь символической; можно сказать, что Йозефина, певица с сорванным голосом, так же символизирует туберкулезный ларингит Кафки, как этот ларингит ссылается на некую, отнюдь еще не существовавшую Йозефину, и оба, Йозефина и Кафка, в сочетании своем, пожалуй, лишь выражают невыразимое по ту сторону себя самих. О притчах Кафка писал: «По существу, они значат только одно: неуловимое остается неуловимым». В 1969 г., в статье «Возврат из Миддельхайма», Гудков пишет: «Творчество

рождается из абсолютной, жизненно важной необходимости очертить неуловимое» — и это предвещает в его пластическом языке другую большую статую, иронически названную «С раскрытым сердцем», статую, сердце которой не уловишь в игре норм, ее очерчивающих или обнимающих, и не извлечешь пассажами наших слов. Так же, как едва ли уловишь хтоническую расселину, над которой склоняется Пифия, в «пророческом припадке» вдохновляемая богом. Однако, по определению Гераклита, Властитель дельфского оракула «ничего не утверждает и не скрывает», его слова и должны быть многозначными, они отыскивают каждого в том интимном соприкосновении, где они обретают смысл, — он «означает» (иной перевод: «внушает, подсказывает»).

Что говорит нам Гудков? В 68-м году он хотел (это было накануне мая, положившего конец проекту) вывести статуи на сцену и там их затем разрушить, подобно шиваическому движению творения, в котором смерть становится метаморфозой, или, иными словами, приобщением. В заметках, предназначенных для композитора, встречаются следующие слова: «Я говорю заранее, что этот спектакль *ничего не значит* и одновременно претендует на то, чтобы означать нечто невыразимое». Гудков подчеркивает «ничего не значит», я бы охотно подчеркнул также «означать», творческую активность или, скорее, пассивность гераклитовского Властителя дельфского оракула, исключающую объяснение. Здесь просят не объясняться, но прикоснуться, ибо от личной прикосвенности зависит смысл. О статуях, которые должны были стать персонажами «спектакля», Гудков говорит: «Подражательность, которую они возбуждают в самом теле зрителя, без намека или ремарки, самодостаточна, чтобы увести в иное пространство», иное, вне их самих, однако в такое иное, где они вновь обретутся, — в их сердце? Для этого они должны непосредственно пройти

через плоть зрителя. Тут намечается один из смыслов «Схватки сердца с плотью».

В своем тексте о притчах Кафка прибавлял: «Следуя за притчами, вы и сами станете притчами». Нам оставалось бы стать «Архангелом» или «Схваткой сердца с плотью»: если истину нельзя увидеть, можно ею быть. Но какой ценою? Ценой разрушения в себе индивидуума, если он не более чем скрещение законов общего. Так, вероятно, объясняется говор Гудкова со смертью, не наводящей страха, но ожидаемой — той, что гарантирует переходы, — ибо истина лишь в переходах, а не в устойчивых состояниях. В заметках к спектаклю мы находим: «Стереть одно состояние, чтобы перейти к другому». Помню удовлетворение, с которым Гудков извещал меня, что одна из его терракотов, исключительно удачная, рухнула под собственной тяжестью: по своей инициативе она возвратилась в ничто, которого, по-видимому, была достойна.

Чтобы перейти от индивидуального, от этого бесодержательного состояния, к своему потустороннему, к тому, что на самом деле, нужен прыжок в ту брешь, где «мыслить» и «умирать» смешиваются. Решающее слово опять принадлежит Кафке, согласно которому знание — это одновременно ступенька к вечной жизни и помеха на этом пути; и тогда «ты должен себя разрушить, себя, помеху, чтобы выстроить ступеньку, то есть разрушение». Позитивное дано — нам остается негативный труд расширения того, что заключено в хитине малого «я». С этого момента творец заслуживает своего имени, он становится тем местом, где осуществляется переход, где всё или же Всё может пройти или произойти, — медиумом. Таков, кстати, термин, который любит употреблять Гудков для описания своего образа действий, — медиум, пустое место перехода.

На слове «пустой» следовало бы остановиться, отличив его от извне идущей, изъеденной пустоты Джакометти (если я верно припоминаю — сидя на тер-

расе монпарнасского кафе, Джакометти видел, как разверзлась она на лицах прохожих), отличить его как определение пустоты почти лирической, каковой является жизнь, если ее принимаешь во всей ее неустойчивости божественной игры. Чоран — еще один фактический апатрид, — говоря о настоящей истине, отрицании всякой истины, замечает в своей последней книге, что восприятие бессодержательности «не сопровождается никаким чувством расстройства, совсем наоборот, ибо открытость к нереальности включает таинственное обогащение».

Думают в одиночку и умирают в одиночку — то же самое и труд отрицания и самораскрытия. Одиночество больших статуй ощутимо в ауре молчания, которым они окутаны. Одиночество заслуживается, говорит Гудков, но кто решится его заслужить, искусить усилие без цели и не поддаться искусу комфорта так называемых обществ потребления? У Гудкова есть своя идея общества: его Общество должно бы опираться на развитие и взаимозаражение этих одиночных монад, чья единственная содержательность состоит в их участии в «созидающем приливе». Я процитирую фрагмент из «Буржуазной а-культуры и революции»: «Революция ставит себе целью вернуть человеческой жизни ее смысл путем возврата всех в созидательный прилив и может достигнуть этого только через творческое и созидающее действие некоторых на нынешнем этапе, через укоренение, а затем разрастание первых саженцев параллельной среды, без пересечения или связи с аллеями власти». Революция, которая проходит не через «нивелировку различий», но через «развитие особенностей».

Время не существует, говорит Гудков, оно не существует в этой горизонтальной протяженности, которая нас обманывает, но, возможно, в любой момент воздвигается вертикальное мгновение, как статуя, откровение той красоты, в которую он верует, благове-

щенье «космической реальности, которая нас превосходит, но не раздавливает». Так же точно не существует общество, общее, но существуют личности творческие, то есть открытые (мы видели, какой ценой) и поэтому способные — лишь они одни — к общению. Это последнее слово плохо передает, о чем идет речь. В одной из статей газеты «Монд» недавно говорилось, что, как обнаружилось, чем больше развиваются средства общения, тем меньше люди общаются. Да и что удивительного? Единственное сообщение, которое поручено гонцу переносить от одних из нас к другим, — это весть о нашем царственном одиночестве, и изобилие средств коммуникации лишь увеличивает помехи по пути. Для Гудкова важно, чтобы общение стало причащением.

Этот дух во многом вдохновлял Владимирскую группу, основанную в 1977 г. по призыву Буковского. Гудков всегда настаивал на том, чтобы каждая из столь различных индивидуальностей, составлявших группу, утверждала и укрепляла то, что затрагивает ее в самых ее глубинах, вне всяких идеологических или политических соотнесений, чтобы, исходя из этого, она вступала в конфронтацию с другими и чтобы эта конфронтация порождала мероприятия группы. Так была издана брошюра «Песчинки», где каждый обосновывал свой личный путь к сближению с диссидентством и двустороннюю причастность, возникающую на этом пути. Что песчинки? мелочь — но, брошенные в тоталитарный механизм, они способны стать силой торможения.

Эта высокая идея причащения, которое должно стать на место общения, господствует также в этих больших скульптурах, расколотых откровенной неоднозначностью: в одно и то же время это труд отрицания и онтологическая брешь откровения. Эта щель между внутренним и наружным в единстве бытия — трещина, которая отделяет нас от себя самих и в то

же время от других. И это та самая трещина, которая необъяснимо сшивает нас с самими собой и соединяет нас с другими в причащении. Так мы переходим от «С раскрытым сердцем» к этой «Схватке сердца с плотью», название которой блистает двусветно, как двойная звезда, и «с» то напоминает «против» в рукопашной двух тел, минутное помрачение в бою (с ангелом), то конец этого «против», то есть начало, инициацию, становясь «с», сокращающим дистанцию до ее ничтожно малой величины, до любви. Таков двойной смысл, вызов и приглашение, и таково равновесие вещей, которое здесь рисуется, в этом «с», призванном к несказанности, в которой восстанавливается единство и двойственное число стирается в самом процессе сложения.

Но достаточно глядеть на эти скульптуры: линия нас затягивает, втягивает поверхности, потом переходит к этой зоне центра тяжести, где мы остаемся на мгновение подвешенными между снаружи и внутри, ясностью и тенью, на этом объединяющем нас гребне, пока линия не обернула направление своего движения. Это туда-сюда парома между видимым и невидимым ткет эти статуи, ткет нас. Оно ткет нас из странной материи, материи снов — и Просперо (мы сами) созерцает ее...

Двойное движение показывает и прячет. Известно, что спрятанное спрятано, чтобы быть обнаруженным, оно даже хочет быть увиденным. Это противоположность секрету, в котором находит удовольствие а-культурная буржуазия на Западе и на Востоке: «Творчество встречает свободу, разрушая секрет. Остается тайна, питающая вдохновение. Тайна есть любовь, и тайна есть причащение. Буржуазная а-культура сохраняет секрет, поскольку ненавидит тайну, не выносит тайнства» («Буржуазная а-культура и революция»). Тайна очевидна в этих формах, словно бы форма парадоксально утверждалась, представляя са-

моё брешь, в равносильности, которую устанавливала уже «Сутра сердца»: форма есть пустота, пустота есть форма. Это существовало в доцерковном христианстве, у гностиков; вспомним Евангелие от св. Фомы: «Или вы не понимаете, что Тот, Кто создал внутреннее, есть Тот, Кто создал и внешнее». В единстве, которую создает эта равносильность, тайна демонстрирует себя, она показывает себя в той двусторонней материи, что является материей этих статуй, материи столь близкой к той, что окутывает Иоанна Крестителя Изенгеймского алтаря, голосящей, изорванной, поддерживаемой и взметаемой черным ветром «того, что за неимением лучшего термина, — пишет Гудков, — можно назвать Духом».

Понятно, почему я выбрал цикл больших скульптур, веху на полпути (*Hälften des Lebens*) в жизни Олега Гудкова: в них наиболее очевидно проявляется эта проблема того, что внутри и снаружи, их отношений, их столкновений, их единства. Здесь яснее, чем в предшествующих произведениях, которые, так сказать, принадлежат иному царству, виден почти растительный мир роста, медленного становления, видно почкование закрытых, как околоплодник, округленных форм, обволакивающих, словно чтобы прикрыть невидимое, и позволяющих угадывать лишь сквозь кратковременные пробоины, где переход от внешнего к внутреннему происходит так, что не замечаешь ни шва — как в «Голосе», — ни развертки показа, парада, виден этот главный момент, когда лопаются плоды, разрывая оболочки. Эта эволюция волнующе воспроизводит естественный порядок, как онтогенез воспроизводит филогенез. В недавних работах Олега Гудкова — в новом окукливании, быть может, — скульптуры снова закрываются, как сумеречницы закрываются на ночь, и теперь они часто фигуративны и на взгляд более гладки. Однако то же ночное кипение остается ощущимым — так сквозь хитин куколки иногда угадываются

органы бабочки. Трудно различимые, это верно, но губы «Вечернего чудища», появляющиеся на краешке лица в форме трубочки или скорее туннеля, говорят нам знакомым языком. Так и бронзовое лицо Пьера Л., растресканный пейзаж, который открывается в черноту чем-то вроде сейсмических расщелин.

Таково мое объяснение творчества, которое требует скорее вовлечения, причастности (импликации, а не экспликации); я попытался соединить одно с другим. Если все это покажется слишком «мистическим» — в чем монотеисты и атеисты вполне могут сойтись, — да, действительно, почему бы и нет... Я напомню слова Витгенштейна: мистичен сам факт бытия мира, а не манера его бытия. И еще раз Витгенштейн: «Невыразимое безусловно существует. Оно является себя, оно есть мистическое». Смотрите «Сутру сердца», смотрите «Архангела».

ЛИТЕЗ Пьер — родился в 1914 г. в Париже, рос в провинции (Франш-Конте). В 1939 г. окончил Сорbonну и до недавнего времени преподавал в лицеях немецкий язык. Сейчас на пенсии.

НОВЫЙ ЧЛЕН РЕДКОЛЛЕГИИ «КОНТИНЕНТА» АМОС ОЗ

Амос Оз родился в 1939 г. в одном из бедных районов Иерусалима, находившегося тогда под управлением английской администрации. Его семья приехала в начале 30-х годов из России и Польши. Выходцы из рода выдающихся религиозных ученых и учителей, многие из них принадлежали к воинственному правому крылу сионистов.

В возрасте 15 лет Амос Оз восстал против мира своих родителей, покинул Иерусалим и переселился в киббуц Хульда, где закончил среднюю школу. В 1957 г. он стал членом этого киббуца, с которым и по сей день связана его жизнь.

В 1961 г., после двух с половиной лет регулярной военной службы, Амос Оз вернулся в Хульду работать на хлопковых полях своего киббуца. Вскоре он опубликовал свои первые рассказы в ведущем израильском литературном журнале «Кешет», после чего киббуц направил его в Иерусалимский университет изучать философию и литературу. По возвращении в Хульду Амос Оз делит свое время между писательским трудом, сельским хозяйством и преподаванием в местной средней школе. В соответствии с основами киббуцной системы, писатель передает почти полностью свои литературные доходы киббуцу.

Во время шестидневной войны 1967 года Амос Оз сражался в танковой бригаде на синайском фронте, в октябре 1973 г. (война Судного Дня) — на Голанских высотах.

Начиная с 1967 г., опубликовал многочисленные статьи и очерки об арабо-израильском конфликте, борясь за израильско-палестинский компромисс на основе взаимного признания и существования между Израилем и арабскими народами.

Амос Оз считает себя толстовцем, ибо, по его глубокому убеждению, именно идеи Толстого послужили основой киббуцного движения.

Книги Амоса Оза пользуются исключительным успехом как в Израиле, так и за его пределами. Его роман «Мой Михаил» вышел беспрецедентным для Израиля тиражом 60 тыс. экземпляров и был экранизирован.

Амос Оз женат. У него две дочери и сын.

Наша почта

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

В № 22 «Континента» опубликовано начало отрывка из обещающей быть интересной книги воспоминаний Кирилла Хенкина «Русские пришли!», где много места уделено рассуждениям на модную теперь в эмигрантской печати тему — о порочности третьей эмиграции. И хотя (отнюдь не будучи апологетом этой эмиграции) я со многим в этих рассуждениях не согласен, не это заставляет меня столь поспешно реагировать на эту публикацию, тем более, еще и незаконченную. Каждый имеет право защищать свою точку зрения по любому вопросу, и вполне можно дождаться публикации всего отрывка и даже книги. Но в опубликованной части есть утверждение, которое никак нельзя считать выражением точки зрения, на которое каждый имеет право. Вот это место: «Примерно у шестидесяти процентов уехавших в деле (выездном. — Н. К.) еще лежит письменное обещание честно сотрудничать с советскими органами разведки».

Никто не станет отрицать, что ГБ работает в этом направлении и какие-то люди поддаются его обработке. Но шестьдесят процентов выехавших — это почти все выехавшие, ибо люди выезжали семьями. Думаю, что такой успех может существовать (и то вряд ли) только в липовом отчёте какого-нибудь уж слишком зравившегося гебешника. Всё-таки не у каждого на личном деле можно поставить гриф (о нём сообщил К. Хенкин) «Вербовке поддается», всё-таки не одни стукачи устремились из СССР, когда открылась такая возможность.

Надо ли объяснять, насколько вредно такое «сообщение», как оно сеет подозрительность — у нас друг к другу и у всех остальных — к нам?

Единственным оправданием для такого сообщения — было бы то, что оно полностью соответствует истине. Поэтому я очень прошу Кирилла Хенкина или неопровергимо доказать, что все это правда, или отказаться от этих своих слов как от опрометчивых. Никакие эссеистские вольности, так полюбившиеся многим в эмиграции, здесь неуместны. Ибо это касается чести и доброго имени по меньшей мере ста тысяч человек.

Н. Коржавин

От редакции:

Лучшим, на наш взгляд, комментарием к этому письму может служить цитата из предисловия Александра Зиновьева к первой книге Кирилла Хенкина «Охотник вверх ногами»:

«Советских эмигрантов на Западе часто спрашивают, например, каков процент агентов КГБ в нынешней эмиграции. Вопрос с точки зрения советского человека нелепый. Возможно, ноль процентов, а возможно — и все сто. Какое это имеет значение?! Общими усилиями заинтересованных лиц Запада и из эмигрантов придумали некую величину процента (кажется, около десяти), которая столь же нелепа, как и любая другая произвольная величина. Положение человека в данном случае с точки зрения его причастности к КГБ зависит от намерений и самомнения этого человека. Даже критики советского режима, высылаемые на Запад, так или иначе фигурируют в расчетах этой системы и как-то используются ею, часто вообще не подозревая об этом. То, что на Западе воспринимается как шпиономания советской эмиграции, на самом деле выражает лишь здоровую интуицию советских людей в отношении своего общества».

Редактору НРС А. Седых

Редактору Континента В. Максимову

Прочитав в «Синтаксисе» № 5 статьи Е. Эткинда, Б. Шрагина и Л. Копелева против «Саги о носорогах» М. Максимова, я послал в октябре прилагаемое письмо в редакцию «Синтаксиса». М. Розанова немедленно ответила, что письмо будет опубликовано в № 6. Вчера я узнал, что № 6 вышел, но там моего письма нет. Я был бы весьма признателен Вам за публикацию письма.

Просьба во всех случаях сообщить о Ваших намерениях.

С уважением

4. 4. 80

Игорь Бирман

Игорь Бирман

ЛЮДИ И ПОЗИЦИИ

(письмо редакции журнала «Синтаксис»)

«Синтаксис» сообщает, что «отвергнутые рукописи не возвращаются и по их поводу редакция в переписку не вступает». Пусть так. Но вот в номере пять Эткинд негодует, что его статья-письмо отвергнута двумя русскоязычными газетами. Заметим, что в переписку с ним они вступили и, может, даже рукопись вернули. Никак не настаиваю на возвращении этой заметки и даже на переписке по ее поводу. Но нескромно уповаю на значительность темы и на взращенную во всех нас, а значит и в вас, любовь к большевистской самокритике. И еще на то, что «мнения автора не всегда совпадают с мнением редакции». Шут его знает, может, вот как раз с мнениями, о которых я пишу, редакция «не совпадала».

Статьи Эткинда, Шрагина и Копелева о «Носорогах» (точнее, за носорогов, но против известной статьи В. Максимова о таковых) я прочитал перед октябрьской конференцией американских славистов и советологов в Нью-Хэвене. А там витийствовала Клепикова. На завидном американском языке она в очередной раз возвестила конец диссидентства, цитировала и обобщала, поднялась до таких обра-

зов, как политический онанизм. Оппоненты свидетельствовали, клеймили фактические несоответствия, научно вскрывали логические противоречия, подчеркивали моральные аспекты. Я — с оппонентами. Но не совсем, не до самого конца. Хорошие люди (среди них мои друзья), споря с Клепиковой (и с примкнувшим к ней Соловьевым), сосредотачиваясь на ней самой, на ее текстах, упускают при этом суть. Насколько и как диссидентство, честность, героизм и мученичество смыкаются с настроениями и чаяниями большинства? Почему взгляды и борьбу диссидентов так мало поддерживают люди, которых мы вынуждены называть советскими? Каковы перспективы диссидентства? Вот истинная проблема и она не должна затеряться, увязнуть в спорах. Тема эта сложна и ответственна и хотелось бы читать о ней, но заметка моя о другом, хотя связь кажется здесь очевидной.

Прошу понять верно. Критики правы, заявляя, что непозволительно в публичном споре с политическим деятелем залезать в его постель. Коли нет доказанных (лучше всего судом) фактов о связях оппонента с КГБ, это не аргумент в дискуссии о его политических взглядах. Литературоведческий анализ профессора Эткинда высоко профессионален, хотя, каюсь (я ведь всего лишь читатель), стиль Максимова в «Носорогах» меня вполне впечатлил. Спешу также сказать, что не разделяю некоторых политических взглядов Максимова (насколько они мне известны). И при всем том, как мне представляется, Эткинд, Шрагин и Копелев прошли мимо главного, мимо самой темы.

Еще раз. Очевидна этическая ошибка Максимова, нарисовавшего в политическом споре прозрачные портреты конкретных людей, указавшего их личные слабости и грешки (даже допустив, что все это названо им верно). То, что некто выступает «перманентно до или после запоя» (пусть это действительно так) ровно ничего не доказывает, не является доводом (даже моральным) против его позиции. Гитлер не пил, не курил, был сексуальным праведником, а еще и вегетарианцем. Досужие историки докопались, что у одного великого американского президента был, страшно сказать, сифилис. А Пушкин... впрочем — портрет его выписан редактором этого журнала.

Увы, и «Синтаксис» повторил тот же грех. При всем моем высоком уважении к Копелеву, не стал бы я печатать его анализ биографии Максимова. А на месте самого Копелева, поминая Максимову «Октябрь», сказал бы тогда и о «Континенте», за который мы все у него в неоплатном долгу. И уж совсем бы не стал корить Мак-

симова тем, что он вырос среди «учителей-наставников — комсомольских и партийных работников, редакторов и журналистов». Ведь и мы с Вами, товарищ Копелев, были членами партии, мы тоже росли и печатались в той же самой среде.

Но куда большая ошибка «Синтаксиса», что Максимову возразили лишь о форме, не сказав ни словечка о действительной его боли и, молюсь, о нашей общей боли — куда идет и куда заворачивает современный либерализм? верный ли он наш союзник, да и союзник ли вообще? отдают ли либералы полный отчет в конечных результатах своей позиции?

Когда я читал «Носорогов», и у меня шевельнулся бес нездорового любопытства — кто же прототипы, как бы разгадать их персонально. Где-то удалось, где-то нет, вот теперь Эткинд со Шрагиным помогли. Не благодарю ни их, ни вас за это. Нам, читателям, надо видеть за этими портретами собирательный образ Современного Либерала, а не какого-то Имярек, обобщенный путь мысли, неиндивидуальную, то есть как раз стадную, логику. Мне без разности, в какой квартире живет Бёлль и носит ли свитер Ионеско (и тошно было читать в свободных американских газетах о приступе геморроя у Картера). Но, согласитесь, типология тех, кто заставил свои правительства сдать Вьетнам и бороться за полное разоружение Запада, кто ничтожным Пиночетом занимается неизмеримо больше, чем Хуа, кто морально (а то и вполне материально) поддерживает Арафата, кто недавно аплодировал Кастро сначала в Гаванне, а затем и в Нью-Йорке, не просто любопытна. Без такой вот типологии, без анализа ни я, ни господин Копелев, ни мосье Эткинд, ни мистер Шрагин не поймем этих людей. А понять их ой как надо. Не чтобы простить, а чтобы сказать и им самим и всем другим — с кем они и куда они. Что сделал Максимов.

А впрочем, надо сказать не только это, надо сказать им в лицо — кто они. Вот написал я выше, что недостойно копаться в прстынях идейного противника. Но обстоятельства, заставившие творца Остен политику герра Брандта уйти в отставку, стали фактом политическим. И почему, собственно, не сказать в лицо Бёллю, что при всех его действительно благородных прекрасных делах и поступках есть у него и другие позиции. Разве геноссе Бёлль не симпатизировал Мао? А как мосье Сартр, лично он, относился к Кастро, Арафату, к группе Баадера? И почему бы также не сказать Белле Ахмадулиной, что русский поэт всегда был и должен быть гражданином, а не просто советской гражданкой. Пусть другие, тоже вояжирующие по заграницам и срывающие аплодисменты у либералов легонь-

кой, едва просвевающей фрондой, подумают, что и им тоже в конце концов такое скажут. В лицо. Прямо. Без экивоков.

Комментарий В. Максимова:

Лично я как автор уже ответил своим оппонентам продолжением «Саги о носорогах» в двадцать третьем номере журнала и обещаю им вновь и вновь периодически возвращаться к этой теме в будущем. Принимать всерьез патологически злобные (они столь же бездоказательны, сколь и бездарны) инсинуации «профессоров», изучивших, как выяснилось, на старости лет римскую историю по роману Михаила Булгакова, было бы для меня унизительным. Отвечать же уважаемому мною Льву Копелеву я не имею морального права, ибо он «там», а я «здесь», но, тем не менее, мне хотелось бы заметить, что человеку, с достаточной откровенностью изложившему свою, мягко говоря, весьма сложную биографию в честной книге «Хранить вечно», не стоило бы анализировать биографии других с таких нравственных высот. Как говорится, Вам бы да мои грехи, многоуважаемый Лев Зиновьевич!

Колонка редактора

ПИСЬМО В ГАЗЕТУ «УНИТА»

Едва Андрей Сахаров был выслан советскими властями в Горький, как газета «Правда» запестрила «письмами трудящихся» в поддержку этой «справедливой и гуманной акции». Мы уже к этому привыкли. Не впервой. Так было и с Борисом Пастернаком, а спустя полтора десятилетия с Александром Солженицыным. Мы знаем нехитрую технику организации подобных «откликов». Порою «подписавший» такой «отклик» узнает об этом только на следующий день из газет.

Что поделаешь, тоталитарная диктатура со всеми вытекающими отсюда последствиями. Или, как принято говорить сегодня на Западе, типичное русское варварство!

Но вот передо мной подшивка газеты, выходящей в свободной стране, редактируемой, на первый взгляд, свободными людьми, громко именующими себя «европейскими коммунистами», то есть представителями «самого демократического» движения в современном политическом спектре, распространяемая среди читателей, выросших в атмосфере просвещенного Запада. Но, тем не менее, «отклики итальянских трудящихся» почти слово в слово повторяют штампованную демагогию «Правды». И не под чьим-то давлением, не из-под палки, а свободно, добровольно, с искренним воодушевлением. И социальный набор тот же самый: рабочий, крестьянин, знаменитый профессор. Не правда ли, трогательно!

Русский прозаик Владимир Войнович направил недавно в «Правду» отклик на «отклики» соотечественников: «Позвольте мне через посредство вашей уважа-

емой газеты выразить свое отвращение ко всем организациям, трудовым коллективам и отдельным товарищам, включая ударников труда, художников слова, мастеров сцены, академиков, героев, лауреатов и парламентариев, которые уже включились или собираются включаться в травлю самого выдающегося человека нашей страны».

Со своей стороны, я пользуюсь случаем, чтобы выразить такое же отвращение всем читателям газеты «Унита», присоединившим свои голоса к грязной антисахаровской кампании.

Читайте в следующем номере «Континента»

Прозу:

П. Равича, Ю. Алешковского

Стихи:

В. Галицина, З. Афанасьевой

Публицистику:

**В. Некипелова, Л. Богораз,
И. Иловайской, Б. Парамонова,
И. Гильбоа**

Критика и библиография

ЖИЗНЬ И ЖИТИЕ

Страшный провал в истории России начинает заполняться: всё больше воспоминаний, исследований, записей и писем всплывают на поверхность, и хоть часть из них удается опубликовать. Десятилетия беснования власти и неизречимых страданий подвластных, казалось, погребены были под стопудовой каменной плитой вынужденного молчания или беззастенчивой лжи. Молчание нарушено, ложь все шире, все ярче и резче разоблачается. Это необходимое дело можно осуществлять двумя способами: рисуя общую картину данных исторических моментов или идя по стопам какого-нибудь одного лица, одной человеческой судьбы.

В микрокосме отдельных судеб и их окружения отражается, еще и еще, действительно не поддающаяся человеческому пониманию трагедия России и трагедия человечества, в России свершившаяся. Так получается, знакомясь с биографиями отдельных русских людей за время от революции до наших дней, что все они трагичны. Но есть судьбы особо показательные в своей трагичности, и есть отдельные личности, в которых как бы сосредоточилось исключительно много света — или исключительно много тьмы; есть люди, жизни которых собирают и отражают собой совокупность страданий, тьмы, но и удивительного света «хождения по мукам» России и, в ней и через нее, всего человечества. (Дело тут не в мессианisme и не в предвзятой идее об особом назначении России, а в неопровергнутом реальном факте, что попытка разрыва истории человечества и направления ее по новому руслу — волею Божией или в силу случайных обстоятельств, это как кто хочет верить и толковать историю — но произошла в России.)

Обе книги, о которых пойдет здесь речь, принадлежат

Марк Поповский. Жизнь и житие Войно-Ясенецкого, архиепископа и хирурга. Изд. ИМКА-Пресс, Париж, 1979.

Игумен Никон. Письма духовным детям. ИМКА-Пресс, Париж, 1979.

как раз к волне тех прослеживаний единоличных судеб, в которых, однако, широко отразилась история всеобщая.

Марк Поповский во время своих путешествий по России и своей писательской и журналистской работы натолкнулся на фигуру и судьбу, которые явно его как писателя и журналиста заворожили. Встреча с архиепископом-хирургом Лукой, в миру Валентином Феликовичем Войно-Ясенецким, произошла и физически: был разговор, интервью с героям повести, когда повесть, по всей вероятности, уже полностью созрела в замысле и записях автора, а герой, слепой и уставший, близок был к концу своей земной жизни. Но до того был ряд встреч через посредство других людей, свидетелей и участников того или другого этапа суповой жизни этого необычайного человека, «очень полюбившего страдание за то, что оно очищает душу».

«Войно-Ясенецкий, Валентин Феликович. Род. в 1877 году в Керчи. Умер 11 июня 1961 года в Симферополе. Хирург, доктор медицины. До 1917 года медик в ряде земских больниц средней России, позднее главный врач Ташкентской городской больницы, профессор Среднеазиатского Государственного Университета. В начале двадцатых годов под именем Луки постригся в монахи, был рукоположен в сан епископа. Многократно подвергался арестам и административным ссылкам. Автор 55 научных трудов по хирургии и анатомии, а также десяти томов проповедей. Наиболее известна его книга «Гнойная хирургия», выдержанная три издания (1934, 1946 и 1956 гг.). Избран почетным членом Московской Духовной Академии в Загорске. Награды: Премия Хойнатского от Варшавского университета (1916 г.). Бриллиантовый крест на клобук от Патриарха Всея Руси (1944 г.). Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне» (1945 г.). Сталинская премия первой степени за книги «Гнойная хирургия» и «Поздние резекции при огнестрельных ранениях суставов» (1946 г.). Умер в сане Архиепископа Крымского и Симферопольского».

Такова, говорит нам автор, была краткая справка, которую он составил себе в начале своей работы: «нечто вроде тех заметок, которые помещают в энциклопедиях». Эта краткая справка содержит столько указаний на необычайный, драматический и противоречивый жизненный путь, что интерес к действующему лицу вполне понятен. Сам Марк По-

повский и большинство тех людей, с которыми он говорил о своем герое, основное противоречие видят в сочетании монашества с научной деятельностью. На самом деле противоречие это менее глубоко, чем им представляется: удивительно то, что священнику, епископу позволили все-таки работать врачом и даже делать операции, даже над сильными мира сего; но сам факт ученого-монаха по сути своей противоречия в себе не таит. Только в те времена, о которых идет речь, гораздо более нормально было (и так и бывало на практике) сгноить монаха в лагерях, совершенно не интересуясь тем, ученый ли он и какого уровня и масштаба. Это и явствует из всего подробного, тщательного, по-журналистски дотошного и бесстрастного описания эпохи и обстоятельств, которое по ходу повествования дает Поповский. Гноили епископа Луку не раз — в лагерях, в ссылке; допрашивали сутками; пытали, били; морили голодом и холодом: все за то, что — монах, епископ, хочет служить Христу и этого не скрывает. «Поп», как говорят про него с тупой злобой партийные чиновники, чекисты и завистливые посредственности среди коллег. Однако не сгноили; периодически выпускали даже на свободу; признавали исключительный талант, умение, использовали их, и вот даже печатали книги и давали награды. Это — удивительно, ибо сколько великих талантов погибло, сколько бывших ученых задушили и физически уничтожили за те годы в России, совершенно не заботясь о том, что они могли бы принести пользу отечеству!

Самое же удивительное, с точки зрения автора, это решение талантливого молодого хирурга постричься в монахи в 1923 году: т. е. когда это скорее всего должно было означать мучения и лютую смерть, и во всяком случае нескончаемые мытарства и преследования. Сам епископ Лука объясняет свое решение лаконично и до предела ясно: «Я чувствовал, что мой долг — защищать проповедью оскорблённого Спасителя нашего». Но, хотя Поповский и приводит эти слова епископа Луки, ему они явно кажутся объяснением недостаточным, и он дает свое толкование, согласно которому стать священником было формой гражданского и морального протesta против совершившихся вокруг преступлений и царившей полной безнравственности. Кроме того, он приводит теории современников пострижения Войно-Ясенецкого, из которых ни один даже не допускает мысли о том, что причина

— именно ту, которую сам епископ Лука указал, а все вдаются в какие-то фантастические предположения. Мы останавливаемся на этом месте особенно подробно потому, что это очень характерный момент для рассматриваемой книги. Она великолепно дает образ Войно-Ясенецкого как ученого и хирурга; полно, умно и часто блестяще рисует картину эпохи с ее меняющимися обстоятельствами и реакцией на них людей; но образ епископа Луки — христианина, монаха, «защитника Спасителя нашего» — проглядывает лишь мельком в нескольких коротких эпизодах, как бы оторванных от целого, и от этого не получается и цельный образ человека. Ведь сам Войно-Ясенецкий предупреждал автора — не отделять хирурга от священника, и верный этому завету Поповский озаглавил свою книгу «Жизнь и житие». Но то, что есть в заглавии, в книге не осуществлено, по всей вероятности, потому, что и действительно трудно осуществимо для человека, от веры далекого.

Это, однако, единственное, что можно поставить в упрек этой в остальном ценнейшей книге, если не считать еще, на наш взгляд, поспешных суждений автора о русском народе и об особенностях русского склада ума и души (русский народ по сути безрелигиозен... русским не свойственно индивидуальное сознание, они склонны прятаться за для них самих туманное понятие коллектива — общины — м. б. соборности; и т. д.). Описание же событий всегда чрезвычайно правдиво и объективно и дает, в общем, совсем иную картину: «безрелигиозный» народ дает сотни тысяч мучеников за веру... рождается катакомбная церковь... все подлинно достойное «гниет на соловецком погосте», выживает лишь «плебейство духа», т. е. происходит, как уже не раз говорилось, селекция наоборот, намеренно и целенаправленно оставляется все худшее. Что же касается индивидуальной ответственности и личного достоинства, то как раз герой книги, архиепископ Лука, на ее страницах представлен как поразительное воплощение этих качеств.

Картина гонений на Церковь, возникающая при прочтении книги, производит сильнейшее впечатление: тут и сухая статистика закрытия, уничтожения, осквернения храмов, арестов и расстрелов священников — и параллельно цитаты из газетных статей и описание эпизодов надругательства над святынями (вот тех оскорблений Спасителя, которых не мог

снести Войно-Ясенецкий), насыщенных каким-то безумием ненависти, как будто беснующаяся толпа идет убивать Бога. Евангельское повествование приходит на ум неизбежно — и даже не «распни, распни Его», в котором была все же какая-то страшная логика, а скорее всего стадо свиней, бросающееся в бездну, потому что в него вошли бесы: уничтожающее и саморазрушительное зло.

Один только узел в жизни архиепископа Луки так и остается неразрешенным — и для автора, и для читателя: отношение его к советской власти, к советскому строю. В общем, впечатление создается такое, что он готов был принять коммунизм, и принял бы — если бы не гонения на христианство, если бы не богооборчество. Он был земским врачом, «мужицким доктором»; даже научные интересы его шли четко в сторону заболеваний особенно частых у крестьян и рабочих: отсюда его «Гнойная хирургия». Политика и общественные вопросы его мало интересовали, и он вполне мог поверить в справедливость идеи этого нового порядка; да он и ответил на вопрос чекиста «с нами Вы или против нас?» — что если бы не был христианином, по всей вероятности был бы коммунистом. До сих пор все понятно. Менее понятно, что он, побывав в лагерях и, следовательно, увидев страдания других (на свои он действительно мало обращал внимания, а в конце концов их «полюбил»), как будто продолжал относиться к власти с внешним уважением и, по-видимому, с верой в то, что она может измениться и исправиться. Во всяком случае, он идет на компромисс с этой властью — со Сталиным: правда, во время войны, когда он считает своим долгом послужить всеми силами и знаниями раненым солдатам, а в то же время происходит то, что ему вполне могло представиться чудом Божиим: прекращается курс на окончательное уничтожение Церкви, остатки которой терпелись только как маскарад для успокоения иностранцев; для Церкви как будто появляется возможность настоящей жизни и деятельности. Архиепископ Лука с самого начала проявил себя как верный воин Церкви; характерно его решительное, бескомпромиссное, жесткое неприятие любого соблазна «обновленчества», живой церкви. Получается так, что надежда на возрождение Церкви и восстановление Ее во всех правах перевешивает какой бы то ни было другой аргумент, все другие соображения. К концу жизни, однако, архиепископу все

ясно, как явствует из его беседы с Поповским. Да и трудно сказать, в чем видел он тот соблазн, о котором сам говорит с горечью и раскаянием, что поддался ему: идет ли тут речь о чрезмерном увлечении его, на некоторое время, научной и докторской деятельностью, о том, что он как бы на время забыл, что в первую очередь он — слуга Христов (как будто таково значение «вещего сна», о котором сам он рассказал в своих «мемуарах»-записях, ныне опубликованных в третьем выпуске сборника «Надежда»); или пережитый им кризис был еще более сложен и глубок. Во всяком случае это одна из выдающихся, поистине необычайных фигур русской православной Церкви — и новейшей истории России, и книга Марка Поповского представляет исключительный интерес с исторической, и с человеческой точек зрения.

А вот — вторая, не менее удивительная фигура: игумен Никон. Из предисловия к небольшой книге, содержащей только его письма к духовным чадам, мы узнаем, что в миру он был Николай Николаевич Воробьев, родился в 1894 году в Тверской губернии, родом был из крестьянской семьи, окончил реальное училище и намеревался стать врачом-психиатром, для чего и поступил в Петербургский Невропатологический институт (как видно, не невозможно было крестьянскому отпрывску в царской России получить высшее образование). Но тут в его мировоззрении произошел перелом: «он разуверился в возможностях науки познать человека и целиком обратился к Богу». Он поступает в Московскую Духовную Академию, но закончить ей не удается: в 1919 году новая власть закрыла Академию. После этого он провел десять лет в уединении и молитве в маленьком городке Сухиничи, читая Евангелие и изучая святых отцов, чтение которых всегда впоследствии считал самым важным для человека, ищущего праведного пути в жизни; в 1931 году он принял монашество и был рукоположен в священники в Минске, а в 1933 году был арестован и сослан в сибирские лагеря: нормальный крестный путь русского священника. Только после войны, когда начали вновь открываться приходы, он был назначен в Козельск, а затем в ряд других приходов и наконец отправлен «как бы в ссылку» в захудалый приход в городе Гжатске. Чудо, на которое надеялся архиепископ Лука, на самом деле не свершилось: Никона поочередно уда-

ляли из всех приходов и наконец сослали (его же церковное начальство) за то, что он слишком хорошо проповедовал, слишком много стекалось к нему людей, а это, естественно, властям не нравилось. На некоторое время ему даже запретили прием посетителей. Все выпадавшие на его долю испытания он принимал как проявление милости Божьей к себе, ибо они учили его смиренению, а в смиренении он видел главную и, может быть, единственную верную основу спасения.

Люди издалека, письменно, обращались к игумену Никону за поучением, утешением, наставлением на путь истины — может быть, когда не позволяли ходить к нему, писали; и он всем отвечал с неизменной лаской и любовью. Думается, что от книги этой светлое и теплое впечатление должно оставаться и у читателей неверующих или, во всяком случае, далёких от мыслей о спасении, так она пронизана любовью, вниманием к человеку, глубоким пониманием человеческих проблем. Для верующего читателя, для всех тех, у кого не разрешенные вопросы, страдания, колебания, сомнения (а у кого их нет?), она — настоящее сокровище, ибо в смиренной простоте, а на самом деле с глубокой мудростью, дает ответ и указывает путь. Мировоззрение игумена Никона и учение его вкратце можно изложить его же словами из письма от 1962 года, в котором он говорит, что чувствует приближение смерти (и в самом деле он умер 7 сентября 1963 года, в самый разгар хрущевских гонений на Церковь). Он пишет: «...Лично для меня смерть желанна. Я знаю, что есть будущая жизнь, есть милость Божия к нам, есть для верующих в Господа Иисуса Христа несомненная надежда войти в блаженную, а не мучительную вечную жизнь. Религиозные восприятия не психологизм, а так же реальны, как реальны восприятия мира физического. Земная жизнь дана не для наслаждения, а для познания себя и Бога. Человек во время земной жизни должен решительно, невозвратно определить себя к добру и злу, к Богу или дьяволу. Ищущий Бога и правды Его — найдет Бога и новую жизнь здесь на земле в начатке, а после смерти во всей полноте». И во всех письмах наставление к смиреннию и к молитве; а молиться надо, как мытарь: Господи, прости меня грешного. Удивительная книга, в кажущейся своей простоте и скромности; ни одно слово в ней не звучит книжным, вся она трепещет живым опытом личного пути к Богу, а язык ее — четкий и ясный язык жизни

и проблем каждого из нас. Книга, наполненная благоухания духовного, пришедшая к нам из современной России, после шести с лишним десятилетий воинствующего безбожия.

Ирина Иловайская

**«КОГДА ДВИГАЕТЕСЬ,
СТАРАЙТЕСЬ НИКОГО НЕ ТОЛКНУТЬ...»**

«Путешествие дилетантов» Булата Окуджавы выпущено отдельной книгой нищенским тиражом 30 тыс. экземпляров, из которого (так говорят) две трети продаются за границей и только одна оставлена на всю задыхающуюся от бескнижья страну. Несчастная эта треть разлетелась немедленно, а по большей части продавалась из-под прилавков: все знакомо, все как прежде, ничего не изменилось... Только теперь, по-сравнив наш удешевленный книжный рацион, вечно выверяющий «Высшими Соображениями», со скоростной диагностикой западного рынка, особенно остро чувствуешь оскорбительное отсутствие какой-либо логики в этом искусственно создаваемом голоде; в том числе и логики советской, уголовно-идеалистической: если произведение определено как вредное — то уж и запретили бы, если оно вредным не сочтено, то и тиражировали бы его в полное утоление жаждущего читателя. А эта вот осторожненькая дозировка (как лекарство, что в малых дозах лечит, в больших — отравляет) — всякий раз бьет по нервам и автора, и читателя. Когданибудь вездесущие психоаналитики займутся интереснейшим вопросом о том, сколько сил и нервной энергии украдено у миллионов людей с помощью этого ежедневного издевательства. Как только взрослые дяди и тети (которых за малейший шаг, верный-неверный, выдергивают «на ковер») становятся читателями, им повязывают слюнявчики и набивают рот: сперва — за папу Григорий Борисыча, потом за маму Софью Власьевну, потом — за легион родственников во главе с дедушкой Лениным; а не подавишься, не посине-

Булат Окуджава. Путешествие дилетантов. «Сов. писатель», Москва, 1979.

ешь, проглотишь паинькой — будет тебе и сладкое: Окуджава, например. Да и то — на кончик языка. Хуже японской пытки — выбрать тонзуру и капать на макушку; тут сразу в душу капают: вернее.

И зачем, отчего столько сомнений и сложностей, когда речь идет о «Путешествии дилетантов»? Почему так путается критика? В одной статье поругают, в другой похвалят, но тоже вроде бы с некоторым сомнением, как будто подозревают в романе существование неопознанной мины, готовой взорваться как раз в тот момент, когда интеллигентный критик, сдавший доброжелательную статью доброжелательному редактору, отправится в «Арагви» — поддержать душевный комфорт духовитым гастрономическим. Откуда эта вечная опаска по отношению к Окуджаве, вроде и не гонимому, и не в голоде-холоде живущему, и отмечаемому, и в загранице достойному жить на довольно длинной цепочке (доверие!)?

Секрет, мне кажется, в данном случае заключается в том, что официально принятым критериям трудно существовать не только в применении, но даже рядом с атмосферой последнего романа Окуджавы. (Хотя, в сущности, это относится в равной степени и ко всему его творчеству, духу которого роман не изменяет ни на iota.) Если бы дело было только в том, что мы любим называть «идейным содержанием», это было бы еще полбеды. О чем роман? О свободе. О праве на выбор. О праве на заблуждение. О праве не знать и не режиссировать заранее свою жизнь. О праве постигать ее смысл внезапно, без подготовки и размышления, не применяя никаких заданных заранее критериев, — эмпирически. Диалектически. Абсолютное и полное отсутствие детерминизма: вот где начинается война между автором и критикой. Вернее — между автором и целым конгломератом правил — писаных, неписаных и предписанных. Однако это и есть те самые полбеды. Об идеях можно спорить. Можно показать и доказать, что своим романом Окуджава покушается на устои не больше, чем покушается на них (советские, я имею в виду) Шекспир своей «Ромео и Джульеттой»: роман-то, в конце концов, о любви. О любви и верности. О любви-жизни-дыхании и верности-жизни-дыхании: некоем виде «высокой болезни», движущей миром, хотим мы того или нет; наполняющей его смыслом, хотим мы того или

нет; выдвигающей категорию Прекрасного в ряд Необходимого и Обязательного — в ряд непременных и утилитарных условий существования человеческого индивидуума, — хотим мы того или нет; вызывает ли это у нас смех, или слезы, или почтительное преклонение головы перед явленным Таинством. Роман можно прочесть и как блестательное подтверждение взаимосвязи, взаимовозможности и взаимопроникновения эстетического и этического — положение марксистской философии: никаких покушений на «святая святых». Что же так пугает в нем?

Форма. Форма, не существующая отдельно; форма, которая есть содержание и которую можно назвать воздухом, атмосферой, духом романа. Форма, возникающая из слово- и фразосочетаний, но ими не исчерпывающаяся и не ограничивающаяся. Ибо у Окуджавы (в творчестве вообще и в «Путешествии дилетантов» в частности) пауза, умолчание — в том числе и временная пауза, временной разрыв, определяемый на листе бумаги разве только датами, — играет столь же серьезную и полноценную роль, как реально написанный текст. Обезоруживающе простое построение фразы, отсутствие метафоричности в ней подчеркивают ее музыкально-пластическую, ритмическую безошибочность и позволяют читателю ощущать, прозревать внутренним, неформулирующим зрением еще «нечто», кроме реального содержимого понятий, — некую сверхлимитную структуру, тем более многозначную и многозначительную, что она не ограничена никакими материальными формами.

Тому же служит и композиция романа: бесчисленно перекрецивающиеся дневниковые записи (Амиран Амилахвари, князь Мятлев, Анета Фредерикс) — и письма (Мятлев, Лавиния, госпожа Тучкова, Ладимировский); те и другие — вперемешку и по очереди — с описанием сиюминутно происходящих событий; эти последние — с ретроспективными кусками, выплывающими внезапно, как будто они случайно пришли на ум, как это бывает в жизни, и в то же время не скрывающими той ощутимо весомой роли и власти, какую имеет над нами прошлое. Все это вместе кажется почти хаосом; странным целым, составленным из лишенных пропорций частей, соединенных неведомо почему именно в данной, а не в какой-либо иной последовательности. При этом эпическое повествование часто меняется ролями с эпистолярным

или дневниковым жанром (т. е. в сущности, монологом одного из действующих лиц) — совершенно на равных, без какого-либо авторского комментария. Авторский голос внезапно замолкает, переставая сообщать нам о событиях, что называется, «из первых рук»: мы начинаем узнавать их из уст (или писем, что одно и то же) отнюдь не самого любимого нами персонажа (скажем, Ладимировского или госпожи Тучковой, или княжны Елизаветы Васильевны, сестры Мятлева). У нас нет оснований им не доверять, потому что о т - р и ц а т е л ь н ы х персонажей в привычном смысле этого слова у Окуджавы нет — все они имеют право на свою правду; но мы не можем и доверять им полностью, зная, что они стоят на иной жизненной позиции, чем герои (Мятлев и Лавиния). Таким образом, сама сюжетная коллизия вдруг начинает колебаться, теряя очертания, а читатель как бы лишается точки опоры.

Если к этому присовокупить тот факт, что некоторых героев мы видим не иначе, как глазами других героев (Адель, в большой мере — Александрину), то неудивительно, что роман напоминает отражение в воде, только так и существующее: отражение без отражаемого предмета; отражение как единственная реальность. Похоже на крещенское гадание с зеркалом и свечами или — с кольцом в воде, когда Судьба (нематериальное) вдруг обретает воображенную или субъективно-реальную форму.

И вот мы закрываем последнюю страницу романа — и не можем отделаться от ощущения, что перед нами возникло (из всей и при всей эклектичности частей и приемов) нечто бесконечно гармоническое, поэтически-звукное, оправданное в малейшем умолчании, в малейшей забывчивости объяснить (это — не нужно, это прозвучало бы пошлостью), в малейшей композиционной угловатости, которая могла бы показаться неловкостью или неряшливостью автора, а вдруг выступает его поэтической победой. Настойчивая алогичность композиции оказывается отражением, доводом, системой доказательств той человеческой алогичности, которой Окуджава поет гимн в своем романе. И не в том дело, что он тем самым будто бы утверждает определенную эстетическую позицию: нет, я убеждена в том, что Окуджава *вообще* ничего не утверждает; по характеру таланта, по характеру человеческому он лишен какой бы то ни было тенденциозности. Он

просто на нее не способен. Он, быть может, самый спонтанный, самый стихийный из существующих ныне писателей. И если понятие «импрессионизм» способно отразить соединение стихийности образа, возникающего в воображении автора, со столь же стихийным, почти животно органическим чувством ритма, меры, чистоты звука, лирической его глубины и наполнения, то Окуджава — импрессионист более, чем кто-либо и когда-либо. Больше, чем Чехов, Дебюсси и Ренуар в отдельности, — скорее как они все, вместе взятые. Импрессионизм Окуджавы — не литературный метод, а мироощущение и мировидение, и, как результат, — поэтическое миросоздание. Он иначе не может. Иначе не видит. Если бы даже и решил сознательно работать в «иной технике» — вряд ли что-либо вышло.

Поэтому ему и не вписаться никак в услужливо, сетями, раскинутые на каждом шагу писателя нормы.

Два эпиграфа к роману «Путешествие дилетантов»:

...Ибо природа, заставив все другие существа наклоняться к земле, чтобы принимать пищу, одного только человека подняла и побудила его смотреть на небо... (Марк Тулий Цицерон)

...Когда двигаетесь, старайтесь никого не толкнуть.
(Правила хорошего тона)

Вечное несчастье человека: ему не примирить двух этих условий. Когда смотришь в небо, очень трудно не толкнуть кого-нибудь ненароком и вовсе этого не желая. А памятуя все время о правилах хорошего тона, на небо не заглядишься. Небо безгрanno — и не уживаются с правилами. Конфликт этот вечен. Он не зависит от уровня развития и формы организации общества. Вернее — степень его остроты зависит от степени свободы личности в обществе. Но исчезнуть он не может нигде, никогда.

Окуджава делает фоном его в своем романе девятнадцатый век. Он вообще любит девятнадцатый век — отдаленный от нас ровно настолько, чтобы уже не видны были его пыльные углы и отсутствие разнообразных удобств, зато романтическая приподнятость в отношениях, нравах и языке выступает на первый план и вызывает ностальгическую грусть. Век, слишком близкий, чтобы стать смешным, и слишком далекий, чтобы из сегодняшнего дня его можно было изображать реалистически. Для Окуджавы как для ху-

дожника — идеальное временное расстояние: за легкой импрессионистической дымкой; пламя свечей, качающиеся на стенах тени, женские профили в локонах, эполеты, гусиные перья, маленькая война, в которой не считают еще десятками и сотнями тысяч, где каждого погибшего есть время оплакать... Благородный отсвет старого серебра... Легкая старомодность в речи — как раз настолько, чтобы соединилась с этим музыкально-пластическим фоном. Почти стилизация.

Героя зовут князь Мятлев — от «мяты»? От «смятения»? От «метели»? От — «мятый»? От Ивана Мятлева, поэта, лермонтовского приятеля? Неважно. Красиво.

Ее зовут Лавиния — редкостно и красиво.

Вопреки всему, что несет в себе эстетика нашего времени, Окуджава не боится красивого. Еще бы шаг, шажочек, дюйм — могло бы выйти в сладенько, в пошлость. Но — безошибочно чувство меры и вкуса — и красивое становится Прекрасным.

И конфликт — между «дилетантами» и «профессионалами», между глядящими в небо — и ревностно стерегущими правила хорошего тона, во всем этом антураже, среди всего этого изящно-беспомощного реквизита девятнадцатого века выступает тем безнадежнее, тем непримиримее. Глупо и мелко было бы делить героев на правых и виноватых, на «положительных» и «отрицательных». В том, что каждый из них — такой именно, а не иной, есть некая фатальность и фаталистическая завершенность в их изображении. Существование тех или других неизбежно, как дождь осенью. И столкновение неизбежно. И победителей не бывает здесь, ибо из этой битвы ни одна сторона не выходит той же, какой была, начав ее.

Булат Окуджава все-таки поразительный писатель. Столь же органично и естественно, как растение, которое вбирает из воздуха углекислый газ, а выделяет кислород, он вдыхает углекислый газ несвободы, а выдыхает чистейший кислород поэзии, гармонии — свободы.

Виолетта Иверни

«МАЛЫЙ АПОКАЛИПСИС» ТАДЕУША КОНВИЦКОГО

Еще не так давно в разговоре с видным польским литературным критиком я пожаловалась, что, несмотря на расцвет независимых от цензуры издательств в Польше, несмотря на моду писать специально для этих издательств, независимая литература не дала еще такого произведения, которое бы меня потрясло или хотя бы подольше приковало внимание. «Ну так, дитя мое, — ответил желчный критик, — вы когда-нибудь видели, чтобы на деръме расцветали цветы?»

Этот разговор происходил до появления «Малого Апокалипсиса» Тадеуша Конвицкого. Роман этот — наравне с «Племенами» Станислава Бжозовского (1908) — крупнейший роман, написанный по-польски, да и просто значительный роман как таковой. Оправдывая ответ критика, эта повесть черпает свои силы именно в ПНРовской действительности. Быть может, это цветок, который расцветает всего раз — единственный в своем роде, порожденный неповторимым совпадением обстоятельств: политической атмосферы, способствующей определенным размышлению, и писателя, который, дойдя до жизненного и творческого климакса, впадает в ярость и пишет такую книгу, что читаешь ее всю ночь и не можешь оторваться — и при этом тебя не оставляет ощущение, что книга так и написана: лихорадочно, не отрывая руки от бумаги, тоже за одну ночь.

Герой-рассказчик повести, идя на самосожжение, проводит свой последний день, бродя по городу и встречая людей, воплощающих «страну прозрачного порабощения». «Малый Апокалипсис» — одновременно своего рода интеллектуальная автобиография и политический памфlet — или даже набор не всегда согласующихся между собой политических памфлетов, — в то же время это и описание определенной действительности, которая тем больше напоминает science fiction, чем меньше является фикцией, вымыслом.

Место действия — Варшава, разваливающийся, распадающийся город, в центре которого, однако, нерушимо тор-

Tadeusz Konwicki. Mała Apokalipsa. («Zapis», № 10, Warszawa, 1979). Londyn, 1979.

чит высотное здание Дворца Культуры и Науки (некогда — имени Сталина). Время действия — день приезда «русского секретаря» с калмыцкими чертами, неустанно целующего в губы секретаря польского. Год неизвестен: давно уже все годы перепутались, одни отрасли поперевыполняли планы и вырвались вперед, другие поотстали, где-то перегнали Запад, где-то остались в хвосте... Неизвестно и время года: уже много лет, как выступают «атмосферные аномалии», и времен года не различить. Город грязный, рушащийся, серый — однако разукрашенный красным. Красный цвет стал господствующим: даже от белой половины польского флага осталась лишь робкая полоска, и оба целующихся голубка на плакате — красные, только хвостик у одного белый. В день приезда секретаря не только рухнул мост через Вислу, но еще и Польша «была награждена почетным званием Первого Кандидата на вступление в состав СССР», а в Варшаву прибыла немецкая делегация на переговоры о покупке зеленогурского воеводства.

В гниющей стране не действует почта, не работают элементарные службы, грязно и серо. Но хуже всего люди. «Вот плывут туда и обратно какие-то жалкие морды. Злые, нечистые, заклейменные наследственным и неотвратимым уродством... Они отмечены какой-то алкогольной припухлостью, мерзкими редкими волосами... Их отмечают маленькие, вертикальные и подозрительные глазки, ... их отмечает отсутствие рта, замененного отверстием для произнесения докладов. Господи Иисусе, когда ж это случилось, когда злая ведьма наказала это общество, превратив его в стадо пещерных людей. Помню эти времена, помню этот страшный период оккультования. Было это под конец 60-х или в начале 70-х. Тогда входили в жизнь поколения, произведенные на свет секретарями, начальниками, милиционерами, цензорами, штатными доцентами, директорами тюрем и завистливыми художниками».

Люди, народ — подчиняются. Кому? «Но кто на самом деле правит миром? Я — раб, и раб — наш секретарь, и раб — этот правитель империи со слегка обиженным лицом калмыка. Нами и целым светом правит политбюро призраков, ячейка привидений, чрезвычайка грешной падали Сталина, Дзержинского, Жданова, Берии и прочих, скрытых в кладбищенском мраке».

Конвицкий не употребляет в тексте слова «коммунизм», но его описание порабощения и деградации общества — это именно синтез «стабилизированного» коммунизма, такого, каким описывает его Зиновьев, того, где идеология уже не вера — ибо никто в нее не верит, — но код принадлежности и послушания. Такой коммунизм опасней «воинствующего» коммунизма сталинских времен: он не мобилизует общества — при мобилизации можно быть за и против, — а деморализует: борьбой за повседневное выживание, коррупцией, атомизацией и чувством безнадежности.

Хорошо функционирует одна только, разумеется, политическая полиция. Одна вездесуща — даже поклонник рассказчика оказывается агентом — и всеведуща. Жестоко избив рассказчика, гебешник произносит своеобразную политическую проповедь под лозунгом «мы все по одну сторону баррикады»: «Ибо мы — оппозиционеры, хоть Вы — оппозиционер негативный, а я — позитивный. ... Вы представляете благородную пассивность, я — банальное действие. ... И тут мы встречаемся со специфической диалектикой нашей, так сказать, время-системы. ... Мы улизнули от поработителя. Мы его перехитрили. Мы свободны благодаря тому, что сами себе навязали несвободу». Блистательная диалектика. И в самом деле, все социальные механизмы подчиняются законам именно такой, доведенной марксистами до совершенства диалектики.

В обществе Конвицкого существует и оппозиция. Двое таких оппозиционеров, умученных многолетним сбором подписей, приходят на рассвете к рассказчику, чтобы убедить его совершиТЬ публичное самосожжение. Они не менее антипатичны, чем большинство фигур в книге. «Такие же аппаратчики, как государственные. Штатные, съеденные рутиной, пожизненные. Режим к ним привык, и они к режиму. Каков режим — такова оппозиция». «Вас создал этот режим. Вы испарения этой системы, ребро от плоти этой тирании. Вы из «Бесов» Достоевского, а не из рассказов Жеромского или Струга». Оппозиция весьма немногочисленна, и в рядах ее мы встречаем внуку (внебрачную) Ленина — последний объект эротических наслаждений рассказчика.

Цинизм и истерия оппозиционеров, изоляция оппозиции от общества — это предостережения автора. Может быть, не ко времени: как раз тогда, когда писалась книга, оппози-

ция в Польше впервые охватила тысячи людей и направила свои усилия именно против апатии и смирения общества. И книга Конвицкого вышла в оппозиционном издательстве — и быстро стала бестселлером на «параллельном» книготорговом рынке. Но если образ общества у Конвицкого — пророческий, то кто знает, как будет выглядеть оппозиция через десять-двадцать лет...

А образ этот, как мы уже сказали, полон безнадежности. Не случайно единственную русскую, единственную очерченную в романе женщину зовут Надеждой. Тягостно-иронический символ? Надежда — в любви? Надежда — в русской оппозиции?

Россия, конечно, широко присутствует на страницах книги. Россия как пожирающий Польшу медведь, как насильник: «Польшу изнасиловали. Она долго защищалась, кусалась, царапалась, пока наконец сдалась. И ощутила двусмысленное, странное, чуточку противное наслаждение в изнасиловании. Лежит на европейских распутях, и трахают ее хамы». Но — парадокс Конвицкого — к счастью, Россия — коммунистическая: «Океан деръма с востока залил нас от Буга до Эльбы. ... Это наше счастье, что русские ринулись на эту землю, обессиленные идиотской доктриной, растленные призрачной жизнью, истощенные кретинской экономической системой. ... Представьте себе Россию свободную, демократическую, с капиталистической экономикой. Такая Россия за несколько лет создаст гениальное искусство, перед которым мир падет на колени. Такая Россия действительно перегонит Америку в индустрии. А нас такая Россия всосет, как пылесос паучка».

Разнообразные страхи: более или менее реальные, неврозы, пессимистические предсказания — проходят по страницам «Малого Апокалипсиса». Их центральный носитель — рассказчик, писатель, «единственный праведник», производящий обзор всех фактов и мыслей в тот день, когда — но почему и для чего? — он исполнит поручение оппозиции и совершил публичное самосожжение у Дворца Культуры.

В какой степени рассказчик является автором? Наверно, в той, в какой это нужно критику для разматывания клубка. Критику хотелось бы подчеркнуть одно совпадение: Конвицкого, бывшего партийного писателя, и рассказчика, в котором выжили некоторые прошлые сентименты. Конвицкий, в

свое время член партии — допустим, веровавший в коммунистическую идеологию, — пишет кафкианско-орвелловский пасквиль на плоды, принесенные коммунизмом. Пасквиль гениальный. Может, даже не пасквиль, а вдумчивый анализ распада и болота. Может, не пасквиль, а близкую футурологию. И, как ничто другое, задевают некоторые обороты, свидетельствующие, что сентименты сильнее разума. Ибо из-под пера Конвицкого вырываются такие формулировки, как «разлагающийся сталинизм», — предполагает ли это, что был и более здоровый (в контексте более ранний) сталинизм? «'Интернационал', пишет Конвицкий, был когда-то в молодости прекрасен, а под старость звучит, как плач невольников», — но нет чего-то такого, как объективная красота песни, и не всех восторгал «Интернационал».

Увы, объяснения «ошибок молодости» у Конвицкого типичны для всего поколения: «Моя эпоха грехов — полтора десятка лет, отчаянно гонимых вперед разгулявшейся биологией. Какой-то экспериментатор привил нам инстинкты, позывы, рефлексы, а потом наблюдал, что из этого выйдет. Я был подопытным кроликом. Отвечает ли кролик за эксперимент?» В самом деле, что с этими кроликами? Это же и есть центральный вопрос «Малого Апокалипсиса». Стада кроликов. Стада гниющих кроликов. А кто отвечает за исход эксперимента?

Ирена Лясота-Заблудовска

ИСТОРИЯ О ПРЕДАННОМ И ПЕРЕДАННОМ СЛУГЕ

«За городом вырос пустынный квартал...»
A. Блок

Есть в Москве, на неуютном Хорошевском шоссе, пыльном летом и грязном осенью, в нескольких километрах от Серебряного Бора, где нежатся на госдачах заслуженные люди

Кирилл Хенкин. Охотник вверх ногами. «Посев», Франкфурт-на-Майне, 1980.

и ухоженные работники посольств, — есть там, на Хорошевском шоссе, один особенно унылый жилой массив под названием «Улица Зорге». Он состоит из тяжеловесных бетонно-блочных корпусов, обсаженных липами-недомерками. Липы отгораживают серые дома от длинного ряда плодово-овощных баз, откуда по временам несет-таки прелой картошкой и гнилой капустой — прямо в окна жильцов. А жильцы в этих домах люди особые. В основном, конгломерат населения улицы Зорге — шпионы. Дома шпионы-«нелегалы» не бывают годами, собирая по белу свету, словно трудолюбивые пчелы, в советский улей мед информации самого разного толка. Жены и дети годами ждут их в неуютных корпусах возле Хорошевского шоссе. Есть там, кроме того, шпионы разоблаченные, рассекреченные, использованные и смятые, словно стаканчики из-под мороженого. Номинально они преподают в разведшколах. Но в основном они горько пьянятся, переходя из квартиры в квартиру; пьянятся и вспоминают свои и чужие лихие операции во всех странах мира, где они когда-то творили чудеса. Еще там есть семьи тех, кто сгинул в небытие, словно его и не было.

Книга Кирилла Хенкина «Охотник вверх ногами» — не биография и не мемуары. Это книга-предупреждение. Это и рассказ о человеке, облаченном в сдвоенный панцирь двойного имени. О человеке, всю жизнь проработавшем на Советский Союз, служившем безупречно, не совершившем за много десятилетий ни единой ошибки. Речь идет об Абеле.

Если бы существовал где-нибудь музей разведки и контрразведки, вероятно, в его главном, парадном зале красовалась бы галерея портретов всемирно известных мастеров шпионажа. В такой галерее Абель оказался бы наверняка, и не на последнем месте. Ведь он — хрестоматийная, историческая фигура. Он почетный потомственный шпион, преданный всей душой советскому режиму. Реклама. Олицетворение Подвига Разведчика. Герой. Киногерой.

В послевоенные годы в сети американской контрразведки попалась крупная рыба.

Пустяковый просчет привел к разоблачению Абеля. Разведчик, не раскрытым Гестапо за все годы войны, «перевербованный» американцами, добывший бесчисленное количество бесценных сведений для Москвы, попался, как новичок! Но так ли это?

Кирилл Хенкин, автор воспоминаний об этом невероятном человеке, опубликовывает сенсационные сведения: в сети американцев попался вовсе не Абель! Там оказался другой: полковник Вилли Фишер. Об этой подмене никто на Западе не знал до самой смерти Фишера-Абеля. Значит, так ли уж «попался» Абель? Где доказательства, что это не вариант тончайшей игры советской разведки? Что, если «случай Абеля» — прекрасно продуманное инсценированное действие, пропагандистский маневр, рисующий в идеальном свете советского «героя невидимого фронта», ставшего видимым внезапно, словно охотник в ветвях дерева на загадочной картинке? Что, если слишком легко найти было его в ветвях?

Да, но Фишер-Абель получил 36 лет тюрьмы! 36 лет тюрьмы — ради пропагандистских целей! Игра в поддавки, где платишь больше, чем жизнью, — все для того, чтобы «расколоть» перебежчика?! ...«Я проверял «Шведа», — сообщает по секрету Фишер автору книги. Хенкин утверждает: советской разведке надо было выяснить, не выдаст ли Швед подлинную фамилию пойманного шпиона. Он не выдал. Ворон ворону глаз не выклонул, значит, порядочный ворон... Весьма дорогостоящая проверка; впрочем, фирма «Щит и Меч» не щадит затрат. Обмен же Абеля на Паузэrsa не мог быть предусмотрен.

Кирилл Хенкин показывает читателю этакого рыцаря без страха и упрека, и это дань памяти друга. Что ж, разведчик — не лягавый. У него есть кодекс чести, порядочности, он может быть «без лести предан» своей стране, профессии. И все же...

Те, кто деловой походкой в бодрое рабочее утро отправляются на службу в коричневое гранитное здание, стоящее напротив универмага «Детский мир» — все без исключения принадлежат к клану тех, для кого цель оправдывает средства. И этого забывать нельзя.

Есть разные люди среди палачей. Один чужой копейки не возьмет, другой в карты плутует, третий коллекционирует марки, а четвертый любит детей. Но они из одного цеха.

В Средние века палачу наливали вино особым способом: опрокидывали руку слева направо, «наизнанку». И нынче тому, кого подозревают — неважно в чем: в стукачестве, в принадлежности к разведке и контрразведке, — вино нали-

вают все тем же средневековым способом. Потому что это отверженные. Изгои.

Кирилл Хенкин написал портрет с благородными чертами. Его книга — вздох о прошедших временах, добрых старых временах кустарного индивидуального шпионажа, еще не переведенного на конвейер. Воины-одиночки (вспомните название романа «И один в поле воин»), аристократы, презирающие «альма-матер» свою — тайную полицию, КГБ, — они на сегодняшний день оказались лишними в системе. Когда их «распечатывают», они превращаются в экспонат — что-то вроде алебарды и пищали в музее оружия. Но это происходит со «звездами», такими, как Фишер-Абель.

А тем, что похуже, уготована свалка: блочные дома на улице Зорге, где они и ржавеют потихоньку.

Время одиночек прошло. Зачем они, когда родилось массовое искусство слежки? Где кончается тайная полиция и начинается внешняя политика Советского Союза? И для чего готовить за бешеные деньги специалистов с энциклопедическим образованием, идеальным владением иностранными языками, умеющих шифровать, микрофильмировать и т. д., — если из СССР разъехались по всему Земному Шару десятки тысяч людей, среди которых, хотя бы по теории больших чисел, не может не быть красных муравьев «пятой колонны»?

Своей книгой Кирилл Хенкин предупреждает: Внимание! Страшно ядовит и многолик Комитет Государственной Безопасности Советского Союза. Опасен и числом и уменьем. Сегодня, возможно, главное его оружие — число. Пусть даже не шестеро из десяти уехавших из России дали обещание «содействия»; пусть их трое, двое, один — все равно неприятно.

А что если тысячи выпускаемых людей — всего лишь прикрытие одного, двух, трех...

Надо надеяться, что книга эта, во многом спорная, однако написанная с искренней тревогой, окажется интересной для советского, бывшего советского, а также западного читателя. В особенности, для той части либеральной интеллигенции, которая старается не замечать очевидного. Для тех, кто ценит индивидуальный героизм и стойкость «шпиона века» и отворачивается от породившей его клоаки.

...Человек с лицом, пораженным волчанкой, глядя в зеркало вприщур, думает, что вообще-то выглядит неплохо.

Вот так и мир, пораженный коммунизмом, прищурился, стараясь не замечать, что границы красного пятна на его лице все расползаются, что порозовели вчера еще здоровые участки кожи.

Кирилл Хенкин убеждает знать цену своим врагам. И в этом, думается, главное и неоспоримое достоинство его книги.

Кира Сапгир

В ПРОТИВОРЕЧИЕ С ПРЕДИСЛОВИЕМ

«Благодаря Свирскому останется в памяти атмосфера послевоенного тридцатилетия», — пишет в предисловии к книге профессор Е. Эткинд. С этим определением книги можно согласиться почти безусловно. Да, все отношения внутри Союза Писателей, тайные пружины действий его руководителей, характеристики как писателей, так и карателей — все это написано очевидцем, страстным мемуаристом, все это — богатейший материал, дух эпохи, расстановка поваров околовературной кухни и раскладка по кухонным столам ее жертв... Все это так, если бы не одно — та же страстьность (а в данном случае пристрастность) заставляет автора обелить, к примеру, Юрия Германа — автора назидательных рассказов о Дзержинском для детей, возводить чуть ли не на пьедестал драматурга Александра Крона, рядить в герои Даниила Гранина, который среди писателей ходил отвеку в трусах редкостных... Трудно, разумеется, требовать от человека, чтоб он писал о своих друзьях и противниках «добру и злу внимая равнодушно». И порой полукаратели, записанные Свирским в «порядочные люди», — это лишь свидетельство авторской ностальгии.

Но недостаток книг не в этой пристрастности. Очевидец имеет на нее право, даже при том, что совершает множество ошибок. Другие ошибки непростительны в такой книге, которая является не только воспоминаниями и исследованием процесса подавления литературы и сопротивления ее. Это исследование у Свирского проведено, повторяю, со знанием материала и со знанием обстановки. Но беда в

Г. Свирский. «На лобном месте». Overseas, London, 1979.

том, что книга претендует на то, чтобы быть еще и литературоведческим трудом. По крайней мере, так характеризует ее в своем предисловии профессор Эткинд. И вот тут вспоминается малоудачный опыт Юрия Мальцева — столь же хаотично, невыстроенно написаны те места книги, которые следует именовать «литературоведческими». Ни исследования *процесса* литературы, ни тем более анализа произведений тут нет. Анализ подменен вполне школьническим пересказом сюжетов. Сюжетов — бесчисленное количество, словно автор решил просто пересказать, «адаптировать» тридцать лет литературы, вроде бы для того, чтоб ленивый читатель (НЕчитатель!) одним махом все впитал — вроде бульонного кубика, который не растворяя сгрыз, — и знал бы, «о чем рассказывается в том или ином художественном произведении». И еще одно, не позволяющее никак назвать книгу Свирского литературоведческой: факты путаются, цитаты перевираются — даже, к примеру, строчки из Грибоедова «Я князь-Григорию и вам Фельдфебеля в Вольтеры дам» у Свирского предстают в таком виде: «Уж я-то вам задам, Фельдфебеля в Вольтеры дам». Нет места тут приводить все искажения цитат, которыми изобилует книга, но один пример путаницы более серьезной (из многих примеров) необходимо привести. Автор говорит о том, что Стругацкие «переходят к фантастике социальной» начиная с повести «Эллинский секретарь». Есть даже сноска: «Эллинский секретарь», М., Молодая гвардия, 1961». А на самом деле ни такого издания, ни такой повести Стругацкие не ведали и не знали. На самом деле в Лениздате, а не в «Молодой Гвардии» вышел сборник «Эллинский секрет». В сборнике участвовало несколько авторов. Название сборнику дала маленькая повесть Ивана Ефремова, включенная в него, а Стругацкие опубликовали там *четные главы* «Улитки на склоне» — самого страшного из своих романов, *нечетные главы* коего появились почти в те же дни в журнале «Байкал». Из чего следует: 1) сборника «Эллинский секрет» Свирский и в руки не брал; 2) нечетные главы (линию Переца) из «Улитки на склоне» Свирский принимает за целый роман.

Это только один пример «литературоведения» в книге. А их тут можно набрать немало...

Что же касается авторских концепций, то стремление поставить на доску «национал-большевизм» с националь-

но-православной позицией людей, заплативших за нее годами лагерей, представляется просто недобросовестной, ибо разница видна и слепому. Такое смещение могло возникнуть лишь у автора, старающегося всеми правдами и неправдами доказать, что коммунизм — явление сугубо русское, вытекающее из национального характера, что Россия «всегда была такой» (далее подставляется все то, что в данный момент необходимо автору). Классический пример таких подтасовок в истории — труды Янова. Полезная концепция! Прежде всего полезная для «еврокоммунистов», утверждающих на ее основании, что у них «так не будет». (Опыт европейской Чехословакии и азиатского Вьетнама можно ведь и не заметить!) Тем самым эта концепция в конечном счете и помогает интернациональному (московскому) коммунизму захватывать страну за страной.

Что же касается сознательного смещения великодержавности и заботы о национальном выживании России — собственно России как таковой, то такое смещение представляется более чем неверным. И обвинение со стороны Свирского в адрес «Континента» выглядит подтасовкой, ибо приписывая редакции позицию великодержавности, он просто игнорирует (так удобнее для цельности концепции) неоднократные и четкие заявления о том, что каждый народ советской империи не только может, но и должен сам определять свое будущее. Почему-то, когда французский президент говорит о «самоопределении» палестинцев, то это понимается как право их на создание своего государства, а когда русские печатные органы и отдельные авторы говорят о праве на самоопределение всех народов советской империи, то это принято не замечать и упорно продолжать приписывать «единонеделимство» тем, кто выступает за право на самостоятельность всех народов (между прочим, в том числе и русский народ нуждается в этом самоопределении — ведь и Россия имеет право выйти из состава советской империи — почему это право замалчивается?).

И еще одно — в СССР существует некая разновидность литературоведения. Ее можно назвать бухгалтерской. Заключается она в том, что оценка произведения часто зависит от количества положительных и отрицательных членов партии в произведении. Сам же возмущаясь этой «сбалансированностью», Свирский, однако, тоже занимается таким бухгалтер-

ским литературоведением, вполне по-советски и бездумно повторяя столь же провинциально-советские приемы: он подсчитывает количество положительных и отрицательных евреев в том или ином произведении и отсюда делает вывод о степени анти- или филосемитизма того или иного автора. Странно только, что Свирский, серьезный и опытный писатель, заимствует этот «творческий метод» у некоторых непрофессиональных авторов Зарубежья. Такие пассажи вообще выглядят крайне несерьезно, и то, что позволительно дилетантам, впервые взявшим в руки перо уже в эмиграции, — не подобает писателю, чуть ли не полвека работающему в русской литературе.

Но главная беда книги, конечно, в том, что она и не мемуарная, и не литературоведческая именно в силу того, что хочет сразу быть и той и другой. Если мемуары — зачем пересказывать сюжеты романов? Если литературоведческая — то пересказа сюжетов недостаточно, и, кроме того, мемуарная часть, интереснейшие свидетельства очевидца и участника событий повисают в воздухе...

Василий Бетаки

ГУЛАГ ИЛИ УТОПИЯ

Существует большое количество истолкований советского общества. За любой книгой и статьей о Советском Союзе невидимо или видимо скрывается его теоретическая модель.

Итальянский ученый, профессор Неапольского университета Лючиано Пелликани впервые взял на себя труд систематизировать существующие точки зрения на советское общество. Он сделал это в форме небольшой брошюры, представляющей, по-видимому, курс его лекций. Пелликани выделяет 10 различных моделей советского общества:

1) *Реализованный социализм* — официальная точка зрения советской пропаганды и западных коммунистов, под-

Luciano Pellicani. GULAG O UTOPIA? Sugarco Edizioni, Milano, 1978.

держивающих СССР, на которой не стоит подробно останавливаться.

2) *Незрелая революция* — теория западной социал-демократии, ведущая свое начало еще от Каутского. Согласно этой теории, в России из-за неразвитости капитализма революция была преждевременна и не могла не привести к политической деспотии. Эта теория несет в себе зародыши иного отношения. Некоторые социал-демократы — современники большевистской революции: Отто Бауэр, Роза Люксембург и другие — не рассматривали эту революцию чисто отрицательно. Для них она была все же важным историческим событием на пути преобразования феодальной России. Поскольку, однако, в настоящее время СССР является мощным промышленным государством, возражения Каутского и других социал-демократов должны постепенно отпадать, что, собственно, и наблюдается в растущем признании современной социал-демократией коммунистического мира.

3) *Выродившееся рабочее государство* — это троцкистская модель, согласно которой, ввиду скорее случайных исторических причин, на месте якобы идеального рабочего государства воцарился бюрократически-тоталитарный молох. Хотя нынешняя советская система троцкистской моделью и отрицается, эта модель все же допускает ее обратимость в случае поражения бюрократии, ибо экономическая основа советского общества — общественная собственность на средства производства.

4) *Диктатура интеллигенции* — старая теория анархистов, ведущая свое начало от Бакунина и нашедшая свое наиболее полное выражение в трудах Махайского. Согласно Бакунину и Махайскому, марксизм — идеология интеллигенции, позволяющая ей установить свое господство над рабочими. Эта модель имеет, однако, ограниченную историческую применимость, ибо диктатура революционной интеллигенции в Советской России по существу завершилась к концу 20-х годов, а все ее остатки были ликвидированы во время чисток 30-х годов.

5) *Тоталитаризм* — модель, объединяющая в один класс такие системы, как советское общество и нацистская Германия. Ее авторами являются Ханна Арендт, Карл Фридрих и одно время Збигнев Бжезинский. Эта модель, позволяющая понять многие стороны советского общества, не может,

однако, являясь общим ее объяснением. Дело в том, что тоталитаризм был прежде всего идеальной целью государства в СССР, которая никогда в действительности не была достигнута из-за активного и пассивного сопротивления общества, сохранившего известный плюрализм даже в самые тяжелые годы.

6-7) *Бюрократический коллективизм; новый класс* — эти интерпретации советского общества рассматриваются Пелликани как различные модели, и вряд ли оправданно. Первая модель исходит еще от Макса Вебера, Людвига фон Мизеса и Фридриха фон Гайека, которые уже давно утверждали, что обобществленное в руках государства производство не может управляться демократически в принципе, перейдя в собственность класса бюрократов. Но ведь Милован Джилас, автор теории «нового класса», как раз и описывает процесс формирования этого класса бюрократов.

8) *Секулярная теократия* — эта модель утверждает, что советское общество в принципе построено как религиозная организация, даже как некая церковь, однако лишенная внешних религиозных черт. В русской литературе это было впервые высказано Бердяевым, но он далеко не единственный сторонник этой модели. Очень подробно развивал эту теорию Эрнест Фегелин. Сам Пелликани не чужд таким взглядам. И Фегелин, и Пелликани утверждают, что советская система и профессиональное революционное движение вообще имеют в своей основе глубоко спрятанный древний гностицизм. Досадно, что Пелликани не ссылается здесь на книгу Алена Бéзансона об интеллектуальных корнях ленинизма, где обосновывается та же точка зрения, но, правда, и Бéзансон не ссылается на Фегелина и Пелликани.

9) *Оборонительная модернизация* — модель из наиболее распространенных в советологии. Согласно этой модели, целью революции было лишь догнать в экономическом отношении западные страны, чтобы сравняться с ними. С этой точки зрения, террор, ГУЛаг и прочее были лишь неизбежными издержками модернизации, необходимыми для социальной мобилизации консервативного населения, которое в ином случае не стало бы участвовать в таком процессе.

Эта модель, по существу, является оправданием советской системы и, более того, считает все коммунистические и тоталитарные режимы в развивающихся странах направ-

ленными на модернизацию. Естественно, что в результате модернизации ожидается терпимая общественная система.

10) *Азиатская реставрация* — модель, согласно которой коммунистический строй представляет собой одно из проявлений общественной формации, знакомой еще с глубокой древности, а именно древних деспотий. Сам Карл Маркс выделял азиатский способ производства в отдельную общественную формацию, но наиболее полно развел эту теорию Карл Виттфогель. Пелликани обширно ссылается на книгу Шафаревича о социализме, где развивается сходный взгляд.

Книга Пелликани представляет собой первый опыт краткой систематизации теорий советского общества, и опыт очень полезный. Нельзя утверждать, что Пелликани рассмотрел все без исключения модели советского общества. За его пределами остались модели, трактующие советское общество с национальной точки зрения, например, модель Ричарда Пайпса, Николая Тимашева, Фредерика Баргхорна и др. Другим недостатком книги является то, что Пелликани, не зная, видимо, русского языка, пользовался лишь тем, что издано в переводах на европейские языки. Это, естественно, сузило его кругозор. В целом же его книгу можно лишь приветствовать.

Михаил Агурский

ОЧЕРК ЗДРАВОГО СМЫСЛА

Известный советский физик, издавший под псевдонимом В. Львов свое эссе, назвал его «И вы будете как боги, по-пновые добро и зло». Подзаголовок: «очерк здравого смысла». Ценность этой работы — прежде всего в том, что она объединяет в себе религиозную, научную и гуманитарно-этическую точку зрения на современный мир, на вопросы о будущем человечества, о происхождении жизни на земле, о сущности и роли информации, энергии и материи в процессе восхождения этого явления, именуемого «жизнь», к высотам Духа. Позиция автора близка к тому, что в русской религиозной философии называется религией Св. Духа.

Религия и наука не противоречат друг другу. И лишь близорукое головокружение от призрачных успехов рационализма XVIII века и ложного ощущения всемогущества людей века XIX могли привести к распространению атеизма и самонадеянности людей, которые создали фетиш «сциентизма» — наукопоклонства, преувеличившего возможности даже тех наук, которые и сами-то по себе оказались мыльным пузырем.

Между тем, такие науки, как современная физика, теория информации, эволюционная биология и другие в конечных своих выводах не только не опровергают истин Ветхого и Нового Заветов, но, по мысли автора, блестяще подтверждают их, делая лишь теперь, в наши дни, возможным начало действительного понимания Св. Евангелия и всего учения христианства. «...Попытка обойти Его формулы равносильна строительству на песке... И лишь теперь мы можем понять, что для выполнения Его формулы необходимы направляемые нашим фундаментальным стремлением Познание и Подготовка в виде многократного подъема духовности для создания соответствующей устойчивой системы отношений и воспитания самих людей в этой системе. Лишь после этого и в результате этого возможно укоренение Доброй жизни. Поэтому если для наших праотцев Его учение могло быть лишь предметом веры-мечты, то именно для нас оно стало предметом обретения прагматической истины. Мы — Его наследники и обязаны понять Его полностью. Иисус Христос не архаичен, но сверхсовременен».

С позиций христианского учения, пользуясь инструментом современной науки, автор блестяще доказывает не только несостоятельность, но и заведомую лживость материализма, прежде всего в его марксистских формах. Марксизм — не ошибка, а намеренное введение человечества в заблуждение; касается ли это так называемого «диалектического» материализма, с его претензиями быть методом всех наук, или материализма «исторического», с его подгонкой исторического процесса под заранее заданные формально-логические схемы при умалчивании или искажении тех фактов, которые в рамках этих схем не укладываются. Оценка марксизмом разумной деятельности как комбинаторики, комбинирования наличных сведений, автором отрицается: это — «порочный круг», не оставляющий места Творчеству. «Ра-

зум и Творчество суть не комбинаторика, а создание новой информации в результате проявления активных нематериальных реальностей мира».

Живое существо есть специально организованный материальный носитель активности, информации, наконец, ее высшего вида — духовности. К Е М организованный? — спрашивает автор. И не оставляет камня на камне от опаринской теории происхождения жизни: по Опарину, жизнь является продуктом случайно подобрался неживого. Но что есть случайность, как не еще не познанная необходимость? А раз так — то кем сотворена эта программа? Какова простая вероятность такой случайности? Высчитать ее может в наши дни любой старшеклассник: вероятность одного только возникновения простейшего живого белка примерно равна 10^{-270} степени. А если учесть, что во всей видимой вселенной имеется лишь 10^{90} степени атомов, то появление даже начальных элементов жизни — многократная невероятность!

«Где те сонмы идиотов, которые миллиарды раз тычут ложками с оставляющим супом в разные места своего тела, пока случайно не попадут в рот?.. Мы не наблюдаем их даже среди самых ярых материалистов». Это — о вероятностных последующих шагах живых существ после их появления; это — о закреплении случайностей в результате случайных «попаданий» естественного отбора... С точки зрения точных наук, как и с точки зрения философской, это — чепуха для грудных младенцев... Именно такой чепухой, не стоящей не то что серьезного, а и вообще никакого слова, предстает нам диалектический материализм, рассмотренный с точки зрения современной науки, которая, каждый день открывая нам глубинный смысл евангельских истин, расправляется с материализмом, как с недоучкой, как с этапом в познании, который отбрасывается, будучи исчерпан.

Что же касается марксизма, то его основную ложь (не ошибку, а именно ложь!) автор видит в том, что «миру намеренно приписываются свойства, которыми он не обладает». Марксизм «смешивает свойства понятий со свойствами реальных предметов, которые отражены этими понятиями. И законы гегелевской логики, не ложные в сфере понятий, переносит на реальные предметы. В результате получается нечто подобное тому, как если бы на базаре торговали не овощами, а экономическими терминами или цифрами...»

Свой взгляд на единство многогранных явлений, описываемых наукой, философией и религией, В. Львов называет «системным спироцентризмом». Это — объективно-идеалистическое учение, единство которого и гармоничность не оставляют сомнения в том, что в плане философском оно — еще один шаг на пути к Истине. В начале действительно было СЛОВО (в некоторых переводах — МЫСЛЬ!) «и Слово было у Бога и Слово было Бог». Приходя в своем труде к выводам социальным и политическим, автор анализирует некоторые утопии, показывая их безусловный вред, и среди них — Марксову утопию. Что касается определения Марксом капитализма как собственности на средства производства, то перестает ли быть капиталистом человек, который приглашает, к примеру, строителей с их собственным инструментом? А зарплату платит, допустим, после постройки дома? Дело не в средствах, а в том, что капиталист распоряжается результатами деятельности, будучи лидером производства. Социализм же и с философской, и с логической, и с практически-бытовой точки зрения есть прежде всего отчуждение результата труда не в пользу организатора-капиталиста, а в пользу системы, использующей их для поддержания хозяйственно-бесплодной организации, которая никому, по сути, не приносит выгоды. Социализм, ликвидирующий полностью личное владение чем бы то ни было, нестоек, как показал пример Камбоджи. Противоположный ему («с человеческим лицом») нестоек опять же в силу его неполноты и независимости (хотя бы частичной) людей от государства. Он или становится жестким социализмом советского типа, или переходит в то, что автор определяет как наименьшее из социальных зол и наиболее естественное состояние человечества на данном этапе — в капитализм (его современную форму). Свойство социализма советского, наиболее устойчивого, «коллективно-бюрократического», — прежде всего, гасить духовность путем нивелировки, вытравления всего индивидуального, то есть плохоуправляемого — творческого. Тупиковость самой формации показана автором на материале экономическом, историческом и социологическом. В конце работы В. Львов приходит к выводу, что наши дни — вообще кризис всей цивилизации, и если человечество хочет выжить, то путь совершенствования через столкновения должен быть заменен иным путем, ибо в силу роста духов-

ности и интеллектуальности столкновения становятся угрозой существованию мира.

Обращение автора опять-таки к христианской философии в поисках выхода из кризиса и путей для новой метацивилизации вполне естественно вытекает из всех его положений; но когда он пытается предложить конкретную программу социальной перестройки мира, то она оказывается во многом наивно-утопичной. Добровольное приведение стран, «образующих ныне полярные лагери, к единой формации» путем, прежде всего, «добровольной ликвидации социализма в СССР руками правящей группы» не выглядит убедительным, а настойчивое утверждение о стирании в будущем национальных различий вплоть до языка кажется даже опасным, ибо взамен социалистической нивелировки нам предлагается единство всемирной нации и всемирной религии. И хотя речь идет о христианской религии, но не нам, людям XX века, повторять ошибки тех, кто нес христианство огнем и мечом, искажая тем самым суть и зерно учения. Оно победит само, ибо оно — Истина, о чем в той же книге говорит В. Львов. Так уж всегда — в отрицании и анализе автор бывает намного сильнее, чем в положительной программе.

B. Волков

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КГБ О «КОЗНЯХ ЦРУ»

В московском журнале «Коммунист» опубликована статья первого заместителя председателя Комитета государственной безопасности при Совете министров СССР Семена Цвигуна. Он обвиняет ЦРУ в вербовке агентов среди «так называемых диссидентов».

Против Советского Союза активно действуют более 400 подрывных центров и организаций, уверждает Цвигун, указывая, что в вербовке агентов упор делается на «политически неустойчивых или аморальных людей, падких на легкую наживу».

«В список идеологических диверсантов» иностранные разведывательные службы включили таких людей, как Солженицын, Максимов, Плющ, Амальрик, Буковский, а также «ренегат Сахаров».

«Наша страна», 14. III. 80

А. И. НЕЙМАНИС

Скончался Адальберт Иванович Нейманис — ветеран русской книжной торговли за рубежом.

Он родился 1 августа 1897 года в Риге в скромной латышской среде. Детство и юность прошли в родном городе. Здесь же началось его увлечение спортом. В первые годы мировой войны он стал всероссийским чемпионом в беге на 400 и 800 метров. Поступил в армию вольноопределяющимся. Со временем был произведен в офицеры. Революционные события застали Адальbertа Ивановича на Урале. Здесь он был арестован красными и находился в заключении, откуда бежал. В 1918 году возвращается в Ригу, поступает в Латвийскую армию, в рядах которой сражается за независимость своей страны.

В свободной Латвии становится успешным предпринимателем. Занимается распространением всей местной и иностранной периодической печати.

Советская оккупация Латвии и развернувшиеся вслед за ней военные события прерывают его деятельность. Начинаются годы беженства, закончившиеся лишь в 1949 году, с переселением в Америку.

Путь на чужбине — начинать надо было с нуля. Выйдя на пенсию, Адальберт Иванович в 1961 году едет в Европу, где возвращается к старому ремеслу — распространению печатного слова. В конце 1962 года создает фирму «А. Нейманис — Бухфертриб». В 1972 году передает главное руководство сыну, но, несмотря на это, активно участвует в деле до тех пор, пока смертельная болезнь не лишает его последних сил.

Адальберт Иванович был латышом, но искренне любил ту Россию, которую помнил с молодых дней. Любил и уважал русский народ и русскую культуру.

Мир праху егò!

«Континент»

РУССКАЯ ДУХОВНАЯ МИССИЯ РЕАГИРУЕТ НА НАРУШЕНИЕ ПРАВА НА СВОБОДУ СОВЕСТИ В СССР

Сегодня во всех храмах Русской Духовной Миссии в Иерусалиме молились за преследуемых и арестованных церковных деятелей в Советском Союзе и за всех тех, кто подвергается гонениям за свои убеждения. Ущемление права на свободу совести нашло свое отражение в аресте священника о. Глеба Якунина, о. Димитрия Дудко и других борцов за достоинство человеческой личности и за свободу духа.

О. Димитрий Дудко был арестован 15 января и находится в особо строгом заключении в тюрьме Лефортово. Он приобрел широкую известность как автор ряда книг, которые были изданы за границей, но читались и перечитывались в Советском Союзе, несмотря на запрет и возможные последствия для читателей. Не только пожилые стекались на его проповеди и беседы. Толпы молодежи следовали за о. Димитрием, забрасывая его вопросами и жадно слушая живое слово.

Расправы ждать долго не пришлось. Отца Димитрия выслали из Москвы в отдаленное село. Но и там свободная речь не заглохла. Преодолевая трудности дальнего пути, продолжали люди ездить к о. Димитрию. Незадолго до своего ареста о. Димитрию удалось переслать письмо на Запад, в котором он пишет: «грустные новости... по всей Москве идет перемещение церковных настоятелей. Назначают таких, от которых все шарахаются. Становится ясно, почему упрятали отца Глеба Якунина... Это борьба против гласности».

У о. Димитрия был трудный жизненный путь. Дважды он сидел в лагере и был реабилитирован лишь в 1956 г. У него жена и двое детей. Уже после ареста о. Димитрия, проводились особенно злостные обыски в его доме: агенты КГБ взламывали половицы, разрезали мебель и вели себя вызывающе грубо.

Арестованный 1-го ноября 1979 г. священник о. Глеб Якунин, один из основателей Комитета по Защите Прав Верующих, который ставит себе целью защиту прав верующих всех религий и свободу совести, автор открытого письма Московскому Патриарху, в котором он рисует трагическую картину духовной жизни в СССР. Письмо о. Глеба стало первым документом самиздата, который правдиво описывает проникновение КГБ в религиозную жизнь граждан. За протест против беззакония по отношению к Церкви, он был отстранен от служения. Пока обвинений официально не предъявлено, но жене было сообщено милицией, что о. Глеб задержан по «подозрению в уголовном деле против государства». «Уголовные действия» о. Глеба заключались в его смелых выступлениях против церковной иерархии, которую он обличал в малодушном подчинении гражданским властям.

Как и у о. Димитрия, работники КГБ провели унизительный повторный обыск в квартире о. Глеба, не пожалев старшую дочь, школьницу, которая была подвержена личному обыску с раздеванием. Работники КГБ изъяли много личных вещей о. Глеба. Остались трое малолетних детей и жена.

Архиерейский Синод Русской Православной Церкви Заграницей, в Нью-Йорке, призвал все приходы русского рассеяния, епархий Зарубежной Русской Церкви, провести особые моления.

21. 1. 80

МОЛИТВА НА ЛИТУРГИИ О СПАСЕНИИ РОССИИ

Милосердый Господи Боже сил! Из глубины душевныя в скорби и печали нашей смиренно вопием: приими от нас недостойных раб Твоих с покаянием и умилением приносимое моление сие и прости нам вся согрешения вольная и невольная. Церковь Твою святую всесильною Твою крепостию от всякаго злого обстояния милостиво избави. Отечество наше от лютых безбожник и власти их свободи. Силою креста Твоего победи, смири дерзость ненавидящих и хулящих имя Твое святое, оскверняющих и разрушающих святыню храмов Твоих, и люте гонящих верных чад Святыя Церкви Твоей. Всем страждущим и изнемогающим за исповедание веры за имя Твое, посли Ангелов Твоих святых, да укрепляются верные люди Твоя в несении благого ига Твоего Ангельским покровом и представительством Святых Твоих. Много-милиостиве Господи! Болезненным сердцем, со слезами молимся Тебе, — призри на вопль, стенание и умиленные молитвы всех верных людей, от нападения рабов Твоих, Господи, страждущих, святыни храмов Твоих и благодати святых таинств Твоих лишенных. Умилостивися, Господи, над младенцы, светом святаго крещения неозаренные и печатию дара Духа Святаго незапечатленныя. Пощади, Господи, отроки, юноши и девы соблазняемые ненавистниками Имене Твоего на всякое неверие, нечестие, богохульство, распутное житие, зависть и злобу ко ближнему своему. Умилосердися, Господи, — на старцы и болящия, огради, Господи, — монашествующих лиц, из святых Обителей изгнанных и поношения терпящих. Наипаче же утверди, Господи, крепостию Духа Твоего Святого, Архиереи и священники Твоя, дабы небоязненно, даже до смерти, во единении стояли на страже стада Твоего. Всех же, Тебе ради прививших мученическую кончину, сподоби со Святыми Твоими в вечной славе Твоей царствовати. На кресте молившийся за распинателей Твоих, и приемный в последний час разбойниче покаяние, не погуби, о, Господи, отступников, хулителей и гонителей святыя веры, но, аще возможно сие, даруй и им радость познати Тя, Божественную любовь и Премудрость, и дни своя в истинном покаянии скончати.

Ты бо еси заступление наше, Помощь и Победа, победившая мир; Свет паче всякаго света, Радость паче всякия радости, упование паче всякаго упования. Жизнь, истинная и спасение вечное, и Тебе в Троице поклоняемому Богу, славу вси возсылаем, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Коротко о книгах

СЕРГЕЙ МЮГЕ

ПЕРВАЯ НЕНАУЧНАЯ КНИГА

США, 1980 г.

«Первая ненаучная книга» Сергея Мюге производит прежде всего впечатление абсолютной искренности. Когда книга пишется вот так — распахнуто и рассвобожденно, — то уже неважной становится степень профессионализма: важно прежде всего свидетельство. Но кроме того, что эта, по сути автобиографическая книжка — свидетельство «о времени и о себе», она интересна тем, что в ней личность автора предстает настолько живо, настолько непосредственно, настолько стереоскопическим выглядит этот веселый автопортрет, что читателя она захватывает. И не теми общеизвестными событиями, которые отразились в ней, а как раз «крупными планами», тем, как эти события переживались автором — героем книги. Это — в самом лучшем смысле книжка о себе. И потому она дает время в таких деталях, в таких поворотах, какие никогда не были бы возможны в мемуарах, стремящихся рассказывать о событиях эпохальных. Детали исчезли бы, и вместе с ними колоритная личность героя — чем-то напоминающего Ходжу Насреддина, переселенного в наши дни. Именно потому, что автор ни на минуту не боится показаться смешным, смешными оказываются события, учреждения, люди... Вся советская действительность со всеми ее атрибутами. Увиденная глазами человека, выросшего внутри нее, но как-то спасшегося от того, чтобы «принюхаться», эта «действительность» станет смешным и страшным анекдотом.

Так бы и выглядела книга — большим анекдотом из серии «черного юмора», если бы не светлая и какая-то невероятно живая и добрая личность героя этих автобиографических записок. Одна из разгадок этой сохранности личности состоит, видимо, в том, что Мюге всегда умел сохранить «ту степень свободы», которую он определяет как

«свободу не включаться в чужие игры». Ему кажется, что эту степень свободы он обрел только в Америке. Но вся книга от начала до конца свидетельствует о том, что эта свобода родилась вместе с ним. Вместе с ним, как обнаруженные им в себе уже во взрослом возрасте способности к угадыванию мыслей, к некоторым моментам телепатии.

И еще одно достоинство книги: о своей научной работе Мюге рассказывает так, что сам по себе этот рассказ превращается в увлекательнейшее, хотя и не всегда веселое, повествование. А ведь речь идет о такой области, в которой непосвященному вроде бы уж совсем не найти чего-нибудь интересного, ибо Сергей Мюге — гельминтолог. Даже о своих открытиях рассказывает он так, словно ничего особенного не произошло: так, обычная рутина... И вместе с тем читатель может вполне оценить значение этих открытий, ибо автор — что весьма редко среди крупных специалистов — умеет рассказать о научных приключениях в столь же популярной и занимательной форме, как и о приключениях «диссидентского периода» своей жизни.

Как справедливо пишет в предисловии к книге Наум Коржавин, «в этом ощущении страшного как смешного, в этом открытии смешной природы страшного... и заключается секрет обаяния этой книги». И видно из нее прежде всего, что не только все, что и как написано, но и поведение автора-героя на протяжении всей сознательной жизни обусловлено не столько событиями окружающей жизни, сколько личным характером, который и предстает нам с этих страниц.

СЕРГЕЙ ДОВЛАТОВ
НЕВИДИМАЯ КНИГА

Ардис, Анн Арбор, 1979

«Это будут приключения моих рукописей, портреты знакомых... Документы», — пишет автор в предисловии к своей «Невидимой книге». Мемуары ли это? Ни в коей мере, хотя все внешние признаки мемуаров налицо. Сатирическая повесть? Но все действующие (и бездействующие) лица не только что реальны, они продолжают действовать (и бездействовать) во вполне конкретной обстановке ленинградских и таллинских редакций, отделений Союза писателей и других — менее известных, или менее громко называемых — учреждений и организаций. Но это сочетание эссе, сатиры, дневника, исповеди, полемики и еще много чего все же относится к жанру исповедальной прозы. В сущности, в этой книге два действующих — не то чтобы лица, а скорее явления. Молодой автор, который так и остается молодым (на писательском жаргоне, разумеется, на коем молодой просто означает непубликуемый или публикуемый мало), и некий калейдоскоп всяких литературно-бюрократических учреждений и организаций, в сумме и являющийся причиной перманентной «молодости» автора.

Включения документов, как официальных, учрежденческих, так и неофициальных (проще — отдельных выдергиваем из записных книжек, называемых автором «Соло на ундервуде»), дают характеристики множеству людей. Характеристики эти — по сути все — получаются ироническими, даже когда дело касается друзей автора и самого его, писателя Сергея Довлатова собственной персоной. «За что же моя рядовая, честная, единственная склонность подавляется всеми лицами, органами, институтами величайшего в мире государства, — пишет Довлатов. — Я хочу в этом разобраться». И разбирается, привлекая на помощь множество документов и людей, но вот странность — если не все люди, то во всяком случае все документы откровенно смешны.

Но ведь раз это документы, то не сочинил же их автор! Следовательно, смешны сами составители этих документов,

а поскольку они, хотя их имена и не названы в книге, лица официальные, то есть представляют государство, то, выходит, само государство смешно? Выходит.

«Все это было бы смешно...», если бы закон этой жизни не был сформулирован одним из самых порядочных людей, описанных в книге с той же достоверностью и документальностью, как и все прочие. «Литератор должен печататься», — говорит автору писатель Даниил Гранин. — Разумеется, не в ущерб своему таланту. Есть такая щель между совестью и подлостью. В эту щель необходимо проникнуть». Гранин, как известно, большой мастер подобных «проникновений», не зря он столь проникновенно делится с Довлатовым своим опытом советского писателя. Но опыт самого Довлатова от этого не становится более результативным. И вот о том, как и почему, пользуясь выражением Солженицына, теленок вынужден продолжать тыкать своими рожками в дуб, и написана эта книга.

С первого взгляда читателю, не знающему людей, фигурирующих в книге, может показаться, что это гротеск. Что это — карикатура. Трудно себе представить, чтобы столько нелепых и смешных людей, событий, документов могло естественно сосредоточиться на сравнительно небольшом пространстве ленинградских и таллинских литературных и газетных редакций, отделений СП и... по сути дела и все. Но само по себе гротескное состояние неминуемо вытекает из этой истории, из этой частной исповеди, суть которой внешне заключается будто бы лишь в том, что автор пытается понять, почему его не публикуют, нередко поступая по принципу «нравится — возвращаем».

Итак, «Невидимая книга» Сергея Довлатова находится как бы на стыке двух основных направлений современной прозы — гротеска и исповеди.

НИКОЛАЙ МОРШЕН

ЭХО И ЗЕРКАЛО

Беркли, США, 1979

В отличие от тех, кто, выпуская книгу за книгой, не дает критикам возможности уследить за процессом своего творчества, Николай Моршен пишет очень мало. Всего третья книга стихов его вышла недавно в Калифорнии. Если по двум предыдущим книгам можно было отметить тяготение Моршена к философской лирике, то эта книга на первый взгляд выглядит озорством, почти шуткой, — настолько вся она пронизана каламбурами, игрой слов, изящными вывертами формы...

Но вчитавшись понимаешь, что все эти игрушки — лишь внешнее выражение той же философской сущности авторского взгляда на мир. Каламбуры — вид философической иронии, некая форма поэтического скепсиса и полемического характера поэта. Само название — «Эхо и зеркало» — полемично: и то и другое связывается для нас с понятием вторичности, трансформации, отображения чего-то уже бывшего, известного. Чаще всего понятие вторичности — синоним второсортности в искусстве. Моршен же всей своей книгой доказывает, что вторичность — изначальное свойство искусства вообще, ибо, по его мысли, первично лишь само Бытие.

Мне ближе всех из птичек здешних
Жонглер подхваченных идей —
Многоголосый пересмешник,
Тысячесвистный лицедей.

Эти строки открывают книгу — и далее все стихи ее с той или иной стороны развивают все ту же мысль. Порой она предстает в виде некого концентрированного образа, который в двух-трех строчках сводя воедино «сигналы», вызывающие в нашей памяти серию развернутых картин, заставляет нашу читательскую мысль как бы пролистать целую библиотеку и обернуть все вспомненное на себя и бегущее мгновение:

Из девицы-красавицы,
Душеньки-девушки, певшей в церковном хоре,
Получается вскоре
Прекрасная пиковая дама с собачкой,
Приятная во всех отношениях.

Реминисценции? Пушкин, Богданович, Блок, Пушкин, Чехов, Гоголь... Все это, загнанное в четыре строчки, производит и странный комический эффект, и вместе с тем у каждого вызывает свои ассоциации, которые в сумме в сто раз богаче, чем то, что высказано в словах. Так читателя заставляют стать соавтором. Так стихи Моршена тормошат нас, не давая нам быть просто читателями, не позволяя оставаться в стороне, заставляя войти внутрь строки...

Так нет ли соблазна счастья Моршена поэтом насквозь рационалистическим?

В том-то и дело, что все эти, казалось бы, вполне рациональные построения (да еще порой содержащие в себе ассоциации с образами, взятыми из современных точных наук) ведут читателя по дорожке сугубо эмоционального восприятия. Это — цельность поэтической личности:

А затем, как вдохновенье
(Мельк... Ищи свищи его!) —
Озаренье, точка зренья,
Колдовство и мастерство.

Рацио и интуицию — неразделимы. В этом суть моршновской поэтики. Это же — пусть без озорства и иронии — наблюдалось и в его «серьезных» стихах. Впрочем, несколько из них (в какой-то мере по стилю вроде бы принадлежащих к книге «Двоеточие») есть и здесь. Прежде всего это одно из лучших произведений поэта — стихотворение «Волчья верность». Волка — не приручить. Не купить. Он «уходил от любой дрессировки/ как велел генетический долг».

Ковыляя, с холодеющей кровью,
С волчьим паспортом, волчьей тропой
Из неволи в такое безмолвье,
Где хоть волком в отчаяньи вой.

Что это? Судьбы эмигрантских поэтов? Не только. Это то, о чем другими словами говорят: «верность себе». Не только себе — всему на свете, что этой верности требует...» «Эпохе глухой вопреки» остаться собой до конца.

Это уже шире. Это не только о поэте. Это о человеке наших дней, который останется человеком, только храня эту невыставляемую напоказ, но и неуничтожимую волчью верность:

Иль за обледенелою кочкой
Затеряться в российских снегах,
Околев с недоглоданной строчкой
Словно с костью в цинготных зубах.

Судьбы тех, кто не принял мира лицемерия и горя, — равновелики. В эмиграции или в России, но — неучастие в том, что поперек совести.

И еще одно свойство поэтической личности Моршена — поэта, выросшего в России, но поэтом, русским поэтом, ставшего уже в Америке: во всем его творчестве слиты образы двух великих стран. Это слияние — может быть, у него единственного из русских поэтов за рубежом — совершенно органическое. (В последнее время такая органика начинает проявляться в новых стихах И. Бродского). В поэме «Семь часов без сна» Моршен пишет:

Заря напоминала без слов
Нелепо пролитую кровь
Линкольна? Или Александра?

Образы России и Америки сливаются в один поэтический поток и в исторических аллюзиях, и в пейзаже, и в самом звучании стиха...

Эта, как и предыдущие книги Моршена, книжка стихов, в которой «Американская трава / растет сквозь русские слова».

МИХАИЛ АНДРЕЕНКО

ПЕРЕКРЕСТОК

Париж, 1979

Михаил Федорович Андреенко принадлежит к той плеяде русских художников, творчеством которых определилось начало нашего столетия, — период, известный под названием Серебряного века. На сегодняшний день Андреенко — один из последних ныне живущих его представителей: он родился в 1894 году.

Он начал писать, уже будучи сравнительно пожилым человеком. Из-под пера его выходило нечто среднее между дневниковыми записями, прозой и воспоминаниями. В книге «Перекресток», получившей название по самой крупной из вещей Андреенко, жанр их определен как жанр рассказа, но это, в сущности, и не рассказы в чистом виде, и не воспоминания, это скорее эссе, размышления — без каких-либо претензий на лукавое мудрствование. Это произведения не писателя, а человека, внезапно ощущившего необходимость доверить бумаге не сколько-нибудь важные события из своей жизни, а как раз то, что обыкновенно кажется незначительным, мимо чего каждый много раз проходит, что легче всего уплывает в забвение. Андреенко же ищет и находит в случайных встречах, странных совпадениях, незаметных происшествиях некий глубокий и тайный смысл, знак невидимого, подводного течения бытия, похожего на течение самого времени, если бы можно было уловить его звук, его шорох, если бы минуты и секунды касались друг друга, локтями бы сталкивались, сменяясь. В новеллах его не узнается писательской задачи, как не узнается непременной для прозы архитектоники; там есть взгляд человека (одинокого человека, что важно, что определяет все), неизвестно почему останавливающийся на дереве, доме, улице, причем останавливающийся надолго, припоминая историю этого дерева, или этого дома, или этой улицы — совершенно так же, как мы смотрим на лицо близкого человека, внезапно отдавая себе отчет в том, что знаем его целую жизнь, и обрывки прошлого — и его прошлого, молодого лица всплывают в памяти. Бесполезно искать тут логику и причину — почему

этот сюжет, а не тот; почему эта улица, это дерево, эта заметка в газете, этот человек — в конце концов, за огромную свою жизнь Андреенко повстречал сотни людей — но в памяти зацепилось несколько лиц, по большей части случайных: завсегдатаи монпарнасских кафе, ненадолго встреченные и годами потом исчезавшие знакомые. Или, скажем, целая колония мышей, которые поселились в мастерской у художника, за которыми он долго наблюдал (а со одной даже и подружился крепко); в истории с мышами автор больше всего нас поражает отсутствием антропоцентризма, неожиданным уважением, с которым он за ними наблюдает и о них говорит, с которым он открывает для себя и для читателя сложные отношения между своими длиннохвостыми соседями. С такой интонацией может писать о животных только человек, замкнутый в своем мире почти как заключенный в тюремной камере, и с только заключенным доступной степенью откровенности, когда писание становится не литературой, а поисками адекватного ощущению и существованию, буквальным отражением жизни в литературной форме.

Читая книгу Михаила Андреенко, невозможно оставаться от зависти к той полноте творческого прожития, которую он сумел сохранить и пронести через все тяготы эмигрантской жизни. Он попросту не умел жить иначе. Не умел иначе воспринимать окружающий мир и все, что в нем располагалось, — все было для него предлогом и стимулом творчества. Это в нем — знак Серебряного века и одновременно — вечная, вне эпох и периодов, одержимость художника в наиболее полном ее проявлении.

По страницам журналов

...А ВОЗ И НЫНЕ ТАМ?..

(*О журналах «Третья Волна» и «А — Я»*)

Есть такая легенда:

Шли однажды св. Николай и св. Кассиан по дороге и спорили о чем-то важном. Неожиданно увидали они на дороге воз. Лошаденка увязла в грязи, возле нее мужичонка хлопочет, все никак не может стронуть воз с места. «Поможем?» — говорит св. Николай. «Нельзя нам пачкаться в грязи, — отвечает св. Кассиан. — Ни к чему нам отвлекаться от высоких разговоров». Однако св. Николай, поплевав на руки, взялся все же помогать мужичонке...

...На сегодняшний день уже два журнала занимаются проблемами современного русского искусства. Один журнал — ветеран. Другой — новорожденный, неожиданно вышедший в канун закрытия выставки «Париж — Москва». Нет двух изданий, столь непохожих друг на друга, как «Третья Волна» А. Глезера и «А — Я» И. Шелковского. Они совсем разные, невзирая на очень существенную точку соприкосновения: оба журнала говорят о нонконформистском искусстве, в стороне от советского официального русла. Однако нонконформизм нонконформизму рознь. И это особенно четко проявилось по выходе в свет второго журнала, т. к. сейчас вокруг каждого из них — совершенно определенная группировка художников. Речь здесь идет именно о группировках, а не о группах, потому что группа подразумевает единую творческую программу, а группировка формируется из тех, кто одинаково чувствует.

Вот первый номер «А — Я». Новенький, элегантный, словно английский костюм, с грамотным макетом, сделанным полиграфистом-профессионалом. Он лишен той доморощенности, за которую так часто упрекают русские издания. «Одетый» в супрематистскую обложку, журнал имеет подзаголовок «Современное русское искусство». Одним из неоспоримых достоинств «А — Я» является параллельный

перевод статей на английский язык. Это, так сказать, попытка прорубить окно в Европу и рассказать на понятном ей языке о русских художниках-«новаторах». Тут сразу бросается в глаза: логичнее было бы перевести название «А — Я» как «A — Z», а не транскрибировать, что дало «A — JA».

На обложке журнала репродукция картины Э. Булатова «ОПАСНО». Алые буквы стремительно наплывают на зрителя из мирного зелено-голубого пейзажа. Что опасно? Искусство? Какое искусство?

Где-то в конце XIX века человечество словно бы окатило волной озона новых идей. Этот электрический разряд зажег лампочки Эдисона. Он же заставил сплохами замерять полотна импрессионистов. Появилась новая точка отсчета.

Волна новых идей достигла максимальной высоты и запенилась на гребне гениями в первые годы XX века в России. Все они: и супрематисты, и футуристы, и конструктивисты, и даже такие мирикурисники, как Врубель, — требовали единодушно уничтожить старое искусство. Такова «корь», которой переболел наш век в своей творческой юности.

А что сейчас происходит? Как чувствуют себя наследники (или считающие себя таковыми) Татлина и Малевича — русские советские концептуалисты? И как бы поточнее определить, что это — «концептуализм»?

Если сравнивать это направление с живописью, то получится следующее: живопись — показ; концепт — рассказ, а то и приказ. Приказ домыслить, вообразить то, что только обозначено или просто рассказано, т. е. представить уже созданным замысел. Еще одно отличие концептуального искусства: если основные понятия живописи, это «хорошо — плохо», то здесь они заменены другими, а именно: «старое — новое». Старое плохо. Вернее, поскольку понятие «плохо» отсутствует, то старого просто не существует. Есть только новое — еще новее — и еще новее — еще — еще — еще... все?!. А дальше? А вдруг новое кончилось? Что если вал новых идей схлынул, ушел? Что если новаторство, эксперимент устарели? Отлив, задыхающиеся морские жители бьются на песке...

Все-таки тем, кто существует на шкале «хорошо — плохо», дышится привольней. Потому что понятие «хорошо»

включает в себя и понятие «ново». Так, у художника Э. Булатова, обильно репродуцированного в журнале, элементами нового стали вписанные в превосходно выполненный пейзаж слова-гиганты. И это наполняет его картины каким-то высшим смыслом. Облака, а там шагает слово: ИДУ. И Слово становится Голосом, а Голос — Логосом.

Однако художники в поисках новых форм выражения, в поисках новых материалов, достойных этих новых форм, все никак не найдут того мощного рычага, который помог бы им перевернуть земной шар. Приходится в поисках точки опоры оборачиваться к традиционному прошлому. И вот изобретен немыслимый костыль: «романтический концептуализм». И статья об этом — одно из самых занятых явлений в журнале, если сразу отключиться от того, что ее можно и нужно понять. Статья Бориса Грайса — философа, литературоведа, математического лингвиста — концепт. Игра в элитарность. Элитарный читатель в элитарном журнале читает элитарную статью. Он скользит, словно по льду, по таким жреческим фразам: «...по самой своей природе концептуальное искусство должно быть совершенно прозрачным...»; или: «Произведение концептуального искусства должно содержать и представлять зрителю эксплицитные предпосылки и принципы своего порождения и своего восприятия...»; или: «...Единство текста констатируется не единством дескрипции или единством описываемого предмета, а единством действия — невербализованного и заключенного в рабочие паузы». Эти мощные фразы представляются этакими семиотическими коровами, пасущимися на серебряной фольге и выдающими жирные удои перфокарт. Может быть, надо об искусстве писать попроще? Леонардо да Винчи, например, писал свои трактаты довольно кондовым языком.

Красное слово бежит по мирному зелено-голубому пейзажу. ОПАСНО! Что опасно? Искусство опасно? Да. Это искусство опасно.

Концептуализм направлен на толпу. Его цель в чистом виде — массовый гипноз. Кинетисты стремятся настроить людей на единство восприятия, сколотить индивидуумов в коллектив, в единый организм, механизм, приспособленный к восприятию только массовой культуры. Этот гипноз, попытка воздействия на массы путем коллективной медитации,

путем ритма, сродни приемам магии. И ведь художники-концептуалисты — не христиане. Они все изучают тантризм, буддизм. Знаковость медитативных картин сродни древним талисманам, будто бы имеющим сверхъестественную силу. И, думается, создавал бы знаковые картины математический гений или робот, который все расчеты проделал бы безошибочно, пожалуй, цель была бы достигнута, и концептуальное искусство обрело бы магнетическую, магическую мощь. Возможно, что это искусство принадлежит грядущей цивилизации роботов. Вспомним: «оп-арт», оптико-геометрическая живопись, не успев родиться, немедленно попала в плен к компьютерам. Там она обжилась, и вот уже почтеннейшая публика любуется альбомами с изящными графическими воплощениями сложных математических формул.

Но, к счастью, пока до цивилизации роботов еще далеко. Пока что живые ребята очень серьезно играют в кубики, крестики, нолики, буквочки. Так что человечество может спать спокойно. Единственным оружием в руках концептуалистов является юмор, с помощью которого они пытаются перевернуть земной шар, но и этот фокус пока не удается.

И не удивительно, что журнал, выходящий в Париже, переводится на английский, а не на французский. Русские концептуалисты водятся, главным образом, в СССР и США. Две эти гигантские страны-антинода, видимо, предрасполагают к мегаломании, правда, у концептуалистов она сдобрена иронией.

Закроем «А — Я», перейдем к «Третьей Волне». Об этих двух журналах вкупе так же трудно говорить, как сочтать понятия «концептуализм» и «романтический». Но говорить надо. «Третья Волна» — рупор другой группировки. И группировка эта обильна талантами, она очень серьезна и многочисленна.

В основном, критерии художников, которыми занимается «Третья Волна», находятся на шкале «хорошо — плохо». Иначе говоря, это те, кто просто пишет картины, лепит скульптуры, не думая о новых материалах и формах контакта со зрителем. Иначе говоря, заняты изобразительным искусством в истинном понимании этого слова.

«Третья Волна» имеет более «журнальные» рубрики, чем «А — Я». Тут разделы прозы и поэзии, информации о

всевозможных выставках, отклики на любые события в среде художников-нонконформистов в СССР и на Западе, статьи о художниках, полемика, критика.

Что можно сказать сразу в похвалу журналу? Он оперативен. Очень быстро откликается на любое притеснение художников в Советском Союзе, борется за права людей искусства, ущемляемые ГБ и властями предержащими. Такая миссия необходима и она благородна.

Что касается литературно-художественной части журнала, то она крайне неравноцenna. Наряду с публикациейдельных статей о художниках, высококачественных стихов поэтов московской и ленинградской школ, вдруг, откуда ни возьмись, появляются дилетантские стихи И. Сергеевой (№ 6). Или, скажем, поэзия Михаила Шемякина (№ 5). Странная история: стоит только поэту взяться за кисть, уж он насоздает абстракций! А художник, как ни возьмется за перо, так тут же начинет писать абсурдистские верлибры. Беда, коли стихи начнет писать художник! Леонардо да Винчи — и тот был довольно посредственным поэтом.

С литературной критикой издателю повезло. С ним сотрудничают такие блестящие критики, как П. Вайль и А. Генис. Их статьи читаются зачастую с большим интересом, чем иные рассказы, помещенные в журнале.

Примерно треть журнала отдана полемике. Эта именно часть и является притчей во языцах для всех, читающих журналы Русского Зарубежья. Издатель «Третьей Волны» А. Глазер — человек увлекающийся. Неспособный равнодушно отнестись к окружающему, он или любит, или ненавидит. Полемический раздел наполнен этой войной и любовью, а поскольку в любви и на войне все средства хороши...

В конечном итоге, такая ярость утомительна для читателя, потому что переходит прямо-таки в судебную тяжбу. А тяжбы интересны лишь непосредственно заинтересованным истцу и ответчику.

И тем не менее, такое вмешательство правомочно, как правомочно любое направление, любая группировка, любая полемика в свободном мире, где мы сейчас живем. И очень хорошо, что могут существовать, не мешая друг другу, два таких разных журнала на службе изобразительного искусства. Разумеется, ни тот, ни другой журнал — отнюдь не резервации. Есть художники, которые представлены в обоих

(Г. Файф, О. Лягачев). Издатель журнала «А — Я» предполагает в следующих номерах знакомить читателя с другими направлениями, а «Третья Волна» не предает анафеме ни Комара с Меламидом, ни, тем более, Малевича.

У каждого журнала будет, конечно, свой круг читателей, свои сторонники. И это им, читателям, решать вопрос, что правильнее: элегантная остраненность, игра в бисер среди урагана, или активное вмешательство в жизнь, даже с риском запачкаться?..

...Когда св. Николай и св. Кассиан оказались у врат рая, св. Петр спросил их: «Отчего на одном из вас ризы белоснежные, а на другом запачканные?» И рассказали ему Кассиан и Николай, как встретили воз, увязший посреди дороги. «Кто из нас прав?» — спросил св. Кассиан. «Оба правы — отвечал св. Петр. — Только ты, Кассиан, за свою правоту имеешь один праздник раз в четыре года, а ты, Николай, за свою — дважды в год».

Кстати, а воз и ныне там?

K. C.

Наша анкета

ОТ РЕДАКЦИИ: На этот раз мы предлагаем читателям новую форму этого раздела «Континента»: развернутый диалог с писателем, переплетенный раздумьями собеседников о литературе. Форму эту предложили нам два наших новых автора — ПЕТР ВАЙЛЬ и АЛЕКСАНДР ГЕНИС.

ЗАГОВОР ПРОТИВ ЧУВСТВ

Беседы с Зиновьевым

Александр Зиновьев явился в пору полного разгула литературности. Русская словесность, охолонув от оторопи бессловесных 50-х, словоохотливости первой половины 60-х, приходила в себя. И даже уже пришла, обозначив вехи, критерии и пути развития. После полузыбкого образца «Доктора Живаго» пришли солженицynские книги, за ними — романы Максимова, «Верный Руслан» Владимира, «Чонкин» Войновича. На параллельных путях — от фантасмагории Ерофеева до романа-эпоса «Сандро из Чегема» Фазиля Искандера. Один лишь перечень этих книг должен убедить всякого непредвзятого человека, что русские прозаики пишут основательную художественную прозу и умеют в этом ремесле практически все. Чонкина мы цитируем, как Швейка, под рюмку вспоминается «Москва-Петушки», вместо «лагерь» мы говорим «ГУЛаг» — и все это значит, что новейшая русская литература отстоялась в сознании, стала явлением общественным, то есть — литературой.

Тут-то и появилась аморфная груда страниц под именем «Зияющие высоты», написанная Александром Зиновьевым. Человеком, который все делает назло литературе.

Идея расплывчата и противоречива; сюжета нет вовсе; композиция хаотична настолько, что не хочется употреблять слово «композиция» вообще; герои без имен-отчеств и человеческих чувств; заумь научных трактатов смешивается с матерной руганью; время от времени среди прозы зачем-то стихи.

Все — «не как в книжках».

Все — не как у людей.

С другой стороны, сам Зиновьев вроде никогда и не скрывал, что не воспринимает себя полноценным, профессиональным писателем. Вроде намекая, что для него литература — как скрипка для Эйнштейна. А главное — философия, логика, социология. Наука, в общем.

Помнится, в детстве была такая шутка — своего рода психологический тест. Предлагали тебе что-нибудь соблазнительное с твердым обещанием: это исполнится, но при одном условии — ни в коем случае нельзя в это время думать о белом медведе. И ты был обречен. Понятное дело, ни о чем, кроме белого медведя, думать не моглось и даже как-то не хотелось.

Настойчивое отталкивание Зиновьева от литературы, от всего того, что традиционно принято считать литературой, — род такого теста. Белый медведь делает свое дело. Ни к чему, кроме как к литературе — причем самой что ни на есть художественной, — Зиновьева не отнести. И пусть автор с первых же строк предупреждает: «Эта книга составлена из обрывков рукописи, найденных случайно... на недавно открывшейся и вскоре заброшенной мусорной свалке» — ни единой случайной фразы в книге нет, построена она по четким, хоть и гибким, канонам — пусть и далеким от принципов современной литературности, но имеющим глубокие корни в литературе мировой*.

Нет уверенности, правда, что сам Зиновьев был так уверен в этом, когда писал книгу. Кстати, и предложение об «обрывках рукописи», кроме явных следов литературного кокетства и пародирования банального приема, свидетельствует об этом — а может, и вправду «обрывки рукописи», лишенные художественной системы (в мыслях и в их научности у автора сомнений нет).

Тут надо оговориться. Конечно, книга не всегда делается, часто она получается. Однако трудно найти более «сделанную» книгу, чем «Зияющие высоты». Но — по мысли. Что же до собственно литературы, то не исключено, что шедевр — а «Зияющие высоты» шедевр! — «получился». В этом мы и попытаемся разобраться — в главках, посвященных специально литературному анализу.

Отнеслись к Зиновьеву на редкость однообразно. И совсем неважно, что восемь из 10 возненавидели, а двое других восхитились. Никто (или почти никто) не захотел или не смог понять, что в лите-

* О жанровой принадлежности «Зияющих высот» авторы подробно писали в статье «Вселенная без мозжечка» («Время и мы» № 39, март 1979), относя книгу Зиновьева к жанру мениппеи.

ратуру пришел писатель. А только — что в современную политическую мысль пришел политический мыслитель. Тут-то и начали ломаться копья и ломаются по сей день. Удары разной силы: от скромного «русофоба» до криминального «агента КГБ», от почти безобидного упрека в «незнании русской истории» до апокалиптического обвинения в «стремлении распространить коммунистическую экспансию на весь мир». Волноваться, видимо, есть от чего. За долгие годы никто не высказывал столь парадоксальных идей о сущности советского строя, о судьбах России и мира. Кроме того, у Зиновьева есть то, чем не обладает ни один из его критиков, — логика и последовательность, что придает его суждениям вес.

Но все это — в скобках. Мы пишем о Зиновьеве-писателе, поразившем нас своей литературной необычностью. И хотя в дальнейшем придется касаться политических взглядов писателя (уж очень политизирован), нас интересует прежде всего, вопрос — что такое Зиновьев и его «Зияющие высоты» с точки зрения литературной.

Мы виделись с Зиновьевым в Нью-Йорке, куда он приезжал по случаю выхода «Зияющих высот» по-английски. Свидания наши были таинственны и странны. Жены делали каменные лица, полагая, что магнитофон в 12 часов ночи берется с собой для отвода глаз. Возвращались мы после трех — оживленные, но трезвые, что, понятно, усугубляло подозрения. Дело в том, что Александр Александрович пробыл в Нью-Йорке всего четыре дня, и издательство «Рэндом Хауз» расписало пребывание по часам. Дневным. А мы являлись якотати и вели долгие ночные беседы. Беседы — это сказано, пожалуй, громко, Зиновьев говорит, как пишет, — то есть длинно и емко, беспрерывно рисуя геометрические и не очень фигуры на листе бумаги (рисунки эти были нами изучены, признаны не имеющими ценности и уничтожены).

Ниже мы будем чередовать свои главки литературного разбора «Зияющих высот» с кусками получившегося интервью. В конце концов, должен хаос книги Зиновьева как-то отразиться на статье о нем...

«Я РАД, ЧТО НЕ ПРОБИЛСЯ»

— Вот вы спрашиваете, как я начал писать художественную литературу — все-таки я профессиональный учений. Но для тех, кто меня знал, ничего-таки неожиданного в этом не было. Я писал всегда: в юности километрами сочинял стихи, работал в стенгазетах, писал рассказы.

Демобилизовавшись из армии, я приехал с чемоданом рукописей и сделал две попытки. Один известный писатель сказал, что мне надо учиться, и использовал мои сюжеты без ссылок. А другой решил, что я провокатор, и пообещал следующий раз позвонить в КГБ.

А сюжеты были военные, кое-что из этого вошло потом в ЗВ — летная школа, кое-какие стихи, «Баллада об авиационном курсанте»...

Короче, заниматься серьезной литературой тогда было рискованно, вратя я не хотел и все уничтожил. Это был 46-й год. К счастью, все уничтожил — ничего у меня после не нашли.

В рассказах и стихах тех было много хулиганского... Я был молодой парень, понимаете, буйствовал, много пьянствовал. Все мои те писания были реалистичнее, чем ЗВ.

Я очень рад, что тогда не пробился.

А потом у меня была на всю жизнь богатейшая практика. Логических книжек много написал — в них есть целые куски, которые потом вошли в ЗВ. Манера выражения, ядовитость какая-то...

Да, мне уже приходилось читать про себя, что многие темы, шутки, реплики я вроде как подслушал и записал. А вы попробуйте запишите, что люди говорят, — сплошное убожество. Когда люди смеются, они смеются просто в силу внутренней ситуации. Все я выдумал сам — литература не вырастает из подслушанных разговоров.

В общем, все шло в дело. Я написал статью — скандальную, о формах идеологии. Ее нигде не хотели печатать. Она теперь в ЗВ. Потом как-то Эрнсту Неизвестному ко дню рождения сочинил стих. Вы его знаете: это «Линии привычные чертят...», предпоследнее в книге. Еще об Эрнсте написал несколько статеек. Один очерк на немецкий перевели, отдали Бёллю.

Потом я начал писать отдельные кучки уже для книги, ну и сразу мои знакомые и бывшие друзья заледенели. Все надеялись, что так пройдет — хохмы, стишкы... В общем, когда я очухался, уже две трети книги написал.

«ОДИН В ШЛЯПЕ, ДРУГОЙ С УСАМИ»

— Мне здорово помогло то, что я был карикатуристом. Я нарисовал десятки тысяч карикатур — с первого класса в школе, в армии, в университете... И в общем-то моя образность — это

карикатура, выраженная в словах. Я не срисовывал человека, а по памяти восстанавливал. А человек потом все больше становился похож на свою карикатуру.

Был у меня знакомый психиатр, так он говорил, что по моим карикатурам можно устанавливать диагноз. Карикатура была формой записи того, что я видел в людях.

Для меня человек не существует в брюках, рубашке, с глазами и так далее. А так: встретились у пивного ларька интеллигенты — один в шляпе, другой в очках, третий с усами. Достаточно. Чтобы создать художественный образ, не обязательно описывать внешность, поведение. Хватает одного штриха.

Я перенес карикатурную технику на создание литературного образа. Так же, как использовал анекдот для пояснения научной истины. И еще — когда я начал писать, решил: я не профессиональный писатель. Почему я должен считаться с какими-то литературными канонами. Похвалы я все равно не заработаю. На критику плевать. Буду использовать любые приемы, не считаясь ни с чем. Скажем, трагическую ситуацию описывать смешино, а смешную со слезами.

КЕНТАВРЫ. ОБРАЗНАЯ СИСТЕМА

Когда Зиновьев писал «Зияющие высоты», он создавал трактат. Энциклопедию социологических знаний о коммунизме. Весь объем сведений был заранее подготовлен многолетним трудом и личным опытом. Оставалось лишь найти дидактическую форму. Вот поиски этой формы и привели к литературному шедевру. Чтобы перевести на человеческий язык научные откровения, пришлось использовать наглядные методы художественной литературы. Например, ввести диалог и персонажей. Зиновьев использует древнюю педагогическую манеру изложения научных законов. «Скажи мне, Цефалус, что есть справедливость?» — спрашивает Сократ собеседника. Цефалус отвечает неправильно, а Сократ его все поправляет и поправляет. Так начинается «Государство» Платона. В те времена авторы трактатов тщательно следили за правильностью клаузул и чередованием цзур.

Педагогические намерения заставили Зиновьева выдумать своих сократов и цефалусов — всяких болтунов, мазил, двурушников. Все они должны были рассредоточиться по соответствующим главам трактата: «Ибанизм и наука», «Ибанизм и культура», «Ибанизм как высшая стадия пауперизма» и т. д. Персонажи должны были быть

бестелесными, как ангелы, и абстрактными, как алгебра. Для этого Зиновьев отобрал у них всё (даже имена), оставив голые функции: Мазила мажет, Клеветник клевещет, Правдец выкрикивает.

Бунт героев начался сразу. Персонажи заявили претензии на клочки биографии. Оказалось, что один сидел до, а другой все время. одному мешают соседи, а у другого есть ученики. Третий же вообще был летчиком.

Литература начала мстить за взятые напрокат методы. И вдруг выяснилось, что имена героев-функций читаются как имена собственные. Персонажи потихоньку высвобождались из-под узурпирующей власти автора, обрастили сюжетным жирком и вообще стали нарушать стройный порядок «скажи мне, Цефалус».

Выяснилось, что группа образов-резонеров (Болтун, Шизофреник, Клеветник, Неврастеник) обладают качествами сильных характеров: полная независимость мышления, стремление к абсолютному знанию, исключительная неспособность к строительству карьеры. Последнее придает им трагичность, ибо никто не знает лучше, как строится карьера. Но выведенные ими законы доказывают, что именно эти знания обрекают на провал все попытки. Болтун и К° обладают абсолютным знанием об обществе, но знания эти неприменимы и бесполезны для них. Поэтому они не спеша плетутся к крематорию, унося с собой вместе с положенной по инструкции урной секрет смысла жизни — «основу подлинно человеческого бытия составляет правда».

Болтун и Шизофреник — истинные мениппейные мудрецы — обречены на бездеятельность. Они создают и хранят знания и понимание общества, в котором живут. Другое дело Мазила. Он не размышляет, а создает художественный аналог победившего ибанизма. Мазила нужен Зиновьеву как олицетворение отношений искусства и правительства. Как материал для эстетической части трактата о крысах. Он истинный творец, абсолютизировавший эстетическое чувство, даже эстетику уродливого. Как художник он создает произведения, стоящие над и вне социальных законов, зато результаты его творчества всецело им принадлежат (портрет Хряка). Если взаимоотношения Мазилы с Хряком — это отношения гения с тоталитарным государством, то Распашонка представляет типичное решение проблемы «поэта и толпы». Он — любимец органов и молодежи. (Насколько Распашонка типичен, можно судить по забавной нелепости в рецензии на английский перевод «Зияющих высот». Критик называет прототипом Распашонки — Вознесенского, ничтоже сумняшееся схожестью украинских фамилий.)

Исторические персонажи Зиновьева представляют, действитель но, почти полную абстракцию. Все эти Хряки, Заибаны, Хозяйны переплетаются в историческом процессе в чудовище-гидру. Поэтому для их отличия необходим порядковый номер. Но они не герои произведения, а его литературный фон. Так же, как и Мыслитель, Член, Супруга. Хотя и здесь литература берет свое при помощи толстовских деталей на манер усиков маленькой княгини. Известно, что Супруга обладает ляжками жирной ученой бабы, а Мыслитель невероятно волосат.

Есть в «Высотах» и лирические герои — Он и Она. Их любовная история, протекающая в социологическом диалоге и «безобразных» стихах — лирика чистой воды. Вариант известной картины переможника Ярошенко под названием «Всюду жизнь».

Но главный, самый настоящий герой книги, несомненно, Крикун. Это уже не оживленная литературой функция, не очеловеченная абстракция, а настоящий полнокровный образ. Причем образ положительного героя, чего, вообще-то говоря, почти не бывает. Крикун аккумулирует знания Болтуна и Шизофреника, изучает реальные факты, как Правдец, и, зная все об этом обществе, действует. Его героическая жизнь уже просто не укладывается в идею трактата. И тогда, специально для него, Зиновьев пишет пронзительно трогательную, без сарказма и парадоксов, обыкновенную литературу.

К концу книги герои-маски все больше ожидают. Они встречаются в нелепом хороводе псевдосюжета, сходятся вместе и все говорят, говорят. Зиновьев думал, что он, лишив своих бестелесных героев нормальной биографии, эмоций и желаний, отделяется от них. Пусть, мол, высказывают то, что положено авторским замыслом. Но они исподтишка вдруг срываются с силлогизма на мат, после дефиниций ударяются в вой. И вот такие, полулюди-полуидеи, недоносками и кентаврами, они тащатся сквозь кромешную тоску бытия, без надежд и стремлений, отягощенные только жаждой истины.

Заговор писателя А. А. Зиновьева против литературы не удался: «Зияющие высоты» стали не только энциклопедией знаний об обществе, но и энциклопедией советских характеров.

Когда-нибудь на выпускном экзамене будет тема «Образ лишнего человека у Зиновьева».

«ЛОМОНОСОВ-НЕДОУЧКА»

— Для того, чтобы писать так, как живет человек, надо быть на уровне читателя. А читатель сейчас совсем другой — универсальный. Он знает, что такое кибернетика, космос, шпионаж. Ведь все популяризируется: наука, политика, экономика. По сравнению с нынешним читателем Ломоносов — недоучка. Читатель хочет столкнуться с писателем, который много знает, с профессионалом — в чем-нибудь, кроме литературы. Для литературы нужен только талант.

Мне повезло: я профессионал-философ, социолог, логик. Я для себя лично художественную литературу без социологии не представляю. Можно написать детектив, можно фельетон. Я хочу научить людей думать. Хоть немного, о том обществе, в котором они живут. Привить им какой-то метод думания.

Но при этом я предлагаю читателю неходить с серьезной миной: ах, я понял какие-то процессы. А относиться к этому с некоторой легкостью, с бесшабашностью, с юмором к самому себе. Если человек раскован — отпадают предрассудки. А от них отделаться труднее всего. Для этого хороши такой прием — после серьезного какая-нибудь шутка, анекдот. Это лучший способ разрушить идеологические стереотипы — раскачивать человека. Это тоже один из принципов моей эстетики.

Дело все в том, что художественная литература с какого-то времени стала довольно примитивной по сравнению с новым читателем. Я типичный представитель такого читателя, который нуждается в синтетической литературе. В ЗВ один персонаж говорит: «Интеллектуализм — это знамение нашего времени».

В Москве ко мне многие приходили и говорили: я не верил, что это возможно, это мое, здесь записано мое мировоззрение. Вот Надежда Яковлевна Мандельштам сказала: я думала, что такая книга не появится, и счастлива, потому что ее все-таки ждала.

Видимо, я попал. Но я и не мог иметь в виду другого читателя, потому что сам был таким. Я писал для самого себя, я сам был свой читатель.

Наверно, есть смысл говорить о литературе, названия для которой я не знаю. Это литература факта, профессионального знания, глубочайшего знания своего предмета. А литературой она уже становится сама по себе. Вы знаете Белинского? Его «Юрий Тынянов» совершенно гениальная книга. Я не знаю, как обобщить, но назвать могу. Это две книги Надежды Мандельштам. Да, в

первую очередь — «Архипелаг ГУЛаг». «Былое и думы» Герцена. Вот изумительная книга Лебедева «Чаадаев», Эйдельмана «Лунин». Сюда можно ведь и больше. Например, «Тайна золотого гроба» о гробнице Тутанхамона, «Тени в океане» — об акулах.

В какой-то степени — даже «Полит» Набокова. Если мы подойдем к этому с точки зрения изложенной в художественных образах теории психоанализа. Хотя можно «Политу» рассматривать и как чисто художественное произведение. Если, конечно, эта книга искренняя...

Вы знаете, я предпочел бы, чтоб мою книгу — «Зияющие высоты» — отнесли именно к такой литературе.

РАЗМЫШЛЕНИЯ У ПОДЪЕЗДА КРЕМАТОРИЯ. ИДЕЙНОЕ СОДЕРЖАНИЕ

Александр Зиновьев умудрился посмотреть на тоталитарное общество снаружи, находясь в самой гуще его. И более того — он увидел его во всей целостности, полноте и законченности, проследил от начал до нестерпимого сверкания зияющих высот. Не до конца, нет — конца не предвидится. Но и развития нет. Общество, рассматриваемое и моделируемое Зиновьевым, — растет, но не меняется, длится, но не развивается. Не много в литературе есть примеров описаний таких вот законченных социальных систем — скажем, изображение идеального государства персов у Ксенофonta в «Киропедии» или идиотически-прекрасный «Город Солнца» Кампанеллы. Зиновьевский Ибанск так же замечателен. И вовсе не потому, что уж так хорош. Просто «Ибанск... есть тупиковая цивилизация». И еще: «...Ибанск и есть выход из всех затруднений прошлой истории человечества».

Итак, Ибанск есть тупик и конечный выход одновременно. К такому заключению приходят самые умные герои «Зияющих высот», а жестко формулирует один из тех, кто в книге представляет автора, — Болтун. Социальные законы, имманентно присущие человеку, наконец, совпали с законами конкретного общества. Человеку не надо больше прикидываться продуктом цивилизации, оглядываться на любовь к ближнему, правду, порядочность и прочие жупелы. Социальные законы: хочешь жить — умей вертеться, не подмажешь — не поедешь, двое в драку — третий в сраку и т. д. — оформились в принципы (не написанные, но принятые всеми) государственной системы. И потому дальше идти некуда — от добра добра не ищут.

Да, но ведь есть же — пока — и другой мир. Есть общества и правовые, и моральные — в отличие от ибанского. Конечно, утверждает Зиновьев, в конце-то концов, останется лишь республика на болоте, чтоб было с кем целоваться на аэродромах ибанским Заведующим. Но пока-то... И вот кричит Правдец, поет Певец, химичит Двурушник, царапают трактаты Клеветник и Шизофреник. А Зиновьев равнодушно замечает: «Разоблачение только укрепляет ибанизм». И поясняет: всё, что могут предложить человеку достижения цивилизации, не дает общей оптимистической ориентации. Религия и мораль обращаются к душе, наука к разуму. А ибанизм обещает персональную машину через сорок лет и дачу — через восемьдесят. И неважно, что где-то за кордоном это уже есть сейчас. Предпраздничный день всегда милее праздника. А разоблачения — суть прививки, ведущие к полному иммунитету.

С парадокса «разоблачение только укрепляет ибанизм» и начинается великий парадокс Зиновьева и его книги.

Зиновьев-ученый, безупречно логичный и последовательный, ведет свою идею непобедимости ибанизма под гром точных формулировок, рокот умных трактатов, звон блестящих афоризмов. И Болтун — последний циник и герой — под звуки этого оркестра заходит в крематорий. «И его не стало. И наступил конец всему» — так звучит последняя фраза «Зияющих высот».

А где-то сначала сбоку, потом все более и более выдвигаясь вперед, появляется, точнее, проявляется Зиновьев-художник. А за ним — когорта каких-то странных персонажей, похоже, не вполне согласованных с научно обоснованным мнением своего творца. Блестящие аналитики Клеветник и Шизофреник, гениальный скульптор Мазила, героический идеалист Крикун... А Болтун, действительно, идет в крематорий. Но перед дверью говорит: «Основу подлинно человеческого бытия составляет правда. Правда о себе. Правда о других. Беспощадная правда. ...Начинается все с этого».

Схема, стройно составленная Зиновьевым, — ничуть не теряя в верности и убедительности, — рушится. Сама идея зиновьевского анализа общества, а именно — утверждение его моци — наносит обществу сильнейший удар, потрясая его основы. Шаг за шагом, доказательство за доказательством Зиновьев разъясняет, насколько и почему так силен и неколебим Ибанск. И, наверно, доказал бы, если бы остался только ученым — философом, логиком, социологом. Но он писатель. Его образы, его герои живут, и самый факт их существования и способности мышления в Ибанске — в конечном

счете, важнее и достижений рыболовов Ибанючья, и последней речи Заведующего, и самого Ибанска.

То, что героев таких мало против армии Сотрудников, Крысов, Заперангов и пр., — не важно. «...Понимание есть всегда дело одного и начинается с одного».

Вот так и начал сам Зиновьев, противопоставив тоталитарной машине анализ, знание и волю.

Так обнаруживаются две линии «Зияющих высот», в противоречие вступают научный и художественный методы. Первый запихивает Болтуна в крематорий. Второй заставляет его сказать слова о правде, подводя жизненный итог.

Герои рационалиста и скептика Зиновьева, упрямо вылезая из авторской концепции, своим бытием свидетельствуют о существовании Бога. Именно божественный замысел ведет каждого из них на бессмысленную борьбу, толкает на необъяснимые поступки. Каждый из них — умниц, творцов и, главное, тонких знатоков окружающего общества — мог, надо полагать, приспособиться и процветать. Мог, конечно, и Зиновьев — профессор, ученый с мировым именем. Но, задавшись однажды вопросом о смысле и способе существования человека, он и его герои чем больше понимали*суть дела, тем больше хотели ее понять. Стремление ученого к знанию соединилось со страстью постижения творца и еще с одним — не всегда ясным и четко ощутимым желанием приблизиться к истине. С тем, что называют обычно душой, вещью в рациональных терминах необъяснимой, да и не надо. Зиновьевские безбожники, ни слова не сказав о Боге, славят Его самими собой, тем, что они есть.

Научный метод дал теорию, ее обоснование, концепцию. Именно этого Зиновьев хотел, потому что он — ученый.

Художественный метод дал героев, оснащенных талантом, знанием и ощущением божественного замысла о себе. Хотел ли этого Зиновьев — неизвестно, потому что он — писатель.

А противоречие двух методов, так сказать, процессуальное — пока читаешь. По прочтении же, по осознании целого, становится ясно, что именно это противоестественное смешение и дало явление поразительное — не имеющую аналогов и прямых предшественников книгу «Зияющие высоты».

И это — победа литературы.

«ПОЖАРНЫЕ МЕНЯ ЛЮБИЛИ»

— Был ли стержень у книги? Вы понимаете, с самого начала было желание изложить свои идеологические представления о коммунизме. Все мои персонажи — и положительные и отрицательные — высказывают социологические идеи. Хотя это производит впечатление балагурства, на самом деле это теория. А изложение теории предполагает некоторую закономерную последовательность. Это и был стержень. Идеологическое развитие идеи.

Конечно, я мог бы написать социологический трактат. Для специалистов. А я решил обратиться через голову специалистов к самым обыкновенным современным людям — имеющим среднее, высшее образование.

А форма уже была. Когда на лекциях я объяснял какую-нибудь идею, я придумывал притчу. Кстати, были и курьезы.

Я как-то читал лекции по логике в Пожарной академии. Есть такая в Мамонтовке. Чины все крупные — кретин на кретине. Они все записывали. Ну, например, что такое дверь? Я диктую: дырка в стене, которая туда, называется входом, а обратно — выходом. Они пишут. А потом мне рассказывали про их экзамены. Сидит представитель райкома, генералы-пожарные. Выходят мои полковники: вот, например, разъясняют, возьмем, скажем, дверь... Ну что такое дверь — никто же не знает, что такое дверь, ни представитель райкома, ни генералы... А они: дверь — это дырка в стене... Был целый скандал. Да, а пожар — горение вещей, к сожиганию не предназначенных...

То есть я хочу сказать, что литературная форма была для меня привычной. Вообще литературный прием — просто способ заставить людей читать серьезные вещи. Художественная литература была для меня средством, конечно, не целью.

«ПИШУ Я ОТ РУКИ»

— Пишу я без системы. Нет такого, чтобы я встал во столько-то, сел во столько-то. Я писал подряд и очень много. Никогда не правлю. Пишу страницу, скажем, вообще большой кусок, и смотрю потом — если что не так, переписываю заново. Если начать вычеркивать слова, получится только хуже.

Однажды была возможность передать на Запад текст с на-

дежной оказией — так я писал 20 часов подряд. Написал «Поэму о скуче» — последнюю часть ЗВ.

Пишу я от руки, но гораздо быстрее, чем моя жена способна перепечатать. У меня быстрый почерк, я сижу и просто все подряд записываю.

Что касается стихов — в книге практически нет стихотворения, которое я бы писал дольше 20 минут. Вот стих Мазилы, который я подарил Неизвестному на день рождения, — 10 минут.

Да, кстати, все знают, что Мазила — Неизвестный. Но вообще все не так просто. Я вообще считаю вопрос расшифровки абсолютно несущественным. Конечно, прототипы есть, по крайней мере, у части моих персонажей. Но не это важно — кто конкретно Шизофреник или Двурушник. Если уж писать комментарий, то он должен быть адекватен самому произведению. Это не должно быть так: Хряк — Хрущев, родился, умер, избран... Надо что-то в таком роде: Мазила — многие, в том числе Эрнст Неизвестный, уверены, что это Эрнст Неизвестный, но... И дальше, дальше...

БРОШЬ ИЛИ ФУРУНКУЛ. СЮЖЕТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Если бы «Зияющие высоты» написал Толстой, то композиция выглядела бы так. Группа молодых и талантливых героев, охваченных патриотическим порывом, идет на войну. Там, в среде простого народа, они разочаровываются в государственной идеологии (убедившись, что дубина народной войны гвоздит в основном штрафников). Вернувшись с войны, они пытаются активно переделать жизнь. Быстро наступившая реакция в стране сменила недолгий либеральный период. Герои уходят от общественной деятельности в напряженную духовную жизнь. Они ищут смысл существования в разгадке тайн бытия. Финал книги изобразил бы героев умудренными опытом людьми, живущими сознанием полноты своего существования и несправедливости окружающего их общества.

Но Зиновьеву сюжет не нужен был с самого начала. Какое может быть развитие идеи, когда он с самого начала знал, что ему надо сказать и чем все кончится. Проблема стояла не в поисках ответа, а в форме популяризации знаний, полученных научными методами.

Сюжет «Зияющих высот» — больше всего похож на сюжет учебника по истмату, построенного как пособие для программистов. Если вы полагаете, что дважды два — четыре, то прочтите страни-

ци 16. Если вы считаете, что не четыре, а 28, то откройте 173-ю страницу, и вы поймете причину вашей ошибки. (Поэтому, в принципе, «Высоты» можно читать не подряд.)

С такой композицией Зиновьеву нечего было беспокоиться за художественную правду. Его могла волновать только достоверность излагаемой теории. А таблицу умножения он знал и до этого. Но перетасованные беспрекословной рукой автора главы все равно выстроились в сюжет.

Героям книги дозволялось жить урывками. Никто не знает, что делал Шизофреник между 15-й и 252-й страницами. Был ли женат Мазила и сколько платили Сотруднику в его кабинете.

Им разрешается существовать только в краткие минуты демонстрации научных законов и стихийных бедствий. Вот в эти звездные часы литература и должна была успеть взять реванш. И она успела.

Сюжет «Зияющих высот» — не история характера, как учил нас всех Горький, а приключения осуществленной социологической теории. Герои, как мотыльки над светочем знаний, вьются вокруг идеи. Происходит это так. Шизофреник выдумал теорию, объясняющую наше общество. Болтун, Клеветник и прочие находят ей широкое применение для анализа новейшей истории. Учитель с Почвоведом спорят о формах ее использования. Мазила высекает мраморное воплощение теории из краденого материала. Мыслитель теорию пропивает. Брат продает. Заибаны не могут прочесть.

Мощная интеллектуальная жизнь находит научное воплощение и нецензурную форму. Хотя герои и не женятся, не стреляются и не сходят с ума, сюжет «Высот» не хуже, чем в «Собаке Баскервилей».

Мало того, что истина о нашем обществе вещь необычайно увлекательная, тут еще и разыграна она на разные голоса. Хотя все герои говорят одно, говорят они по-разному. Это как в дуэте, где текст один и тот же, а любой отличит мужской голос от женского.

Зиновьевские персонажи, разыгрывая в лицах социологический трактат, делают это неожиданно умело. Так, что в конце концов становится даже не понятно, что они делают по нотам, а что от себя, как Бог на душу положит. Бог вложил им в душу страсть, просто неприличную для объективного изложения основ ибанской цивилизации. Страсть эту они удовлетворяют в извращенной форме: тянутся к знаниям. Тут уж сюжет становится просто трагичным. Это вам не любовь без взаимности. Знать и не мочь, не бороться и проиграть, найти и сдаться — это подлинная трагедия духа.

Микельанджело отсекал от «Давида» все ненужное. Зиновьеву и отсекать нечего. Ненужного у него не было с самого начала. Если

все время говорить о смысле жизни, натужно и постоянно, горячо и искренне, убежденно и со знанием дела, 600 страниц петитом и нелегально, то лишнего просто не окажется. Хаос архитектоники, ущербность героев, горячечная болтливость повествования — вот цена, которую Зиновьев, строгий логик и ученый, заплатил за свою попытку изнасилования литературы. Вам прокол, господин Зиновьев! Попытка-то — с негодными средствами. Литература превратила недостатки в достоинства, и поэтому шедевр современной словесности «Зияющие высоты» характеризуется: глубоко организованным на идеином уровне сюжетом, галереей ярких и убедительных образов, лаконизмом и точностью диалогов.

Книга эта воспринимается как целое. Когда художник накладывает грубые мазки на холст, поди разберись, что на женской шее — броши или фурнук. Даже неизвестно, знает ли он это сам. Зиновьев без конца теребит и мучает сюжет. Только привыкнешь к мерному чередованию истории сортира с выкладками Шизофреника, как все меняется и появляется Крикун. Еще сортира не достроили, а события перемещаются в академические сферы. Но внутренняя работа сюжета все тащит и тащит книгу к законченному и совершенному импрессионистскому полотну под названием «Что есть истина?»

А что касается деталей и жизненной правды, то тут Зиновьев не новатор. Ведь уже было сказано в одной мениппее про героя с еврейским именем Иуда: «И бросив сребреники в храм, он вышел, пошел и удавился».

«Я ПРОСТО ЗИНОВЬЕВ»

— Я очень немногое в литературе принимаю за настояще. *Линия Христа и Пилата* в «Мастере и Маргарите» — это гениально сделано. Очень люблю Бабеля, «Железный поток», я считаю, сделан блестяще. Фадеевский «Разгром», в свое время — «Хулио Хуренито». «Зависть» Олеши — настоящая литература. Платонов? Ну, куски, фрагменты, а целого все же нету... Обожаю Окуджаву как поэта, а вот его проза — это, по-моему, около...

Я уже где-то говорил, что в современной литературе больше всего люблю «Верный Руслан» и «Москва — Петушки». С точки зрения литературной пластики, гармонии — это шедевры. У Ерофеева — очень высокий интеллектуальный уровень. Это очень интеллигентная книга.

Сейчас читаю «Колымские рассказы» Шаламова. По-моему, в смысле литературном, — это лучшее, что написано о лагерях.

В русской классике — прежде всего, Лермонтов. Толстой меня оставляет равнодушным, мне нравятся только исторические рассуждения в «Войне и мире», помните, в эпилоге. А с Достоевским... Не могу читать его подряд. Вот глава о Великом Инквизиторе — это настоящая литература, без всяких скидок. Но «Братьев Карамазовых» до конца я так и не одолел. По-моему, лучшая его вещь — «Преступление и наказание».

Из зарубежных люблю Бальзака, Стендаля, Джека Лондона. Любил Мопассана. Конечно, Эдгар По.

Когда обо мне говорят, называют вроде бы предшественников — Свифта, Рабле. Вы понимаете, все это глупости. Нету никакого Свифта, Рабле. Мне говорят — я второй Щедрин. Я не второй Щедрин. Я первый Зиновьев. И даже не первый, а просто Зиновьев.

Есть ли какие-нибудь особенности у русской литературы? На этот счет у меня есть четкая концепция. Я считаю, что есть две русские литературы. Одна — всемирная, то есть часть всемирной. И в таком качестве является всеобщей. Другая — лежит в словарь, пытается все время найти что-то особое свое. Самобытная литература. Тогда она становится в один ряд с бурятской литературой, чувашской, эскимосской, которые только и интересны своей самобытностью и экзотикой.

А литература должна быть всемирной. А самобытная сама по себе исключает критику. Ведь как говорят: вот плохая литература, а вот самобытная. Но нет никакой самобытной литературы. Только становясь всемирной, литература вырастает в явление общечеловеческого порядка.

Даже Пушкин не был всемирной литературой. И Толстой. Достоевский становится, но в самое последнее время. Сейчас во всем мире ставят пьесы Чехова — это всемирная литература. А ведь в России был драматург гораздо выше Чехова — Островский. Но он обречен именно потому, что самобытен. Он не вышел и никогда не выйдет к мировой литературе.

«ЕСТЬ В ПОЭЗИИ МИСТИКА»

— Теперь — стихи. А почему бы мне их не писать? Переворот в поэзии я делать не собираюсь. Хотя знаю, что кое-что мне

тут сделать удалось. Я ничем не связан. Мне ничего не надо было нести в Главлит, в Союз писателей. Поэтому я использовал все литературные средства, которые мне были доступны.

Для меня самые главные современные поэты — Высоцкий, Окуджава, Галич. Это куда выше, чем Вознесенский и Евтушенко, при том, что те обладают изощренной версификационной техникой и умеют вроде бы все. Но, в основном, их игра форм никакого смысла не имеет: обязательно должна быть рифма «Джек Лондон — Джиоконда». Даже лучшее — «Бабий Яр», — скажем, — и то на конъюнктуре, хотя хорошее стихотворение.

А вот у Окуджавы — «Маленький оркестрик»: «Слова, как ястребы ночные, срываются с горячих губ...» В общем, стихи технически примитивные. Сейчас десятиклассник такое постесняется написать: «труб-губ», две другие строки вообще не рифмуются. Но образ — потрясающий.

В поэзии есть необъяснимые вещи, мистика какая-то...

Вот одно из самых гениальных стихотворений в русской поэзии: Блок «Я звал тебя, но ты не оглянулась, я слезы лил, но ты не снизошла...» А почему гениальное — не знаю. «Снизошла-ушла», вроде и мысли особой нет, но...

Я считаю, что новая поэзия, способная отразить новое общество и новое бытие, не столько должна искать новые формы, сколько в традиционные вкладывать новое содержание. Главное — это мысли и идеи.

ЛИНИИ ПРИВЫЧНЫЕ ЧЕРТЯ. ПОЭТИЧЕСКАЯ ФОРМА

Со стихами Зиновьеву не повезло еще больше, чем с прозой. Обалдев от напряжения мысли в трактатных главах, от шабаша гротеска в главах «с персонажами», широкие читательские массы на стихи не обратили должного внимания. А зря. Без стихов поэту Зиновьеву было невмочь: поэзия, чередующаяся с прозой, уже и формально (не только идеально) относит «Зияющие высоты» к жанру классической мениппеи. Стихи в этой книге являются необходимым дополнением к прозе, представляя вместе с ней некий логический двухчлен. А еще точнее: трактатные главы, повествовательные главы и стихи дают трехчлен — нечто вроде «мысль — образ — эмоция».

Стихи у Зиновьева (кроме вставок-хочм) появляются не случайно — в тех местах, где предельно истощена интеллектуальная ткань, где нужна эмоциональная перебивка. Стихи логически выте-

кают из прозы, продолжая те же идеи, да и по форме они вполне прозаичны. И здесь таится опасность: чем больше у этих стихов общего с прозой, тем четче и яснее надо отдавать себе отчет в том, что это именно стихи. Представим себе, что Мазила, например, говорит Болтуну: «Понимаешь, бессмертье можно назвать червем, который заползает в душу человека». Дал бы ему Болтун за этакие метафоры — и за дело: в этой книге любят точные определения. Но вот:

Свобода — шаг от камеры ко рву.
Бессмертье — чёрвь, в мою ползущий душу.

Здесь не только можно, но и нужно. И это не просто стихи, а стихи хорошие. Те же идеи изложены в новом образном и метафорическом ряду.

Зиновьев, оказывается, умеет в стихах. Отличные пародии на поэзию Распашонки, точные стилизации песен Певца. (Нам довелось разговаривать с Певцом — Александром Галичем — перед последним в его жизни концертом, в Венеции, и спросить, что он думает о стихах Певца. Галич, очень довольный, сказал, что все отлично, что под этими стихами он подписался бы.) Частушки:

Эй, ибанцы! Просыпайтесь!
Петушок пропел давно!
Попроворней одевайтесь!
Псизм стучится к вам в окно!

Зиновьевские безбожники, кажется, всего раза два-три в книге говорят о Боге. Но Крикун молится в стихах — часто, истово и горячо. Стихи позволяют отказ от ratio.

Рифмы у Зиновьева незатейливы, на метр и ритм ему плевать. Главное — всегда примат мысли, в угоду которой приносятся любые красоты стиля.

Бог знает, есть ли Зиновьев-поэт — слишком в теле книги его стихи, не вырвать. Хотя — есть же такие, как «Линии привычные чертят»...

Простота стихов неоднозначна. И вообще простота бывает разная: которая — неслыханная. В XX веке в целом обозначилась отчетливая тенденция к простым и интеллектуальным стихам. И уже не вполне понятны слова Пушкина: «Поэзия, Господи прости, должна быть глуповата...» О чем это он?

«ДАЙТЕ ИМ СВОБОДУ...»

— Деление современной русской литературы на Самиздат, Тамиздат и подцензурную советскую — эмпирический факт. Но практически есть некий непрерывный спектр. И власть, и писатели стараются заполнить все промежутки. К примеру, альманах «Метрополь» — это явление надо рассматривать как попытку заполнить эстетическую нишу. И даже психологически — это стремление затмить Тамиздат и Самиздат.

Но деление это — социологическое и политическое, не литературное. Вот поразительный факт: писатели, живущие здесь, работают в условиях абсолютной свободы, но средний литературный уровень их произведений в целом не превышает уровня подцензурной литературы. Это значит, что качество в общем-то не зависит от цензуры. Еще недавно казалось: дайте нам свободу — и мы будем такие шедевры писать... А что имелось в виду под шедеврами? Обличение советской власти. И действительно: словечко против — уже восторг. То есть отсутствие таланта, мастерства и труда компенсировать вот таким критицизмом. Но как ни критикуй режим — от этого художественный уровень не поднимется. Не сама литература, а литературные средства — политически нейтральны, они идут от природы самого феномена литературы.

Я на пари взялся бы написать апологетическую книжку в защиту советского режима — пошла бы как бестселлер. Раньше такие вещи были — и талантливые: «Разгром», «Железный поток». Возьмите фильмы: «Чапаев», «Броненосец «Потемкин», «Юность Максима»... А теперь невозможно написать гениальную книгу в защиту советского строя, потому что настоящее искусство предполагает искренность.

Что касается цензуры, настоящая литература, как мне кажется, невозможна без некоторых ограничений. Абсолютная свобода вредит. Это как в стихах. Там ведь есть свои рамки: ритм, метр, рифма — эстетические ограничения. А у нас их часто смешивают с ограничениями политическими. Иначе говоря: когда долой цензуру, то вместе с ней — долой и чисто художественные рамки.

Не могут все писатели быть талантливыми. А когда нет внутренней авторской критики, то функции отбора в какой-то мере выполняет цензура. А по существу, советских писателей цензурировать нет надобности. Дайте им свободу — они то же самое напишут, потому что ничего другого написать не способны.

«КРИТИКИ МЕНЯ СМЕШАТ»

— Вы спрашиваете, могу ли я написать книгу не об СССР. Но простите, я писал книгу не об СССР. Я писал книгу на материале СССР. В принципе мой метод годится и для Запада. Но я прожил в Советском Союзе более 50 лет, и этот материал мой — я знаю его досконально. А Запад вряд ли когда-нибудь будущий знает. Да и потом — здесь существовала всегда и существует богатейшая художественная, социологическая литература. Возьмите хоть Бальзака. В западном обществе все всё знают. А я пишу на материале, который почти никому не известен, буквально единицам.

Конечно, на Западе определенные ячейки функционируют по тем же принципам, что и советское общество в целом, — мафия какая-нибудь. Но это же связано Бог знает с каким риском — надо туда влезать. Зачем? В СССР любая контора — мафия.

В связи с этим может возникнуть вопрос: насколько Запад в состоянии понять такие книги, как моя. Я думаю: способен понять. И вообще, скажем так, между интеллигентом американским и русским гораздо больше связей, чем между русским интеллигентом и русским работягой, которого мы знаем мало, или крестьянином, которого мы не знаем вообще.

Кроме того, сейчас нет проблемы с переводами. Нет непереводимых писателей. Если есть мысль, значит можно перевести. Мысли — они всюду одинаковые. Поэтому я считаю, что меня Запад поймет и примет. Примет — не так важно, но поймет. Как можно понять вообще все — было бы что сказать...

Вот критики меня, как правило, не понимают. Иногда они меня смешают. Ведь у меня есть масса нелепостей, я знаю. А они говорят: там неправильное слово употреблено. Может, у меня в основном постулат ошибки, а они какую-то чепуху вылавливают. Меня обычно и хвалят не за то, что надо хвалить, и ругают не за то, что надо ругать. Критикам оказывается не важно, в конечном счете, что сделано, им важны всякие несущественные этапы на пути этого делания.

Я критику вообще не признаю и в литературоведение не верю. Тем не менее, мне было бы интересно прочесть литературоведческий анализ своих произведений. Но обязательно — чтобы разговор был адекватным. Я хочу иметь равного собеседника.

ХЛЕБОРУБЫ И ДЕРЬМОСЕКИ. ПОЭТИКА СМЕШНОГО

Одна из самых трудных загадок «Зияющих высот» заключается в том, что книга смешная. Этого не объяснишь перманентным кашпистником советской интеллигенции (как это сделала Н. Рубинштейн), разгадка и не в фольклорно-анекдотной основе. Смех Зиновьева лежит рядом с трагедией — в основах человеческого бытия.

Зиновьев все время говорит, что главное качество ибанской жизни скуча. Он пишет целую «Поэму о скуче». Но именно эта скуча и наполняет книгу трагическими и комическими эмоциями, по традиции приписываемыми более героическим эпохам. Если серому, скучному и смертельно опасному обществу противостоят умные мудрецы и смелые герои, то это источник трагедии. Но если такому обществу противостоят осмеивающие его члены, то получается трагикомедия. В анекдоте трагическая часть сложного жанра остается за кадром (судьба рассказчика). В «Высотах» смех связан с трагическим, как смерть с рождением: он раздается не в светлые моменты нашей жизни, а в самые черные — у дверей крематория, например.

«Где я, спросил Шизофреник... Вы, дорогой товарищ, находитесь в столице нашей родины — в лагерь-сарае Чингиз-Хана... По-средине лагеря, видит Шизофреник, возвышается синхрофазotron. На нем на корточках сидит Правдец и играет на балалайке. Мазила из конского навоза лепит бюст передовика монгола, который перевыполнил норму вырезки славян втрое. В стороне Болтун, аккуратно посаженный на кол, читает лекцию об ибанском искусстве».

Данное иносказание является не иносказанием, а фактографическим воспроизведением современной автору действительности. Точность деталей обнаруживает в авторе хорошего знатока быта лагеря-сарая и народных музыкальных инструментов. Смешное же здесь заключается в том, что в таком сарае мы живем. Если правы специалисты-эстетики, утверждающие, что смех рождает противоречия, то противоречия между человеком и нашим обществом рождают самый смешной смех в мире. Обхохочешься.

Зиновьеву мало что приходилось переделывать — действительность опережала самую несмелую фантазию. Но то, что он переворал (например, вторую букву популярной в Ибанске фамилии), создавало перспективу. Сначала — так живут у нас в конторе, потом — так мы живем, а там — человек так живет. От смешного до великого. От водевиля до Божественной комедии. От каламбура до последней истины. Смех ведь тоже ответ на последние вопросы.

Так что — рыболовы Ибанючья, ловите мокрожопуса!

«КОРОВА ЧАЙ ПИЛА»

— Сейчас существует тенденция к превращению содержания науки в содержание художественной литературы. Я решил довести до логического конца эту тенденцию.

Вот смотрите, как обычно делается в литературе — создается некий персонаж, допустим, Иванов. Автор пишет: «Иванов был очень талантливый ученый...» И мы, читатели, должны ему верить. А докажи, что он был талантливый ученый. Или, скажем, создается образ поэта: «Он был очень талантливый поэт...» Так ведь если он талантливый поэт, хоть одно стихотворение пусть предъявят.

Я решил поступать таким образом: если я создаю образ мыслителя, так он у меня должен выдавать продукцию, и такую, чтобы сам читатель решил — талантливый он или нет. Поэтому я даю образ социолога, который официально считается шизофреником или клеветником и никак не ценится. Я даю ему результаты своих теоретических исследований, а он их высказывает как свои. И читателю не надо пояснять, что он крупный ученый, — читатель сам видит это. А с другой стороны, я создаю образ других, официально считающихся фигурами, и даю им официальные какие-то идеи. И читатель может судить: «Боже, какой кретин».

Если у меня поэт, то он должен сочинять стихи. Плохой поэт — плохие, а хороший — хорошие. Вот у меня Мазила — художник. Я хочу со временем сделать книгу и снабдить ее рисунками: мол, это он нарисовал, судите сами. Но пока в отношении Мазилы я нашел другой способ — я эстетическую теорию придумал. И описываю вещи, которых нет в принятой эстетике: такие понятия, как Поток, и так далее — это я их выдумал. Я не могу предъявить картинку, но зато даю теорию, в которой описаны достижения этого художника. Здесь я использовал науку как средство создания художественного образа.

Для тех идей, которые я хочу изобразить в книгах, не годятся традиционные средства литературы. Вместе с тем, образам, которые я хочу создать, нужны серьезная теория, логика, психология, серьезная социология. Иначе это будет неубедительно. Мне в этом отношении крупно повезло. Я десятками лет занимался и логикой, и психологией, и социологией. Я во всех этих сферах профессионал.

Писатель, работающий в традиционном духе, часто во многом не уверен. А я буду писать, скажем о марксизме — так я его,

как свои пять пальцев, знаю. Я его не просто знаю, я его могу громить. Я знаю его слабые места, и мой персонаж будет об этом судить уверенно. И профессиональные социологи, и историки и так далее — они вынуждены с моими персонажами считаться, как с живыми людьми, которые имеют свои идеи. Не так-то просто с ними разделаться...

А в традиционной литературе... Вы посмотрите даже самые насыщенные произведения — какие идеи высказывают персонажи? Кот наплакал. В основном идут описания: ветер, буря, поехал, обругал... Отожмите, и вы увидите, что идей останется на пару страничек.

Это еще один из моих главных литературных принципов: литература нашего времени должна быть концентрированной. То есть надо так писать, чтобы каждое слово имело нагрузку. Нет надобности говорить о том, что «вошел в комнату, нажал выключатель, лампочка перегорела и так далее, корова чай пила...» Нет этой надобности. Мне, чтобы так писать и выразить то, что я хочу сказать, потребовалось бы 50 лет работы и 70 томов.

В «Высотах» у меня случайно уцелела одна фраза бессмысленная. И я из-за этого переживаю. «Пришла дочь Учителя и сказала, чтобы они шли обедать...» Одна-единственная фраза. Она мне пока не дает...

ЛИСТ МЕБИУСА. ЭПИЛОГ

Преимущества критики перед апологетикой очевидны. То, что «Майор Пронин» книга плохая, доказать куда легче, чем то, что «Война и мир» — хорошая.

Мы видим в книге Зиновьева прежде всего литературу. И литературу будущего. Никогда раньше в истории не было такой идеалистической эпохи: именно идеи вершат судьбы мира сегодня. Идет тотальная война сознания с материей за всеобщее бытие. Интеллектуальная жизнь превратилась в единственную. Вопросы жизни и смерти решаются каждый день. Где тут остановиться-оглянуться?

«Зияющие высоты» ждет блестящее будущее. Собственно, оно уже началось.

Никто точно не знает, где граница между литературой и жизнью, наукой и искусством, поэзией и прозой, прошлым и настоящим.

По какую сторону Зиновьев? По обе.

Условия подписки на журнал «КОНТИНЕНТ»

На 1 год — 40 н. м.; на 6 месяцев — 20 н. м.

Цена одного номера — 12 н. м.

Пересылка за счет подписчика

Подписка может быть оформлена в генеральном представительстве «Континента» по адресу:

A. Neimanis · Buchvertrieb
8000 München 40 · Bauerstrasse 28 · Germany

а также у корреспондентов журнала (адреса на второй странице обложки) или у представителей «Ассоциации друзей «Континента»:

США: Вост. побережье — Э. Штейн (E. Sztein),
7 Miles Ave, Woodbridge, Conn. 06525 USA
Зап. побережье — В. Соколов (V. Sokolov),
871 Alice St. Apt. 6, Monterey, CA 93940,
USA
Мичиган — О. Политис, 3133 No. Wagner
Rd., Ann Arbor, Mich. 48103, USA

Генеральное представительство
«КОНТИНЕНТА»

A. NEIMANIS BUCHVERTRIEB
8000 München 40 · Bauerstr. 28 ·Germany

Специальное приложение

РУССКО-УКРАИНСКОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

Со времени победы большевиков на Украине и до наших дней между украинской и русской эмиграциями существовало состояние взаимной вражды. Они почти не поддерживали между собой никаких связей: ни культурных, ни политических, ни даже личных. Причина тому была политической: русские эмигранты не желали признать за украинским народом права на отделение от России и на создание своего государства.

Эта атмосфера начала меняться к лучшему в 1970-х гг. под влиянием русских участников правозащитного движения, оказавшихся на Западе. Они привнесли с собой дух национальной терпимости и искреннего демократизма. По их инициативе и в сотрудничестве с польскими, чешскими, венгерскими деятелями было опубликовано веское «Заявление по украинскому вопросу» (май 1977 г.), где впервые за последние полстолетия представительная группа русских признала право Украины на государственность. Декларация заканчивалась следующими словами:

«Мы... призываем русских участников правозащитного движения в СССР и русскую политическую эмиграцию укреплять и углублять сотрудничество с борцами за независимость Украины».

Наше нынешнее заявление — о том, что этот призыв не должен остаться нереализованным. Украинское и русское освободительные движения достигнут победы только в сотрудничестве. Это сотрудничество (в эмиграции) становится тем более осуществимым, что украинская сторона проявила в этом направлении добрую волю.

Украинское Демократическое Движение (с центром в Нью-Йорке) и независимые украинские демократы опубликовали осенью 1977 г. «Декларацию солидарности» в ответ на «Заявление по украинскому вопросу», в которой, в частности, пишут:

«Украинский народ, оставляя позади трагические события прошлого, готов приложить все усилия для того, чтобы отношения его с соседними народами были основаны на взаимном доверии, мире и дружелюбии. Мы ожидаем, что «Заявление по украинскому вопросу» послужит стимулом для создания благоприятного климата и поможет демократическим силам народов Советского Союза и стран-сателлитов, включая тех, кто трудится в эмиграции, найти единство в борьбе за национальное, общественное и политическое освобождение». (Полный украинский текст — в «Континенте» № 13.)

Верные духу обеих названных деклараций и в уверенности, что единый фронт борьбы демократических сил народов Советского Союза надо начинать с украинско-русского сотрудничества, мы провозглашаем следующие фундаментальные принципы.

Идеалы прав человека и стремление к свободе занимают первое место в кругозоре и сознании современного человека. Благодаря их носителям идеалы эти становятся для различных народов, живущих в различных политических устройствах, платформой организованных движений и объектом международной политики. Радуясь признанию постулатов свободы в политической, общественной и международной сферах человеческой жизни, мы, участники русского и украинского движений, формулируем принципы нашего сотрудничества, принятые обеими сторонами:

1. Мы признаём полное и безоговорочное право русского и украинского народов на государственную независимость.

2. Мы подтверждаем существование русификации Украины как угрозы для украинского народа и приложим все силы, чтобы бороться против нее.

3. Русская сторона считает своим долгом содействовать углублению процесса борьбы за независимость и демократизацию Украины.

4. Украинская сторона будет содействовать установлению полных гражданских свобод и демократизации России.

5. Обе стороны стоят за полноту гражданских прав, а также общественной, культурной и религиозной автономии меньшинств на территориях Украины и России в соответствии с правами человека, закрепленными в Хартии ООН.

Эти согласованные нами принципы составляют достаточную основу для совместной работы политических и профессионально заинтересованных представителей политических движений обеих эмиграций во внутренней и международной областях, при сохранении приоритета потребностей правозащитных движений у них на родине.

Объявляя об этом и еще раз подчеркивая, что нас объединяют идеи демократии, гуманности и добрососедских отношений независимой Украины и независимой России, мы приступаем к созданию рабочих групп для координированных действий в разных странах свободного мира и ожидаем поддержки со стороны активных представителей обоих наших народов внутри и вне Советского Союза.

Подписали участники встречи в Вашингтоне 30 сентября 1979: *Степан Процик*, член Секретариата Украинского Демократического Движения, председатель вашингтонского отделения УДД, контролер финансовых систем американской армии, бывш. гл. ред. журналов «Сурма» и «За Патриархат»; *Михайло Воскобойник*, председатель Украинской Революционно-демократической партии, зам. председателя Секретариата УДД, профессор русской истории колледжа штата Коннектикут; *Роман Ильницкий*, председатель Секретариата УДД, сотрудник Нью-Йоркской публичной библиотеки, бывш. ред. газеты «Час»; *Марта Богачевская-Хомяк*, член Секретариата УДД, профессор русской истории в Манхэттенвилл-колледже (Нью-

Йорк); Ростислав Хомяк, независимый демократический деятель, журналист Юнайтед Стейтс Информейшн; *Роман Барановский*, член Секретариата УДД, председатель Ассоциации украинцев Америки, ветеринар на пенсии; *Дмитро Корбутяк*, деятель демократического движения, журналист на пенсии, бывш. сотрудник «Голоса Америки» и бывш. гл. ред. еженедельника «Народная Воля». *Владимир Буковский*, член редколлегии «Континента», студент Кембриджского университета; *Наталья Горбаневская*, ответственный секретарь редакции «Континента», поэт и переводчик; *Владимир Максимов*, гл. ред. «Континента», писатель.

Русские участники встречи в Вашингтоне подчеркивают, что, подписав декларацию, они выразили свои глубоко личные убеждения и устремления — в надежде найти единомышленников среди своих соотечественников, которые предпримут новые практические действия в области украинско-русского сотрудничества (каждый в стране, где он живет). Текст декларации встретил полное одобрение украинского члена редколлегии «Континента» *Петра Григоренко*. С его помощью в Америке, с поддержкой *Леонида Плюща* в Европе мы рассчитываем также на расширение политического спектра украинских деятелей и организаций, готовых к сотрудничеству и координации правозащитных действий.

О КРИТИКЕ ПО-НОСОРОЖЬИ

Случайно попался мне, человеку, стоящему в стороне от эмигантской полемики, «Синтаксис» и две статьи, написанные двумя бывшими советскими исследователями, впоследствии разжалованными. В методах этой литературной критики, в логике и стиле полемики я увидел давно знакомый набор стандартных советских приемов, которые, однажды усвоив, они впитали и сохранили в подсознании по сей день. Это будто выплеснулось в полемическом пыле по поводу «Саги о Носорогах». От литературно-критического пафоса статей повеяло омерзительным духом советского литературоведения, обрушивавшего свой гнев не раз на Пастернака и Солженицына, Иосифа Бродского и Анну Ахматову, Абрама Терца и Николая Аржака. Желая убедиться в существе и справедливости критики, я заинтересовался «Сагой», и тогда с интересом прочел памфлет Максимова — за что благодарен его критикам.

Критика памфлета Максимова, как, впрочем, почти вся советская критика, за редким исключением, являет собой не критику литературы, а политическую полемику. Поэтому критики «Саги» так негодуют против типизации героев и антигероев, выступая против жанра памфлета как такового, требуя открытого называния имен, и постоянно сопоставляя галерею социальных типов с действительными событиями и реальными людьми. Протестуя против неназывания, они выдают общепринятый литературный прием за профессиональный порок — несостоятельный критерий, на основании которого критикам Достоевского тогда следовало бы развенчать «Бесы» уже за то, что там не названы подлинные имена. Но если поверять литера-

туру реальностью, то памфлет Максимова обнаруживает очевидные достоинства: сила его в том, что эскизы написанные портреты были критиками моментально и безошибочно опознаны. Тем самым критика «Саги» явилась саморазоблачением, ибо в «носорогах» они увидели себя, своих знакомых, друзей и покровителей. Снабдив метафору реальными именами, критики собственоручно расписались в «носорожестве». Один из критиков даже отмечает наличие «немалой доли фактической правды» в книге, и, действительно, если портреты были бы нарисованы неверно, лживо — кто бы узнал в них реальных лиц???

В памфлете Максимова чувствуется боль, слышится предостережение западной интеллигенции, не однажды проявившей близорукость, доверчивость и безответственность: поддерживавшей Коммунистическую партию, как Пикассо, романтически восторгавшейся арабским терроризмом, как Сартр, потребовавшей распространить право занятия государственных должностей для всех, без исключения, включая террористов и коммунистов, как Бёльль, и, наконец, бунтовавшей против войны во Вьетнаме, как университетская элита в американских «кампусах». Сегодняшний Вьетнам и Камбоджа, безжалостный, кровавый терроризм левых, советская агрессия в Афганистане — кажется, представляют достаточный фактический материал, свидетельствующий о трансформации левых идей в преступный практицизм, в новые формы злодеяний левых тоталитарных режимов. Однако авторы критических статей в «Синтаксисе», в полном соответствии с методами советской литературной polemiki черносотенного толка, искажают и извращают тезис Максимова о том, что так называемая «левая элита» может содействовать формированию левых тоталитарных режимов, и выдают этот тезис за якобы злое и гнусное намерение «упрятать западную интеллигенцию на архипелаг ГУЛаг». Не совестно ли либе-

ральному русскому литератору так грубо фальсифицировать факты, искашать в своей интерпретации текст писателя, применяя безвкусный стиль официальной советской полемики и литературной критики?

«Я не могу, не хочу и не намерен принять политический плюрализм...» — эти слова, звучащие как отпоп- ведь политическому конформизму «новых левых», которые, по мысли Максимова, заводят мир в дебри зла, почтенный критик непозволительно дополняет грубой «котсебягиной», в корне изменяющей смысл, интонацию, звучание и направленность текста. «Они — носороги. ...С ними — что же делать? На пенсию? В лагерь? В расход?» — такое «передергивание» и домысливание авторского текста, бросающее намеренное и совершенно не обоснованное обвинение автору «Саги» в исповедовании философии тоталитаризма, не достойно не только профессионального критика и литератора, но и любого человека широких либеральных взглядов и интеллектуальных устремлений, на которые претендует оппонент Максимова. Я испытываю ужас перед бездумностью и безнаказанностью подобной критики.

Интересно, что выступая поборниками «политического плюрализма», свободы слова и деятельности, авторы критических статей самому Владимиру Максимову вправе на свободу мысли и печати отказывают. Они гневно обвиняют писателя во вмешательстве «в чужие внутриполитические проблемы», протestуют против публикации «Саги» на страницах свободной западной печати... В то же самое время они исполняются благородным негодованием, когда их самих лишают возможности публикации в издательствах, функционирующих по законам свободной конкуренции и свободного предпринимательства. Отказывая Максимову в праве на свободу мысли и деятельности на основании «вмешательства в чужие внутренние дела», они употребляют ту же самую мотиви-

ровку, даже в тех же самых терминах, к которой обычно прибегает советский режим, когда отвергает протесты западных либералов против нарушения прав человека в Советском Союзе.

Полемисты «Синтаксиса» свободу слова и печати понимают достаточно однозначно — свобода для «своих», но запрет для «чужих». Об этом свидетельствует, например, письмо в журнал «Континент» по поводу «Саги», написанное в жанре комиссарского приказа по армии литературы, в стиле и лексиконе приблуденного жаргона карточной игры. Слава Богу, ныне для русского писателя на Западе «райкомовская» цензура не действенна.

Тем же духом нетерпимости, неприятия свободы слова дышит и вынесенное на страницы журнала «Синтаксис» официальное письмо-отказ анонимному литератору, мотивированный лишь тем, что не названный по имени автор печатается в других органах эмигрантской прессы. За подобный «плюрализм» партийный главлит (кто не с нами — тот против нас) — лишает автора трибуны. Поистине чудовищный антидемократизм вдруг проявляют либеральные русские интеллигенты, проповедующие «идеи политического плюрализма, социального равенства и справедливости». Благородно негодующие критики, испытывающие ужас перед «безнаказанностью и безответственностью Максимова», отказываются замечать безответственность лево-либеральной интеллигенции Запада. Здесь критики Максимова вполне согласны с позицией нивелирования зла.

Заблуждения западной интеллигенции, лишенной непосредственного советского опыта, в какой-то мере можно отнести за счет неосведомленности и доверчивости, тогда как русскому интеллигенту, на своей шкуре испытавшему, что такое советский режим, все же не пристало спасать «третий путь» и идеи еврокоммунизма. Умному, честному и бескорыстному русско-

му литератору следовало бы, обратившись к опыту прошлого, увидеть в сегодняшних декларациях Генриха Бёлля (не умаляя его достоинств как защитника правозащитного движения) духовную преемственность с инфантильным либерализмом Лиона Фейхтвангера в 1937 году.

Однако критик «Саги» — то ли в пылу спора, в запальчивости, то ли с неким умыслом, смеет произнести следующий логический максим:

«Не будь этих «ревнителей свободы», не подними они «крик на весь мир», освобожденные ныне жертвы политического террора в Чили все бы еще сидели. Но сидел бы и Владимир Буковский, которого не на кого было бы сменять». Это — апофеоз публицистической и политической безответственности литератора в изгнании, перед которой нельзя не испытать недоумения, ужаса и омерзения. Уравнивая Луиса Корвалана с Буковским, оправдывая тем самым советскую политику работорговли, критик допускает не просто неточность в формулировках — позорный цинизм и подлость. И дело тут не в принципиальном различии между советским инакомыслящим и руководителем «братской» компартии, являющейся сообщником советского тоталитарного режима (кстати сказать, более жестокого, чем режим Пиночета). Поразительна логика полемики сама по себе — от логики такого типа уже недалеко до одобрения засылки советской агентуры на Запад — «ведь не будь этих ревнителей интересов отечества — сидели бы Эдуард Кузнецов и Александр Гинзбург, которых не на кого было обменять».

В чем корень страстного заступничества за левый либерализм и еврокоммунизм, в чем причина такого яростного негодования по поводу острого неприятия философии «третьего пути»? Может, это рецедив партийности советского историка и критика, состоявшего

го в партии, ныне вырвавшийся наружу из глубин подсознания? А может, все обстоит проще и низменнее...

Не раз среди критических аргументов, направленных против «Саги», всплывают чисто утилитарные мотивы: «...у одной из этих групп больше финансовоиздательских возможностей...»

Видимо, советские критики, воспитанные на вульгарном социологизме, остались восприимчивыми к марксистской идеи о главенствующей роли финансовых и экономических отношений. Один из основных моментов критики «Саги» — утилитарно-прагматический, безоговорочное требование оставить «предельы» чужого влияния, не сметь посягать на «лево-либеральные круги». Необходимостью получить поддержку у этой влиятельной и многочисленной группы, по словам критика, «составляющей половину Германии, половину Франции, половину Италии, половину Англии», продиктована яростная полемика с Максимовым. На их защиту встают критики «Синтаксиса». В соответствии с «розовыми» идеями, которые эта группа в том или ином виде проповедует, авторы защищают интересы своей братии, свою «кормушку». Без этого идеологического сообщества — не получишь стипендии из фондов, гранта на книги, места на университетской кафедре, государственной должности и прочего. Другая альтернатива — окунуться в стихию свободного предпринимательства и свободной конкуренции — опасна и рискована, особенно для людей, привыкших к опеке государства. Как тут не вступиться за «измы» с человеческих лицом!

Однако мне видится, что группа влияния, которую защищают критики Максимова, хотя она и составляет половину Европы, является вряд ли образцом мудрого и зрелого социального поведения. Артур Кестлер метко окрестил группу левых западных либералов «политическими невротиками». Политические неврастеники, исступленно выступавшие против аме-

риканского присутствия во Вьетнаме, — как видится им демократия во Вьетнаме и Камбодже сегодня? Правда, сегодня у них иные заботы — они истерически протестуют против строительства атомных электростанций, обрекая тем самым Европу на зависимость от арабских правых или левых экстремистских режимов.

Но если неосведомленность западных «носорогов» в какой-то мере объяснима, то отечественному «носорогу», знающему советскую злонамеренность и коварство, не пристало умиляться торжеством оттепели, аплодируя вместе с наивными французскими профессорами «советским деятелям культуры, которых иногда пускают в заграничную поездку». Все эти милые визитеры, совершающие вояж, являются — возможно, бессознательно — экспортёрами советской официальной версии о минимой свободе слова и передвижения, в той же мере как, может, неведомо для себя, являются экспортёрами советской пропаганды и советских идей критики «Саги о Носорогах».

Юрий Красный, художник

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ КОРРЕСПОНДЕНТА
ЛАКУА
(Итальянское агентство АНСА)

1. Можно ли уже сейчас считать, что политике разрядки международной напряженности между Востоком и Западом пришел конец? Следует ли считать, что ныне мир вступил в «преддверие затяжной «холодной войны»? Что может и что должен, по Вашему мнению, предпринять Запад в создавшейся обстановке? Чего можно ожидать от Советского Союза в ближайшем будущем?

Мир действительно переживает сейчас тревожное время, и это касается не только СССР и США, а и практически всех стран. Можно по-разному оценивать перспективы международных отношений в ближайшие годы, но я убежден, что есть некоторые основные принципы, в отношении которых не должно быть расхождений. И самый главный из них: избежать опасности большой войны, исключить все ситуации, которые могут приблизить мир к ее возникновению. Я убежден также, что необходимо продолжить усилия для мирного разрешения всех международных конфликтов, как бы остры и непримиримы не были вызвавшие их противоречия. Я имею в виду, в частности, такие конфликты, как Афганистанский, Ближневосточный и некоторые другие, угрожающие равновесию в целых регионах. Необходимо — в особенности, когда пройдет неблагоприятный период нынешнего обострения — вновь вернуться к задачам разоружения — к договору ОСВ-2, который я считаю крупным шагом вперед, необходимым для дальнейшего прогресса; к переговорам о ракетах средней дальности — конечно, на истинно равноправной основе, с учетом всех аспектов стратегического равновесия, а не в том демагогическом и шантажирующем стиле, который пытается применить СССР; к переговорам об уравновешивании

сухопутных сил в Европе с учетом резервов в западных районах СССР.

СССР на протяжении многих лет проводит политику угрожающего наращивания своей военной мощи и постепенной экспансии в ключевых районах мира. Вторжение в Афганистан, возможно, новый, еще более опасный этап этой экспансии. Получит ли эта линия дальнейшее развитие — что может привести к катастрофе невиданного масштаба — или советские руководители проявят большую сдержанность и ответственность за судьбы мира — зависит как от процессов в правительственные кругах, от экономических и социальных проблем страны, так и от действий и позиций других стран, в особенности Запада и третьего мира. США, Европа, Япония в этой исключительной обстановке должны иметь твердую и единую линию.

2. С какой целью Советский Союз направил свои войска в Афганистан? Как скоро можно ожидать их вывода, и что должны предпринять с этой целью страны Запада и третьего мира?

Советская внешняя политика строится по принципу — наступать при благоприятных условиях и никогда не отступать. Эта доктрина заставила верхителей судеб нашего народа пойти на риск военного вмешательства в Афганистане со всеми его последствиями (возможно, ими недооцененными). Мне кажутся важными планы, предусматривающие гарантии нейтралитета и внутреннего мира в Афганистане. Эти гарантии могут включать направление в Афганистан и на его границы сил ООН или сил нейтральных мусульманских стран. Особенно важной может оказаться роль 3-го мира. Такие гарантии устранит те возражения, которые выдвигаются советскими руководителями для оправдания присутствия войск. Я убежден, что политика большинства стран мира, осудивших вторжение в Афганистан, должна одновре-

менно быть твердо ориентированной на полный вывод советских войск из Афганистана, предусматривать политические и экономические санкции, и в то же время учитывать престижные соображения, сохраняя необходимую долю такта и гибкости.

3. Правильна ли идея бойкота московской Олимпиады? Как следует поступить Западной Европе? Поддержать президента Картера?

Способствовать проведению Олимпиады в стране, ведущей военные действия, осужденные 104 государствами — недопустимо. Это относится ко всем странам, включая и Западную Европу. Серьезные проблемы спортсменов могут быть разрешены участием их в других международных соревнованиях. Именно в этом направлении должны сосредоточить свои усилия международные и национальные спортивные организации, если они действительно стремятся к отделению спорта от политики.

4. Справедливо ли утверждение, согласно которому санкции, предпринятые Картером в отношении СССР в связи с событиями в Афганистане, будучи унизительными для национальной гордости советского народа, послужат лишь к большему его сплочению вокруг нынешнего режима?

Санкции, инициатива которых принадлежит президенту США — в интересах всего мира, и они должны быть решительно поддержаны другими странами. Жесткая реакция на осужденные большей частью человечества действия может оказать — во всяком случае в перспективе — благотворное влияние на внутренние процессы в СССР, поддержать более умеренную и благоразумную часть руководителей страны. Наоборот, слабость и неуверенность некоторых стран Запада поощряет угар внешней экспансии, сверхмилитаризацию, что особенно опасно, и жесткий внутренний курс, включая подавление движения за права человека.

5. Вы упомянули Ближневосточный конфликт. Какие перспективы его разрешения Вы видите?

Я вижу эти перспективы в развитии Кемп-Девида. Евреям и арабам необходимо преодолеть трагическое наследие прошлых столкновений. Палестинцы, в частности, должны отказаться от своей непримиримости к Израилю, официально признать его право на существование, отказаться от партизанско-террористических методов борьбы, и занять нейтральную позицию в области международной политики; я убежден, что только так могут быть разрешены наболевшие проблемы палестинского народа — только когда они перестанут служить деструктивным целям внешних сил, как это часто имеет место сейчас. Необходима большая сдержанность всех сторон — участников конфликта, включая Израиль — в частности, вопрос о поселениях в соответствии с волей большинства населения Израиля. Мне кажется, что выступая и в защиту позиции Израиля (во время Октябрьской войны), и в защиту палестинцев (во время жестокой осады Тель-Заттар), я имею право на эти откровенные высказывания. Решение ближневосточной проблемы возможно лишь в контексте общемировой политики, поэтому мне кажется особенно важным, что США приняли на себя роль посредника.

6. Вопрос относительно диссидентского движения в СССР. Складывается впечатление, что, задавленное «железной рукой» Кремля, оно ныне доживает свои последние дни. Что ждет его в будущем? В чем причины того, что ему так и не удалось оказать глубокого влияния на широкие народные массы в СССР?

Неправильно, что диссидентское движение не оказалось глубокого влияния на людей в СССР. Но это влияние носит не политический, а в своей основе нравственный характер (и распространяется и за пределы нашей страны). Я убежден, что предельно безответственно стремиться к политическим катаклизмам, к

переворотам и интервенциям в современном противоречивом мире, находящемся за несколько шагов от всеобщей термоядерной пропасти. Но совсем другое — активно влиять на нравственное самосознание людей, возвращать им веру в силу слова и права людей, возвращать им неискаженную историю их страны. Надо ясно представить себе степень подавленности свободы мысли в стране, в которой все принадлежит государству и еще жива память о тотальном терроре 4-х десятилетий. Люди, решившиеся громко сказать, что они думают и чувствуют, решившиеся поднять голос против несправедливости, — разрывают заговор молчания, страха и равнодушия и тем самым подготавливают почву для необходимых демократических, плюралистических преобразований в огромной и развернутой стране — в стране, спаиваемой дешевым ядовитым вином, сидящей без масла и мяса и молча принимающей Афганистан, судебные и бессудные расправы. Но все же миллионы тайно крутят ручки радиоприемников, ловя иностранные радиопередачи о своей стране и мире. Те же, кто открыто выступают за права людей, идут на большие жертвы. Среди них защитники религиозных и национальных прав, национальной культуры, защитники права на эмиграцию. Единство и беспристрастность правозащитного движения, стремление к гласности как единственному оружию, — воплотилось в таких людях, как Татьяна Великанова, Ковалев, Мальва Ланда, Некипелов, Орлов, Руденко, Щаранский, Бахмин. Несмотря на все горестные потери последних месяцев, повседневная работа ради гласности, ради прав человека — продолжается.

7. Правда ли, что сегодня Вы бы восприняли положительно возможность эмигрировать из СССР?

Я всегда был бы рад съездить за границу и в первую очередь, чтобы увидеть своих близких — детей и внуков, вынужденных эмигрировать несколько лет назад из страны, в которой они были заложниками мо-

ей общественной деятельности. Но я не хочу обсуждать Ваш вопрос об эмиграции. Я признаю право на эмиграцию за каждым, кого толкают к этому обстоятельства, и в принципе не делаю исключения для себя. Однако сейчас этот вопрос не стоит передо мной, и это не от меня зависит. Настойчивые обсуждения этой темы в зарубежной печати и радио, вещающем на СССР, кажутся мне вызванными жаждой сенсации. Сейчас я жду от Запада, от мировой и советской общественности — потребовать от советских властей аннулирования принятых КГБ (или инспирированных КГБ) беззаконных анонимных решений о моей высылке и изоляции. Я до сих пор не знаю, кто принял эти решения, кто ответствен за них, я не знаю даже, существуют ли эти решения в документальном виде.

8. Итальянские коммунисты решительно осудили как советское вооруженное вмешательство в Афганистан, так и меры, принятые в отношении Вас советскими властями. Что Вы могли бы сказать по этому поводу, тем паче, что речь идет о крупнейшей на Западе коммунистической партии? Каково в свете теперешних событий Ваше отношение к еврокоммунизму вообще?

Я воздерживаюсь от философской или политической оценки любой идеологии, в том числе и коммунистической. Я очень боюсь учений, претендующих на знание высшей истины, лишенных гибкости и терпимости. Такие черты часто возникают в русле националистических и религиозно-фанатических учений. Но они возникают также на почве объявляющего себя наукой марксизма. Я также не могу доверять тем партиям, которые являются проводниками зарубежного влияния, тем более влияния страны; в которой осуществляется опасная и жестокая догматическая политика. Еврокоммунизм провозгласил, хотя бы частично, отказ от этих негативных черт, и если он сумеет удержаться на своих позициях, это будет иметь значе-

ние, выходящее далеко за пределы Европы. Я знаю о сильном давлении, которое оказывается на еврокоммунистические партии. Каждое совещание, каждая встреча, даже если она, подобно предстоящей Парижской, проходит под такими благородными лозунгами, как мир и разоружение — на самом деле представляет собой попытку вернуть вышедших из повиновения в прежние жесткие рамки. Осуждение Итальянской компартией — крупнейшей на Западе — советского вторжения в Афганистан, несомненно, очень важный шаг с далеко идущими последствиями. Я считаю также важным осуждение Итальянской компартии моей высылки и изоляции как части общей кампании подавления гражданских свобод в нашей стране. Я надеюсь, что Итальянская компартия предпримет дальнейшие действия в защиту прав человека и открытости общества в СССР, а также в странах Восточной Европы, Китае и в других коммунистических странах — в защиту верующих, национальных культур, в защиту прав крымских татар, в защиту свободы эмиграции и поездок, в защиту всех узников совести, за политическую амнистию во всех странах коммунистической идеологии. Такое присоединение Итальянской (и других) компартий к международной защите прав человека во всем мире людьми всех убеждений и верований имело бы очень большое значение.

Прошу агентство АНСА предоставить текст интервью газете «Нью-Йорк Таймс».

A. Сахаров

K

КОНТИНЕНТ

Годовая подписка (4 номера)
40.— DM, или 25.— US\$, включая пересылку.

Вы экономите 8.— DM, или 5.— US\$
от розничной цены!

Желаю оформить подписку на 1 год (4 номера)

Имя:

Адрес:

.....
.....

Оплату произвожу:

приложенным чеком почтовым переводом
через банк

Платеж и заполненный талон просим направлять:

A. NEIMANIS BUCHVERTRIEB
Bauerstr. 28, 8000 München 40, West Germany

Bankkonto: Bayerische Vereinsbank München Nr. 6304630
Postscheckkonto: München 147391-804



Дорогой Андрей Дмитриевич!

Пятьдесят девятый свой день рождения Вы, к сожалению, встречаете в еще худших условиях, чем предыдущий — пятьдесят восьмой. В этот трудный для Вас час мы — Ваши друзья из «Континента» хотели бы быть рядом с Вами, в Вашей ссылке в Горьком, чтобы разделить с Вами и Вашей семьей хотя бы часть той тяжести, которую Вы несете сейчас за всех нас, за весь народ, за все человечество.

Но и в горькой разлуке мы еще и еще раз заверяем Вас, что мыслю и сердцем всегда с Вами, с Вашей семьей, со всеми, кто вас окружает и поддерживает. Храни Вас Бог, дорогой Андрей Дмитриевич, еще на долгие и долгие годы!

«КОНТИНЕНТ»



Олег ГУЛКОВ. Архангел. 1965. 180 x 100